

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ О ФЛОРЕНЦИИ



АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
О
Флоренции

АВРААМИЙ • ЛИХАЧЕВ • ШЕРЕМЕТЕВ • ТОЛ-
СТОЙ • ДЕМИДОВЫ • ФОНВИЗИН • ЧААДАЕВ
СТАНКЕВИЧ • БУСЛАЕВ • ЯКОВЛЕВ • ГРИГО-
РЬЕВ • ЧИЧЕРИН • ДОСТОЕВСКИЙ • ГЕРЦЕН
СОЛОВЬЕВ • ЧАЙКОВСКИЙ • ФЛЕРОВ • АННЕН-
СКИЙ • БЕНУА • КУЗМИН • БРЮСОВ • РОЗАНОВ
ГРЕВС • КАРСАВИН • ОТТОКАР • СТЕПУН • БЛОК
ОСОРГИН • ЗАЙЦЕВ • МУРАТОВ • ДОБУЖИН-
СКИЙ • БЕРДЯЕВ • ГЕРЦЫК • ВЕЙДЛЕ • ГУМИ-
ЛЕВ • АХМАТОВА • ИЛЬИН • ИЛЬИНА-ВОКАЧ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

УДК 821.111.3

ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7

К21

*Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы "Культура России"*

Художник ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

К21 Кара-Мурза Алексей Алексеевич

Знаменитые русские о Флоренции. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2016. — 640 с.

В книге доктора философии и автора монографий по истории русской общественной мысли Алексея Кара-Мурзы собраны материалы о пребывании во Флоренции и впечатлениях о "городе цветов" известных русских литераторов, художников, общественных деятелей xv–xx в. Возможно, именно в воспоминаниях и дневниках влюбленных во Флоренцию Федора Достоевского, Петра Чайковского, Николая Бердяева, Михаила Кузмина, Александра Блока и кроется разгадка притяжения русских душ к этому краю великих творцов, синевато-фиолетовых гор и душистых фиалок. Серия блестящих эссе превращается в литературно-философское расследование феномена "божественной" Флоренции.

УДК 821.111.3

ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7

ISBN 978-5-98695-064-8

© Издательство Ольги Морозовой, 2016

© А. Кара-Мурза, 2016

© Д. Черногаев, оформление, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Русская Флоренция. “Город цветов”, унесенный в сердце 9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Авраамий Суздальский	25
Василий Богданович Лихачев	46
Борис Петрович Шереметев	59
Петр Андреевич Толстой	71
Демидовы	81
Денис Иванович Фонвизин	102
Петр Яковлевич Чаадаев	117
Николай Владимирович Станкевич	126
Федор Иванович Буслаев	140
Владимир Дмитриевич Яковлев	153
Аполлон Александрович Григорьев	172
Борис Николаевич Чичерин	191
Федор Михайлович Достоевский	221
Александр Иванович Герцен	240
Владимир Сергеевич Соловьев	266
Петр Ильич Чайковский	274
Сергей Васильевич Флеров	312
Иннокентий Федорович Анненский	314

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Николаевич Бенуа	318
Михаил Алексеевич Кузмин	324
Валерий Яковлевич Брюсов	330
Василий Васильевич Розанов	333
Иван Михайлович Гревс	336
Лев Платонович Карсавин	347
Николай Петрович Оттокар	353
Федор Августович Степун	360
Александр Александрович Блок	375
Михаил Андреевич Осоргин	385
Борис Константинович Зайцев	398
Павел Павлович Муратов	418
Мстислав Валерианович Добужинский	426
Николай Бердяев и Евгения Герцык	430
Анна Ахматова и Николай Гумилев	447
Иван Ильин и Наталья Ильина-Вокач	460
Владимир Васильевич Вейдле	473

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУССКИЕ О ФЛОРЕНЦИИ

487

ВСТРЕЧА С ФЛОРЕНЦИЕЙ

494

ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФЛОРЕНЦИИ

511

“ГОРОД ЦВЕТОВ”

515

УТРО ВО ФЛОРЕНЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

520	СОБОР САНТА-МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ (ДУОМО),
	БАШНЯ ДЖОТТО
537	БАПТИСТЕРИЙ
544	ПЛОЩАДЬ СИНЬОРИИ, ПАЛАЦЦО ВЕККЬО
559	ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ
570	ЦЕРКОВЬ САНТА-КРОЧЕ
574	ЦЕРКОВЬ САН-ЛОРЕНЦО, КАПЕЛЛА МЕДИЧИ
588	ФЛОРЕНТИЙСКОЕ КВАТРОЧЕНТО
594	ФЛОРЕНТИЙЦЫ И ФЛОРЕНТИНКИ
596	ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ФЛОРЕНЦИЮ
601	ТЕАТР ВО ФЛОРЕНЦИИ
621	ВЕЧЕР ВО ФЛОРЕНЦИИ
Об авторе	639

РУССКАЯ ФЛОРЕНЦИЯ. “ГОРОД ЦВЕТОВ”, УНЕСЕННЫЙ В СЕРДЦЕ

9

*Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.*

АННА АХМАТОВА. “Данте”

Есть города, в которые нет возврата.

Иосиф Бродский. “Декабрь во Флоренции”

“Невернувшимся...”

Надпись на могильном камне поклонника
Флоренции Льва Карсавина и еще 11 тысяч
погибших в сталинском лагере Абезь

I

“ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ИЗГНАННИК ДАНТЕ — родоначальник и покровитель всей литературно-политической эмиграции”, — сказал как-то русский писатель и философ Дмитрий Мережковский. Трудно назвать иную страну и культуру, для которых это утверждение было бы более значимым и верным, чем в отношении России и русской культуры.

Александр Герцен, Александр Блок, Осип Мандельштам, Николай Бердяев, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Лев Карсавин, Борис Зайцев, Павел Муратов, Владимир Вейдле, Иосиф Бродский — вот лишь краткий перечень имен великих русских, чье творчество неразрывно связано с именем и судьбой великого флорентийского поэта-скитальца.

...По пути в ссылку Герцен перечитывал “Божественную комедию” и находил, что стихи Данте “равно хорошо идут к преддверию ада и к сибирскому тракту”. Там же, в ссылке, Герцен ставил домашние спектакли — “живые картины” по мотивам Данте, где, разумеется, сам исполнял заглавную роль...

Анна Ахматова, будучи в эвакуации в Ташкенте, любила декламировать наизусть терцины “Божественной комедии” по-итальянски. Близкие вспоминали, какой подъем охватил ташкентскую литературно-художественную колонию, когда в разгар войны Ахматова зачитала телеграмму от своего друга Михаила Лозинского об окончании им перевода дантовского “Рая”...

Один из лучших знатоков флорентийской культуры, Леонид Баткин, вспоминает, как во время войны его с матерью эвакуировали в глубь Казахстана. Все, что удалось увезти с собой самого необходимого, уместилось в трех чемоданах, один из которых был набит книгами: “Мне было девять, затем десять, одиннадцать лет... Я бесчисленно перечитывал содержимое чемодана, часто неподходящее или недоступное в настоящем смысловом

объеме для подростка, но все равно каким-то образом неотразимо формировавшее, насыщавшее сознание: так нитроглицерин из наклеек сквозь кожу проникает в кровь. Был среди прочего маленький томик Данте в изящном издании «Academia»... В ту казахскую зиму стояли злые бесснежные морозы, ветер гнал по улицам нищую пыль; но мерное движение сонетов и канцон, вздохи и слезы мистической юной любви были гораздо реальней, чем глинобитная Кызыл-Орда за окном...”

11

В оккупированном немцами Париже русский писатель-эмигрант Борис Зайцев спускался во время налетов союзной авиации в бомбоубежище с рукописями перевода дантовского “Ада”: “Когда вдали гулко бухали взрывы, не хотелось его <Данте> оставлять наверху на разгром — и увидел он адские коридоры внизу... Мы поистине были похожи на отряд грешников из какой-нибудь его песни...”

II

Если Рим — Вечный город, Венеция — город предельно искусственный, то Флоренция — город природно-естественный. Возможно, именно это имел в виду Д. Мережковский, когда писал: “Я ни о чем думать не могу, как о Флоренции... Она — серая, темная и очень простая и необходимая. Венеция могла бы и не быть. А что с нами было бы, если бы не было Флоренции!”





Флоренция — редкий город среди городов подобного масштаба и значимости, который можно весь охватить взглядом с одной точки. Пейзаж Флоренции, увиденный с Сан-Миниато или с высот Фьезоле, создает уникальную картину: город предстает не рукотворным, а, скорее, природным явлением. Поразительно часто, описывая этот город, передают ощущение его ландшафта, даже его воздуха. Писатель Павел Муратов говорил, что в облике Флоренции чувствуется “стройность великолепного дерева”, а камни Флоренции — так кажется, легче, чем камни, из которых сложены другие города. Вот лишь два из характерных описаний Флоренции: “Голубоватые вуали воздуха, голубовато-фиолетовые горы, Арно серебряное, светлый туман да с гор благоухание фиалок. Вольный ветер, музыка и благовоние” (Борис Зайцев); или: “Холмы дышат, знаменитые цветущие холмы. Прохлада, тончайшие краски земли и неба и веянье крыльев духа Тосканы. Божественный город!” (Михаил Осоргин). В описании — ничего рукотворного, только естественно-природное, но любой, кто знаком с Флоренцией, не сможет не согласиться, что речь идет именно о Флоренции. Трудно также представить себе иной город, чьи зарисовки столь же органично включали бы темы “города цветов”, “города летучих мышей”, описания “тысяч и тысяч белых как снег бабочек”, криков городских осликов или попарно нежащихся на песчаных берегах Арно речных выдр...

Писатель Петр Вайль в одном из своих итальянских эссе вообще усомнился в “человеческом участии в об-

На предыдущем развороте:
Собор Санта-Мария дель Фьоре

лике Флоренции” — по его мнению, это, скорее, явление, естественно вырастающее из окружающего тосканского ландшафта: “Если башни — деревья, то соборы — горы. Особенно кафедрал Санта-Мария дель Фьоре, и особенно когда смотришь из-за баптистерия, перед глазами пять уровней горной гряды — сам баптистерий, кампанила Джотто, фасад собора, купола абсид, большой купол Брунеллески. Бело-зеленый флорентийский мрамор — снег, мох, мел, лес?”

15

А Иосиф Бродский, лауреат высшей флорентийской литературной премии “Золотой флорин” (которой он был горд не меньше, чем Нобелевской, и которая была ему торжественно вручена в Палаццо Веккьо), в своем “Декабре во Флоренции” (1976) написал о Флоренции как о заповедном городе, где возникает особый тип человеческого существования:

*Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот.*

В воспоминаниях многих русских о Флоренции часто воспроизводится один и тот же сюжет: некто (Достоевский, Бенуа, Розанов, Зайцев, Муратов, Добужинский...) сидит на ступеньках собора Санта-Мария дель Фьоре и в задумчивости смотрит на бронзовые двери расположенного прямо впереди флорентийского Баптистерия. Это “Врата рая” работы Гиберти — шедевр, о

котором Иван Гревс написал как о квинтэссенции волшебной природы флорентийского искусства: “Надо было действительно много жить среди полей, часто вдыхать полной грудью живительные струи предрассветного воздуха, напоенного ароматами весны, приветствовать взорами появление зари, слушать и слушать песнь соловья, чтобы приобрести способность так творить и так толковать внешний мир...”

Достоевский уверял жену, что если ему вдруг случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии “Porta del Paradiso” (если возможно, то в натуральную величину) и повесит у себя в рабочем кабинете, чтобы всегда иметь перед глазами этот эталон вечной красоты. Разгадку притяжения русских душ к “райским вратам” Гиберти предложил тот же Гревс: “Русский, не привыкший среди своей бедной родной обстановки встречать такие чудеса, чувствует себя увлеченным...”

III

Многие наши соотечественники сходились в том, что Флоренция, как никакой другой город в мире, заставляет задуматься не только о смене, но и преемственности человеческих поколений. Флоренция — воплощенная непрерывность истории, символ общеродового человеческого бессмертия. Борис Зайцев считал, что тлен не может коснуться этого города, ибо “какая-то нетленная,

объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь”. А другой знаток и поклонник Флоренции, Владимир Вейдле, позднее добавил, что и самую смерть нельзя помыслить во Флоренции старухой: “Если и встретишь ее, бродя среди жизнерадостно-многоречивых могильных плит, то не в образе скелета с разящей косой, а в виде отрока, опрокинувшего факел, — такой, как после греков, в первые века христианства видели ее: знамением, преддверием бессмертия...”

17

Разгадку этой “нетленности” и “вечной красоты” Флоренции филолог и искусствовед Федор Буслаев находил не только в естественности и органичности самого ее облика, но и в том, что все художественное великолепие этого города-музея является своим, родным, “доморощенным” в лучшем смысле, а не занесено извне, как в петербургском Эрмитаже или в парижском Лувре: “Все эти великие художники тут родились, тут жили и исподволь украшали свой родной город...” И о том же — о непрерывности и солидарности человеческой истории — пронзительные слова одного из самых верных русских обожателей Флоренции, Бориса Зайцева: “Да, там жили, думали, творили, пламенели и сгорали тысячи душ; длинными рядами шествуют они со времен Данте. Все навсегда ушли отсюда. Но всегда живы и, как в дивную корону, вставили сюда свои алмазы”.

Может быть, именно это чувство приобщенности к Флоренции давало и вдали от нее ощущение истории и культуры, надежно укрывающих и сберегающих





каждую достойную человеческую личность. Возможно, именно это ощущение спасло Мстислава Добужинского, который в годы большевистского террора, теряя близких людей, вспоминал в разоренной Москве обычный флорентийский закатный вечер: “Сколько людей скольких поколений именно тут, в этом месте, где стою, глядели, быть может, на такие же закаты, на те же самые мосты, дома и Арно, очаровывались тем же, как и я теперь, тем же очарованием...”

Окружающие не раз поражались, как Борис Зайцев, один из безусловных литературных, нравственных и политических авторитетов русской эмиграции, настаивал на том, что “его город — Флоренция”, и был готов поверить в перевоплощение душ и в то, что когда-то флорентиец Данте был его соседом. Дожив в парижской эмиграции до девяноста лет и сохранив до последних дней работоспособность и ясность ума, Зайцев лишь в последние минуты жизни впал в полузабытье и умер, как говорили близкие, что-то напевая...

Еще более поразительна человеческая стойкость другого “русского флорентийца” — историка, философа и богослова Льва Карсавина. В лагере Абезь (Коми), куда он в 1950 г. был отправлен по приговору Особого совещания “за антисоветскую деятельность”, быстро распространилась молва о нем как о христианском мудреце и духовном учителе. Продолжая работать, Карсавин записывал свои мысли ритмическими периодами, подражая Петrarке и Данте. Сосед по лагерному бараку оставил вос-

На предыдущем развороте: На Ponte Vecchio (фото конца XIX в.)

Слева — галерея Uffizi; прямо вдали — Ponte alle Grazie.

поминания о последних неделях умирающего учителя: “После завтрака он устраивался полусидя в кровати. Согнутые в коленях ноги и кусок фанеры на них служили ему как бы пюпитром. Осколком стекла он оттачивал карандаш, неторопливо расчерчивал линиями лист бумаги и писал — прямым, тонким, слегка проявлявшим дрожание руки почерком. Писал он почти без поправок, прерывая работу лишь для того, чтобы подточить карандаш или разлиновать очередной лист. Прежде всего был записан венок сонетов, сочиненный на память в следственной тюрьме... Закончив работу над сонетами, Карсавин продолжил стихотворное выражение своих идей в терцинах...”

Наверное, прав был автор знаменитых “Образов Италии” Павел Муратов, когда еще в начале века, предчувствуя великие испытания, которые выпадут на долю новых поколений русских, написал о тех “уроках Флоренции”, которые должны вынести соотечественники из своего пребывания в “городе цветов”: “Данте не суждено было дожить до такого счастья — счастья, которое стало слишком легким достоянием каждого из нас. Мысль об этом должна всегда сопутствовать, как тень великой печали... Кто полную свою душу несет сюда, — не один только интерес ума или глаза, но все свои чувства и силы, все, что было в жизни, ее правду, ее обманы, ее радости, ее боль и ее сны, — тот не уйдет отсюда без внутренних наитий... Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее...”

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
ВО ФЛОРЕНЦИИ

АВРААМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ

25

ПРАВОСЛАВНЫЙ клирик, историк Церкви и мемуарист Авраамий, русский участник Ферраро-Флорентийского собора 1438–1439 гг., автор трактата “Хождение Авраамия Суздальского на осьмый собор с митрополитом Исидором”, занимал епископскую кафедру в Суздале с 1431 по 1437 гг., а затем, после возвращения из Италии, с 1441 по 1452 гг.

В первой половине XV в. христианский Восток Европы оказался жертвой новой экспансии турок-османов. В 1422 г. султан Мурад II осадил Константинополь (в тот раз неудачно); затем покорил Валахию и часть Сербии, захватил некоторые владения Венецианской Республики в северной Греции. Перед лицом новых угроз император Византии Иоанн VIII Палеолог и Константино-

польский патриарх Иосиф II попытались заручиться поддержкой христианских государей Запада, а также Папского престола в лице римского понтифика Евгения IV (1383–1447), венецианца по рождению, увидевшего в политическом ослаблении греческого православия возможность установить главенство латинской веры.

26

Собор, призванный объединить Западную и Восточную церкви, был созван в 1438 г. папой Евгением IV в Северной Италии, первоначально в Ферраре, богатом и известном в Европе центре науки и культуры, находившемся под властью союзника папы — Никколо III из рода д'Эсте. Собор был поддержан императором Византии; на нем присутствовал Константинопольский патриарх, полномочные представители Патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, митрополиты и епископы из многих земель и городов Европы и Малой Азии, влиятельные богословы — всего около 700 человек.

В те годы Великий князь Московский Василий II, политически зависимый от пока еще сильной Золотой Орды, в конфессиональном отношении ориентировался на Византию: митрополит Киевский и всея Руси утверждался в Константинополе. Вот и в 1437 г., вместо намеченного московским князем рязанского епископа Ионы, Патриарх Иосиф II утвердил на обретающую все больший вес московскую митрополию грека Исидора, авторитетного богослова и философа, активного борца с исламом и сторонника унии с папством.

По мнению историка Русской Церкви А. В. Карташева, представительный состав русской делегации на собор в Феррару (более 100 человек) свидетельствовал о том, что Исидору удалось убедить Великого князя, что соединение церквей, благодаря которому спасется греческая империя, возможно и без жертвы православным вероучением. Доверяя ученому греку, Василий II отправил его в Италию с многочисленной свитой и богатым обозом в две сотни коней. По Руси пошла молва о том, что митрополит отправляется на доброе дело обращения латинян к правой вере, и многие русские города жертвовали на поездку большие средства. Особенно щедры были северо-западные земли, привыкшие к тесным торговым связям с Европой и ожидавшие новых выгод от церковного примирения.

27

Митрополит Исидор со свитой выехал из Москвы 8 сентября 1437 г., проехал Новгород, Псков, Юрьев и Ригу, откуда отплыл морем на Любек. Оттуда русская делегация, в которой одну из главных ролей играл суздальский епископ Авраамий, двинулась на юг и через Нюрнберг, Аугсбург, альпийские земли прибыла в Феррару 18 августа 1438 г.

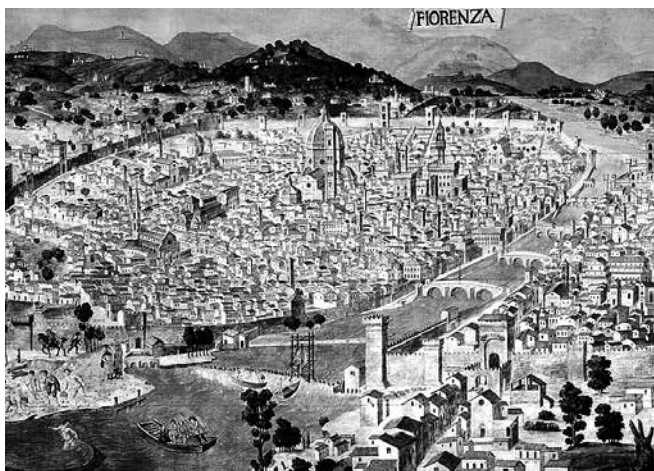
Между тем христианские государи Запада Феррарский собор по большей части проигнорировали, поддерживая оппозицию Евгению IV внутри католической иерархии. В Священной Римской империи, во Франции, Кастилии, Арагоне, Португалии, Шотландии, Польше, в скандинавских королевствах считали законным парал-

лельно заседавший собор в Базеле, вскоре объявивший Евгения IV низложенным.

Тем не менее, после долгого ожидания новых представителей, соборные заседания в Ферраре были открыты: на них присутствовали в основном итальянские епископы, а также представительные делегации с православного Востока, ищущие защиты со стороны католиков от наступающего ислама. При этом восточные иерархи и богословы долгое время пытались защищать свои догматические позиции, не желая идти на уступки латинянам. Разочарованный Евгений IV приказал урезать обещанное содержание делегатов Восточных церквей, а затем и вовсе прекратил его.

В январе 1439 г. собор был перенесен во Флоренцию. Официально — из-за опасности эпидемии чумы; на самом деле — из-за подозрений, что многие участники могут покинуть собор и через близкую границу вернуться на Восток. Склонный к компромиссу с латинянами, византийский император Иоанн VIII на внутреннем заседании греческой делегации аргументировал переезд во Флоренцию отсутствием у папы средств и готовностью флорентийцев их предоставить.

Флоренция, в те годы формально республика, находилась под властью клана Медичи, лидер которого — богатейший в Европе купец и банкир Козимо Медичи “Старший” (1389–1464) — занимал высокий пост “гонфалоньера справедливости” и фактически единолично управлял городом. С помощью денег Медичи и некото-



Флоренция в XV в.

рых других богатых флорентийских семейств, папа Евгений IV вновь открыл содержание православным делегатам, регулируя его в зависимости от их поведения. По словам А.В. Карташева, “несчастные греки заколебались. Наиболее податливые из них специально приглашались к папе и оттуда возвращались поборниками соединения. Отступление началось с русского митрополита Исидора и никейского Виссариона. Они склонили на уступки царя (т.е. императора Иоанна VIII — А.К.) и умиравшего патриарха Иосифа. Затем, путем разных притеснений и давлений, были вынуждены на унию и все остальные греческие иерархи, кроме Марка Ефесского”.





...RIS ANTE FIGVRAM MULIEREVNDIS CAVE NE SIZATVR AVE

Ход Ферраро-Флорентийского собора и поведение на нем московской делегации описаны в текстах епископа Суздальского Авраамия (единственного русского епископа на Соборе) и двух человек из его окружения — иеромонаха Симеона и анонимного “суздальца” (судя по всему, дьяка-мирянина), перу которого принадлежит “Хождение во Флоренцию” и заметка “О Риме”. Помимо рассказов о канонических прениях и переговорах, закончившихся, как известно, заключением 5 июля 1439 г. “Флорентийской унии”, особый интерес представляют описания русскими участниками грандиозных представлений-мистерий, приуроченных к двум христианским праздникам — Благовещению (25 марта) и Вознесению (пришедшемуся в 1439 г. на 15 мая).

Судя по тексту мемуаров, Авраамий Суздальский был не просто “зрителем” этих представлений, но был предварительно посвящен организаторами (по согласованию, разумеется, с руководителем “русской делегации” Исидором) в сложнейшую технологию этих уникальных для того времени зрелищ.

Мистерия “Благовещение” по пьесе Фео Белькари “*Rappresentationi della Annunziata di Nostra Donna*” демонстрировалась 25 марта в церкви флорентийского монастыря св. Марка. Еще в 1427 г. Козимо Медичи поручил архитектору Микелоццо ди Бартоломео расширить и перестроить старый обветшавший монастырь, а в 1436 г., после возвращения из ссылки, передал его в распоряжение Ордена доминиканцев. Всеми живописными ра-

На предыдущем развороте:

Фра Беато Анджелико. Благовещение. XV в.

ботами в Сан-Марко руководил доминиканский монах “Фра” Беато Анджелико, который создал знаменитый алтарный образ, а также расписал фресками более 40 келий, коридоры и другие помещения монастыря. Вот в этих фантастических по красоте интерьерах (весной 1439 г. работы еще не были закончены) оказались делегаты Флорентийского собора, ставшие зрителями мистерии “Благовещение”.

33

В своем “Исхождении на осьмый собор” Авраамий Суздальский описал сложнейшую “машинерию” представления: *“В городе Флоренции некий человек, родом итальянец, устроил многим людям на удивление хитрое и чудное подобие схождения с небес архангела Гавриила в Назарет к девице Марии с благовестием о зачатии едиnorodного сына божия”*. Существует обоснованная версия, что “неким итальянцем”, который придумал и воплотил сложнейшую механику флорентийских представлений 25 марта и 15 мая, был не кто иной, как любимый архитектор и инженер клана Медичи Филиппо Брунеллески.

Авраамий Суздальский далее пишет о представлении в церкви монастыря Сан-Марко:

“Здесь устроено подобие небесных кругов, с которых от Отца архангел Гавриил был послан к деве. В месте этом устроен престол наверху, а на престоле сновитый человек сидит, облаченный в ризу и венец. По всему видно подобие отчее. В левой руке Евангелие держит. Окрест его и у подножия его много малых детей держат-

ся хитрым устройством, по примеру небесных сил. На посланном месте в левой стороне устроена кровать с господской постелью и одеялом. На этом важном и чудном месте отрок благоразумный сидит, облаченный в дорожную и пречудную девическую одежду и венец. В руках книги держит и тихо читает, и по всему подобию напоминает пречистую деву Марию... От ранее названного высокого места через каменный помост проходят пять веревок тонких и крепких до самого алтаря. Две веревки проходят поблизости от честной девы. По ним ангел к ней третьей тончайшей веревкой сверху от отца сходит с благовещением. В назначенное время это великое и чудесное представление много народа хочет видеть. И наполнится великая церковь множеством людей, и, помедлив немного, люди примолкнут, смотрят кверху, на построенный церковный помост. И вскоре раскроются на том помосте все занавесы и сукна, и увидят все люди самую ту, по подобию наряженную, иначе говоря, пречистую деву Марию, сидящую на чудесно устроенном у кровати месте. Красивое и чудесное это зрелище! Искоро откроются занавесы вверху устроенного места и загремит пушечный грохот в подобие небесного грома. В месте же том наверху станет видимым честной отец, а вокруг его более пятисот горящих свечей. И двигаются свечи эти с огнем беспрестанно туда и сюда, опускаются быстро, встречаются, иные кверху движутся, а другие им навстречу книзу идут. Еще и малые дети вокруг отца в белых ризах, сказать, небесные силы, поют, а

иной в кимвал бьет, а иные в прегудницы и в пищали играют. Все это великое зрелище, чудесное и радостное, и на словах непередаваемое. Спустя некоторого времени, из самого того верха от отца появляется ангел, спускается он от отца двумя уже названными веревками вниз к деве с благовестием о зачатии сына божия. Схождение его сверху вниз происходит так: на портах посредине спины устроены два колеса небольших и на высоте никак не видимые. И эти колеса двумя веревками держатся, и по этим колесам третьей тончайшей веревкою люди сверху спускают и кверху же возносят, устроено все это невидимым.

35

Во время подъема ангела сверху, от отца с великим шумом и непрерывным громом пошел огонь на ранее упомянутые веревки и на средину помоста. И назад вверх этот огонь возвращался и от верха прытко приходил книзу. И от этого обращения огня и от ударов вся церковь искрами наполнилась. Ангел же поднимался к самому верху, радуясь и помахивая руками туда и сюда и крыльями двигая. Просто и ясно видно, как он летит. Огонь же обильно начинает исходить от верхнего места и по всей церкви сыплется с великим и страшным громом. И незажженные свечи в церкви от великого этого огня зажигаются. А зрителям и их портам нет никакого вреда. Это чудное зрелище и хитрое устройство видели в городе Флоренции, и сколько мог своим малоумием понять, то и описал это зрелище. Иначе и нельзя описать, так как это пречудно и несказанно. Аминь”.

15 мая 1439 г., на сороковой день после католической Пасхи, состоялось новое грандиозное действо — мистерия “Вознесение” по пьесе того же Фео Белькари “*Rappresentatione dell’ Ascensione*”. Площадкой для представления на этот раз Евгений IV и Козимо Старший выбрали церковь Санта-Мария дель Кармине на левом берегу Арно. Храм принадлежал богатому ордену Кармелитов, происходившему из Иерусалима и основанному, согласно преданию, самим апостолом Петром, римским первосвященником, преемниками которого, по учению католической церкви, являются римские папы.

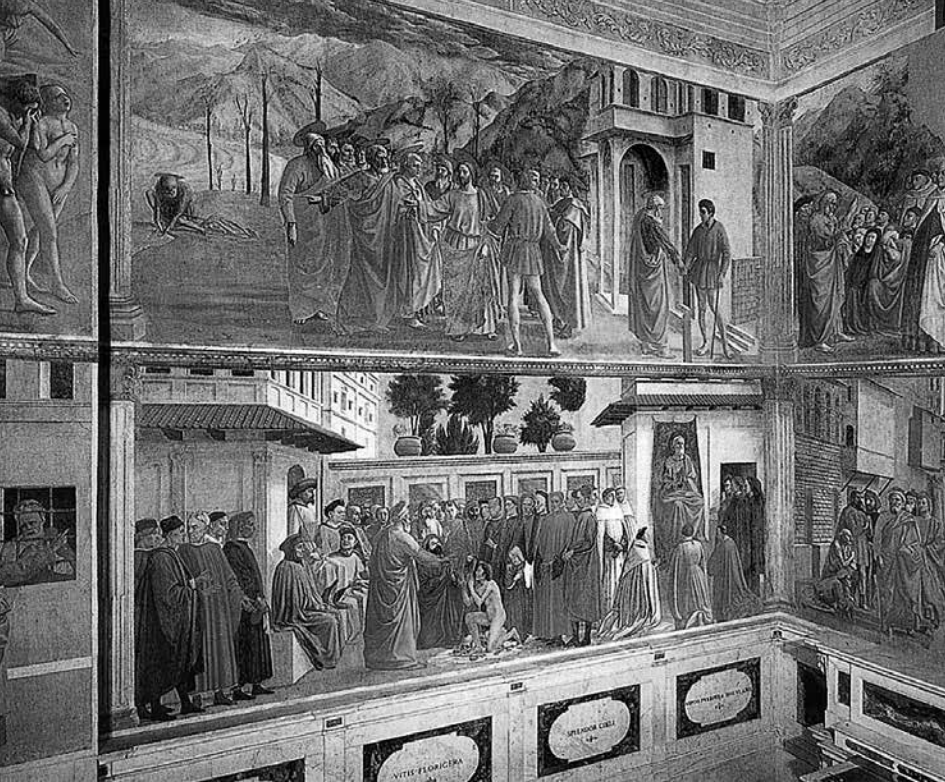
Храм Санта-Мария дель Кармине прославился фамильной капеллой аристократической флорентийской семьи Бранкаччи (традиционными врагами клана Медичи), которую выдающиеся художники Мазолино и Мазаччо расписали в 1420-гг. фресками на тему жития апостола Петра. В 1436 г., после возвращения Козимо Старшего из ссылки, члены семьи Бранкаччи были арестованы. Таким образом, использование церкви Санта-Мария дель Кармине инициаторами Флорентийского собора — Евгением IV и Козимо Медичи — более чем объяснимо: история и убранство церкви, воспевающие подвиг апостола Петра, были призваны подчеркнуть могущество римского папы и нового хозяина Флоренции.

Вот что пишет о мистерии “Вознесение”, состоявшейся в интерьерах церкви Санта-Мария дель Кармине 15 мая 1429 г., Авраамий Суздальский:



Церковь Санта-Мария дель Кармине.

“В этом же преименитом городе Флоренции в церкви Вознесения в четверг шестой недели после Пасхи, в самый этот праздник латиняне воспоминание творят в подобие древности, когда Иисус Христос в сороковой день вознесся со славой к отцу на небо. Посередине этой церкви есть помост, на левой стороне помоста устроен небольшой город каменный, чудный очень, с башнями и



Фрески Мазолино и Мазаччо (XV в.) на темы жития св. апостола Петра в Капелле Бранкаччи Церкви Санта-Мария дель Кармине.

стенами во имя святого города Иерусалима. Напротив этого города у первой стены устроен холм высотой полторы сажени, около него лавки построены высотой двух пядей, и гора, покрытая красивыми поволоками. А над самую эту гору высокою Елеонскою, устроен помост дощатый, всячески украшенный, со всех сторон обит до-

сками и изнутри расписан весьма дивно. В середине этого помоста дыра большая, круглая, покрыта она синим полотном. На полотне написаны солнце и месяц, и окрест их звезды многие написаны. Все это учинено наподобие небесного круга первого, вверху он раскрывается на две стороны, иначе сказать, небесные врата отверзаются, и тогда все люди узрят над вратами неба человека, наряженного в ризу и венец, по всему подобию бога-отца, и хитрым устройством над самыми вратами неба он держится. В сторону Елеонской горы вниз он на сына своего, и на пречистую, и на апостолов смотрит и рукою благословение к ним ниспосылает. И отнюдь не видно, как и чем он держится, просто как на воздухе сидит. И сверху сквозь небо и упомянутую Елеонскую гору проходят семь веревок крепких, с хитрыми и недоуменными железными вертлюгами. Под ним находится отрок, представляющий Христа, который на небо к отцу хочет взойти... В девятый час дня приходит много народа к церкви на преславное и хитрое это зрелище. И как наполнится церковь людьми, и, чуть примолкнув, все смотрят на середину церковного помоста, кверху устроенному месту. И потом появится человек на этом месте, одетый наподобие сына божия, пойдет к ранее названному городу, то есть к Иерусалиму. За ним же следует оттуда пречистая Богородица и за ней шествует Мария Магдалина. Эти образы представляются двумя юношами, одетыми подобно женищинам. Потом сын божий из Иерусалима выведет апостола Петра и за ним всех учеников своих, и

пойдет с матерью и апостолами к горе Елеонской. Петр, подойдя, припадет к ногам Иисуса, и, поклонившись, благословение получит и встанет на свое место, и потом все ученики также сотворят и встанут по правой и левой руке, один за другим, по своим местам. Тотчас гром великий явится сверху над горою этой, и увидят небо раскрытое и отца над ним хитрым устройством держащегося. И многими свечами, сказать, великим сияющим светом, освещается, и малые дети, сказать, небесные силы окрест его, беспрестанно туда и сюда быстро двигаются с великим торжественным грохотом, и прекрасным пением, и страшными голосами. И придет сверху от отца, сказать, от врат небесных, по упомянутым семи веревкам, как облако, весьма хитро и непостижимо, и многими красотою и хитростями исполненное. Как пойдет облако то от верха до половины низа, то, сказать, сын божий возьмет два ключа великие позолоченные и говорит Петру: «Ты, Петр, на этом камне создай церковь мою, и врата адовы не отделены от нее. И вот даю тебе ключи царства небесного, его свяжешь на земле, и будет связан на небесах, а если разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах». И благословив ключи эти и дав в руки ему, начнет подниматься кверху прежде названными семи веревками, к стоящему облаку, к матери же своей и апостолам благословение посылая. И дивное и недоступное рассказу это видимое зрелище. Вскоре откроются зрителям занавесы с устроенного места, сказать, с высшего неба, и будет свет великий от множества стеклянных

лампад с маслом горящих. И видно, на престоле отец савошит сидит, в коленях у него сын сидит, сказать, в недрах отчих, ризами и венцом во всем, как подобает богу-отцу. Сколько мог, столько и написал, но не могу такого хитрого зрелища оставить в забытьи. Аминь”.

5 июля 1439 г. (второго индикта 6947 г.) большинство представителей византийской делегации под давлением Императора и константинопольского Патриарха подписали орос Собора (“Флорентийскую унию”). Среди не подписавших были: митрополит Марк Эфесский (при поддержке брата императора, который был против унии), митрополит Иверский Григорий из Грузии (притворился сумасшедшим), митрополит Нитрийский Исаакий, митрополит Газский Софроний и епископ Ставропольский Исаия (тайно бежал из Флоренции и позднее получил защиту брата императора). Судя по всему, в подписании унии особая роль принадлежала московскому митрополиту Исидору, которого поначалу прочили в преемники скончавшемуся во время собора константинопольскому Патриарху Иосифу. Во всяком случае, русское “Слово о составлении осьмого собора” всю вину за подписание унии возложило на Исидора, обращаясь к нему с укоризнами: *“царя обольстил еси, патриарха смутил еси и царствующий град погибели исполнил еси”*.

Предотправлением в обратный путь Исидор получил от Евгения IV сан кардинала-пресвитера и звание папского легата в Литве, Ливонии, всей Руси и Польше. В конце



Исидор, Митрополит
Киевский и Всея Руси.

1439 г. он отправился на Русь через Венецию; затем морем до хорватского берега; отсюда через Загреб, Будапешт и Краков в Литву. Из Вильны Исидор ездил в Киев, где Киевский князь Александр Владимирович дал “отцу своему Сидору” особую грамоту, которой подтверждались все права митрополита в “области киевской”.

Только весной 1441 г. Исидор приехал в Москву, где великий князь Василий II, московское правительство и духовенство уже выработали свою позицию по отношению к случившемуся во Флоренции. Дело в том, что ближний боярин Великого князя Московского по имени Фома (также побывавший в Ферраре и Флоренции) и иеромонах Симеон (входивший в суздальскую делегацию) открыто рассорились с митрополитом Исидором еще в Венеции и ранее других поспешили в Москву уведомить великого князя об обстоятельствах заключения унии. Вслед за ними, 19 сентября 1440 г. в Москву возвратились и другие русские спутники митрополита во главе с епископом Авраамием. По мнению историков, “Москва, к приезду Исидора, уже могла

исполниться решимостью встать на защиту православия и отвергнуть изменника митрополита. Конечно, в необыкновенное затруднение ставило великого князя и русских епископов то обстоятельство, что, восставая против Исидора, им приходилось отвергать и авторитет уполномочившей его Константинопольской патриаршей власти, признавать тем самым и ее еретической”.

43

Митрополит Исидор приехал в Москву 19 марта 1441 г. и проследовал прямо в Успенский собор для богослужения. На литургии он велел поминать на первом месте не имя Константинопольского патриарха, а имя папы Евгения IV. После литургии митрополит приказал своему протодиакону прочесть во всеуслышание с амвона Соборный акт 5 июля 1439 г. об унии. Затем передал великому князю послание от папы, в котором Василий II приглашался быть усердным помощником митрополиту в деле введения унии. Быстрота и натиск, с каким действовал Исидор, настолько смутили князя, бояр и епископов, что они в первый момент растерялись: *“Вси князи, — говорит летописец, — умолчаша и бояре и инии мнози, еще же паче и епископы русския вси умолчаша, и воздремаша, и уснуша...”*

Лишь через три дня, собравшись с духом, Василий II объявил Исидора еретиком и приказал арестовать его и заключить в Чудовом монастыре. Состоявшийся вскоре Собор русского духовенства, обличив ересь Исидора, увещевал его раскаяться, однако, ввиду непреклонности Исидора, его держали в заключении несколько месяцев,



Великий князь Василий II отвергает Флорентийскую унию.

а потом “позволили бежать”: Исидор бежал через Тверь к литовскому великому князю Казимиру, а оттуда в Рим.

Судьба епископа Авраамия Суздальского, сначала подписавшего Флорентийскую унию, а затем отрекшегося от нее, сложилась благополучно. Его верный человек в русской делегации на Соборе в Италии, иеромонах Симеон Суздалец, официально показал, что Авраамий-де не хотел подписывать унию, но отступник Исидор посадил его *“в темницу и седе неделю полну; и тому подписавшуся не хотением, но нужею”*. В 1448 г. епископ Авраамий участвовал в Москве в Соборе, окончательно низвергнувшем Исидора и поставившем епископа рязанского Иону митрополитом Киевским и всея Руси.

ВАСИЛИЙ БОГДАНОВИЧ ЛИХАЧЕВ

46

Биография Василия Богдановича Лихачева, посла русского царя Алексея Михайловича к Великому герцогу Тосканскому Фердинандо II, изобилует лакунами, нередкими для русской истории XVII в. Известно, что он начал карьеру в окружении патриарха Филарета (Романова), отца царя Михаила Федоровича: в конце 1620-х гг. значится “патриаршим стольником”. При царе Алексее Михайловиче, в качестве “дворянина московского”, Лихачев на государственной службе; в 1640-х гг. был воеводою в Цивильске — важном военно-опорном пункте Московского царства в чувашских землях. Позднее снова отмечен в Москве — в окружении патриарха Иосифа; неоднократно сопровождал Алексея Михайловича и царицу Марью Ильиничну (урожденную Милославскую) в загородных поездках

и “богомольных походах” в Троице-Сергиевский и Саввино-Сторожевский монастыри.

Новое возвышение Василия Лихачева произошло в годы патриаршества Никона, имевшего большое влияние на царя, в том числе в вопросах внешней политики. Во время военного конфликта с Речью Посполитой за контроль над западно-русскими землями, а затем и в начавшейся войне со шведами Лихачев был в ближайшем окружении царя: в июле 1656 г. участвовал в дипломатических переговорах в Полоцке с послами императора Священной Римской империи Фердинанда III, а в августе того же года, под Кокенгаузеном (Кукейносом) — с посланниками датского короля Фредерика III.

47

В 1659 г. царь Алексей Михайлович задумал новое посольство в “италианские земли”; на этот раз (после неудачного посольства Ивана Чемоданова и Алексея Посникова к дожу Венеции в 1656–1657 гг.) — во Флоренцию, к Великому герцогу Тосканскому Фердинандо II из дома Медичи. Руководителем посольства был назначен Василий Лихачев — по этому случаю ему был присвоен титул “наместника Боровского”.

Сохранился “Статейный список” посольства 1659–1660 гг., опубликованный затем в “Памятниках дипломатических сношений древней России с державами иностранными”. Целью посольства было поднятие международного авторитета Московии в ходе противостояния с Польшей и Швецией, а также установление привилегированных торговых отношений с Тосканой:



Прием московского посольства Василия Лихачева
Великим герцогом Тосканским Фердинандо II.

московский царь велел просить у Великого герцога о продаже московским торговым людям без пошлины “узорочных товаров” для царского обихода и вообще о дозволении им “повольной” (т.е. беспошлинной) торговли. В обмен Алексей Михайлович позволял подданным Великого герцога беспошлинно торговать в русских землях и держать на откупках рыбный и икряной промыслы в Архангельске.

Посланником во Флоренцию при главе миссии Лихачеве был направлен опытный дьяк Иван Федорович Фомин (в будущем дослужившийся до царского столь-

ника), вместе с подьячими Степаном Полковым и Панкратом Кулаковым, ведающими делопроизводством. Из Посольского приказа к делегации были приставлены два толмача-переводчика: итальянского языка — Тимофей Топоровский (известно, что он уже бывал в Италии и получал ежегодное жалование в 36 рублей) и немецкого языка — Плетников.

49

По обычаю, в делегацию был включен православный священник Иван Алексеев. Позднейший комментатор отмечал в этой связи, что в послы в те годы назначались пожилые бояре, которые, отправляясь надолго за границу, *“боялись умереть, среди неблагочестивых, без духовника и обрядов, предписанных Восточною Церковью”*. Царь велел также взять в Архангельске надежного “целовальника” (казначея, дававшего клятву честности на кресте) для хранения “государевой соболиной казны”, которую послы везли в подарок тосканскому герцогу и его приближенным.

8 июля 1659 г. делегация выехала из Москвы в Архангельск и прибыла на место лишь 17 августа. Еще месяц посланники прожили в Архангельске, в ожидании прибытия и погрузки двух английских кораблей, идущих вокруг Европы. 21 сентября, отслушав молебен в Преображенском соборе, Лихачев, Фомин и их товарищи (всего 24 человека) отправились, в сопровождении отряда стрельцов, в морскую гавань на Мосеевом острове, откуда и началось плавание. Английские купеческие корабли были выбраны в том числе потому, что Англия в те годы

находилась в хороших отношениях с Османской Портой, и под защитой английского флага московские послы могли не опасаться нападения “турских воровских людей”, господствовавших в Средиземноморье. Плавание началось с несчастья: на третий день умер переводчик с итальянского Тимофей Топоровский (его отсутствие потом сильно скажется в Италии), и священнику Алексею пришлось совершить отпевание и погребение в море.

Обогнув Европу и пройдя Гибралтарский пролив, корабли с русским посольством вошли 9 ноября 1659 г. в Средиземное море. Лихачев с удивлением отметил в “Статейном списке”:

“На том море дни стали светлы и красны, как у нас о Троицыне дне, а тут о Филиппове заговенье таковы: а дни и ночи одинаковы”.

Однако почти сразу начались сильные штормы — как и три года назад, когда тем же путем из Архангельска в Ливорно направлялось посольство Чемоданова и Посникова, потерявшее тогда большую часть взятого с собой коммерческого товара и сильно повредившее дорогие сибирские меха, предназначенные для венецианцев. На этот раз, для облегчения кораблей, пришлось сбросить в море часть съестных припасов и бочек с пресной водой — к концу путешествия из-за недостатка питьевой воды приходилось собирать на палубе дождевую воду. В “Статейном списке” посольства имеются записи: *“После бури на море, посланники воздавали Христу Богу молебное пение...”*

5 января 1660 г., уже в виду гавани Ливорно — главного морского порта Тосканы (полностью заменившего к тому времени Пизу из-за обмеления устья Арно), сильнейшая буря так повредила корабли, что они еле смогли бросить якоря. Команда и пассажиры прошли строгий пограничный контроль из-за угрозы занесения “морозного поветрия”: тосканская стража каждого “разболокала” (раздела) и внимательно осмотрела.

51

7 января губернатор Ливорно князь Томмазо Серристоры пригласил послов в город. “Урядясь в посольское платье” и сев в крытые, обитые бархатом гребные галеры, гости поплыли к городской пристани, приветствуемые оружейной пальбой. От берега до губернаторского дворца Лихачев и Фомин с ближайшими людьми ехали в двух богатых каретах “шестериком”; по обе стороны шла стража с зажженными факелами, а остальные члены делегации следовали сзади пешком.

Три дня послы прожили в доме богатого ливорнского купца, давно торгующего с русскими, а потом князь Серристоры передал им приглашение Великого герцога прибыть в Пизу, где Фердинандо II с женой Витторией (из знатного урбинского рода делла Ровере) и сыном-наследником Козимо пребывали, оказывается, уже месяц, получив известие о скором прибытии “москвитов” через гонцов из Амстердама.

В Пизе русские послы вручили Фердинандо II грамоту царя Алексея Михайловича, а также “любительные поминки” (подарки). Описание приема по-





сланников в “Статейном списке” вызывает некоторые сомнения: наверняка сказалось отсутствие переводчика, умершего во время плавания. Так, согласно “Списку” Лихачева, герцог Фердинандо в своей речи якобы постоянно называл себя “холопом московского государя”:

54

“За что меня холопа своего и работника ваш Великий Князь, из преславного града Москвы поискал премногою милостию и поминки прислал? А он Великий Государь, что небо от земли отстоит, то он Великий Государь: славен и преславен от конец до конец всяя вселенным, и имя его преславно и страшно во всех государствах, от ветхого Рима и до нового и до Иерусалима, и что мене бедному, воздать за его велию и премногую милость? А я и братья мои и сын мой его Великого Государя рабы и холопы и ради служить и работать ему Великому Государю на веки как ему угодно и где мог моя будет...”

Во Флоренции (“преславном городе Флоренске”) русское посольство разместили в палатах герцогского Дворца Питти на левом берегу Арно. Три вещи особенно поразили гостей — необычайного вида глобус, чернильница и богато убранное отхожее место:

“Да построено колесо, а на колесе яблоко, а на яблоке написано всех государств земли, да на том же яблоке написаны ночные беги и лунное течение... Чернильница, из чего писали, золотая, фунтов в тридцать, а вместо песка руда серебряная, а отходы крыты бархатом Флоренским, выпражняют их во вся дни”.

На предыдущем развороте: Палаццо Питти — резиденция Великих герцогов Тосканских

Во время торжественного приема, данного Великим герцогом в честь московских посланников, Фердинандо II посадил Лихачева возле себя; дьяк Фомин сидел рядом с сыном-наследником, будущим Великим герцогом Козимо III. Герцогское угощением поразило гостей:

“На столе устроены три орла двоеглавые, первый орел сделан на сахаре, в середине онаго изображен Великий Государь наш на аргамаке <коне>, в руке скипетр держит... а яствы были на столе все деланы с вымыслом мастерским; звери, птицы и рыбы, а все с сахаром...” Много тостов произнесли за государей: *“И посланники вышед из за стола, с великим подобоострастием, пили учтиво, а прежде питья титлы говорили полные про Государское многолетнее здравие и про Царицыно и про Царевичев и про Царевен; а князь и братья и сын и все в то время стояли: в то же время играли на музыке и кимвалы и в органы и два трубача и восемь гудцов”*.

55

Получив в подарок от царя Алексея Михайловича дорогие сибирские меха, Великий герцог стал расспрашивать Лихачева про “Сибирское государство” и рассматривал его по “чертежу”, т.е. на географической карте. Герцог был поражен размерами Сибири и очень удивлялся, что нельзя “выловить” живущих там соболей, куниц, лисиц, белок и прочих зверей; он даже взял у Лихачева роспись, *“по скольку который зверь годом плодится”*. Заинтересованность Великого герцога Лихачев в “Списке” объяснил тем, что *“у них никакого зверя нет, потому что места зело гористы, а не лесны, а лес все саженый”*.

Во Флоренции тогда готовилась свадьба наследника тосканского престола Козимо Медичи с французенкой Маргаритой-Луизой, дочерью герцога Орлеанского. Герцогиня Виттория пожелала, чтобы были сделаны две шубки "по русскому обычаю", которые она могла бы подарить своей невестке. Лихачев распорядился сделать две шубки: одна была горностаевая, крытая камкой, другая беличья, крытая тафтой: герцогиня "вздеда на себя и дивилася, что урядно выделали".

Лихачева и его спутников поразил в одной из герцогских палат планетарий (тот самый, что организовал покровительствуемый Медичи Галилео Галилей): *"небесное движение и круг, а в нем описание всего света и солнечный бег"*. Затем гости посетили оружейный двор, окруженный рвом, полюбовались в конюшенном дворе на иноходцев и аргамаков, которых насчитывалось там до четырехсот, и заключили герцогским "зверинцем":

"Они же (т.е. слуги) казали 2 льва да 2 медведя живых, 2 птицы строфокамы [африканских страуса]: одна птица снесла яйцо, тому часа нет, а тянет полпята фунта, величиною с шапку: яишницу ели 27 человек из одного яйца".

В один из дней русских посланников повезли смотреть традиционную командную игру в мяч — *giuoco del calcio* — на площади Санта-Кроче:

"На рынке устроено посланникам место высоко, крыто бархатом; а на другой стороне против посланников палат со сто, о трех и о четырех жильях; тут сидели



Игра в мяч на Площади Санта-Кроче. XVII в.

князь и княгиня и сын и братья княжие, а из всякого окна из палат развешены были ковры дорогие. А игра была: поставлены были два шатра, и люди в доспехах и панцырях и в шлемах: шестеро карлов, шесть трубачев, шесть барабанов и полковники, да с 100 человек нарядных молодых и легких; а играли: мячем бросали, которая страна перемечет: и в то время были по 4 выстрела по всему городу. А посланникам и игроцам от княгини дары: тафтяные ширинки [вымпелы], а ратный строй на них напечатан, и быв поехали к себе”.

Перед отъездом русских послов из Флоренции Великий герцог подарил Лихачеву и дьяку Фомину каждо-

му по увесистой золотой цепи: одному в 10, другому в 8 фунтов. Не были забыты и другие члены делегации: каждому из них было дано по золотой цепочке, весом по 1 фунту 20 золотников.

16 февраля 1660 г. посланники выехали из Флоренции на Болонью, Пьяченцу, Милан. Далее путь шел в Швейцарию: при переходе альпийского перевала Сен-Готард заверенное золотой печатью письмо Великого герцога царю Алексею Михайловичу несли особенно бережно. Когда весь скарб, в том числе государеву казну и подарки, везли на повозках, запряженных волами (*“для того, что лошадей со вьюками, как ветер велик, бросает в глубокие пропасти”*) “Флоренского князя лист” несли подъячие.

Проплыв далее по Рейну, путешественники в конце марта 1660 г. были в Амстердаме, откуда кораблем возвратились в июне в Архангельск. Месяц спустя, в кремлевских палатах, посол Василий Лихачев торжественно вручил царю Алексею Михайловичу грамоту от великого герцога Тосканского.

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

59

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ (1652–1719) — военачальник, дипломат, близкий сподвижник Петра I. Генерал-фельдмаршал (1701); граф (1706). Выходец из древнего боярского рода. Начиная службу при царе Алексее Михайловиче: в 1765 г. пожалован в комнатные стольники. При царе Федоре Алексеевиче был еще более приближен: *“в рассуждении своего преимущественно красивого вида и внешних качеств тела, стоял на аудиенциях, дарованных послам, в одеянии рынды [оруженосца] перед троном”*. В 19 лет в должности воеводы и тамбовского наместника командовал войсками против крымчаков. В 1682 г. при вступлении на престол царей Иоанна и Петра пожалован в боярство. С конца 1686 г. руководил войском, охранявшим южные границы, участвовал в Крымских походах. После па-

дения правительницы Софьи примкнул к царю Петру Алексеевичу; участник Азовских походов (1695-1696).

60 В 1697-1698 гг., по заданию Петра I, 45-летний Шереметев совершил важную дипломатическую поездку в государства Европы: Польское королевство, Священную Римскую империю, Венецианскую республику, Папское государство, Королевство обеих Сицилий, Мальтийский орден, а на обратном пути — еще и в Великое герцогство Тосканское. В свиту Шереметева входили: Алексей Курбатов, “дворецкий”, иногда представлятельствовавший от имени и под видом Шереметева (позднее выдвинувшийся как крупный российский администратор и финансист); Иосиф Пешковский, духовный чин, занимавшийся переводами и составлением официальных бумаг; Герасим Головцын, близкий к Шереметеву по военным походам; еще несколько дворян и слуг. Позднее, на основании записей Головцына и Курбатова, дьяк Петр Артемьев составил официальные материалы поездки, ставшие известными как “Записка путешествия графа Шереметева”.

Посольство выехало из Москвы 22 июля 1697 г. с бумагами от Петра I к польскому королю, австрийскому императору, римскому папе, дожу Венеции и великому магистру Мальтийского ордена для создания коалиции против турок. Для достижения политических целей посланец русского царя неоднократно прибегал к хитростям и мистификациям. В Польше, где профранцузская партия не признавала власти русского ставленника ко-

роля Августа II, Шереметев, как следует из бумаг, принужден был скрывать свое имя, назвался русским “ротмистром Романом”, переменял платье, имел общий стол со свитой, в то время как Курбатов представлял первое лицо. В начале февраля Шереметев тайно, переодевшись в чужое платье, ездил вперед посольства в Венецию, чтобы провести конфиденциальные переговоры, а заодно без формальностей поучаствовать в карнавале. Здесь к русской делегации присоединились находившиеся в Венеции по заданию Петра I младшие братья Бориса Петровича — Василий и Владимир Шереметевы.

61

21 марта 1898 г. русская делегация — через Феррару, Болонью, Фаэнцу, Пезаро и Сполето — прибыла в Рим, где папа Иннокентий XII оказал послу московского царя редкую честь: *“не велел отбирать у него шпаги и шляпы при входе в аудиенц-залу, принял сам из рук его привезенные им грамоты, выхваляя мужественные его подвиги против неприятелей Святого Креста и допустил к своей руке, а сам поцеловал его в голову”*. На другой день Шереметев, в свою очередь, *“препроводил к Первосвятителю соболье одеяло в девятьсот рублей, две драгоценные парчи и пять сороков горностаев”*. Перед выездом русских из Рима, Иннокентий прислал Шереметеву золотой крест, вмещавший частицу дерева животворящего Креста Господня.

Далее Шереметев со свитой — через Террачину и Капую — продолжили путь на Неаполь, откуда морем отправились двумя кораблями на Мальту. 2 мая 1698 г.



Борис Петрович Шереметев

Шереметев был торжественно встречен мальтийскими рыцарями в Валетте и имел переговоры с Великим магистром Раймундом Переллос-Рокафуллом, наградившим посла русского царя Мальтийским крестом.

22 мая русская делегация вернулась морем в Неаполь, откуда Шереметев ездил на побережье Адриатики в Бари на поклонение святым мощам Святителя

Николая Чудотворца. 11 июня Шереметев снова был в Риме, виделся с Папою (у которого получил ответные грамоты русскому царю и австрийскому императору Леопольду) и 15 июня выехал в обратный путь на север в направлении Венеции и Вены.

22 июня 1698 г., “на осьмой день” пути от Рима, Шереметев прибыл в столицу Великого герцогства Тосканского, где делегация остановилась на одном из постоянных дворов. Той же ночью к Шереметеву прибыл посланец от Великого герцога, прослышавшего о приезде во Флоренцию именитого “московита”: *“И того же вечера, о приезде боярском сведав, грандъдюк прислал к боярину часу в третьем ночи аббата, патера Франциска”*.

В “Записках” Шереметева приводится витиеватое обращение аббата Франциска к послу московского государя:

“Пресветлейшаго и державнейшего великого государя, его царского пресветлаго величества Московского и иных премногих и преславных государств автократора и императора, ближний боярин и наместник вятский Борис Петрович Шереметев, и войск его великий генералиссимус, прислал меня до знатнейшей особы вашей пресветлейший грандъдюк Флоренский Козмус Третий де Медицис, повелел тебя спросить о здоровье и через меня, нижайшего своего раба, предпосылает тебе свое поклонение. Радуетя же тому немало, что дождался в свое государство Вашу милость, такова приятного гостя, точию о сем скорбит, что, не сделав о себе известия, к нам благоволил прибытии без учинения всякой подобающей твоему славному и высокородному имени чести; однакож и то рассуждает, что знатнейшая твоя особа учинити то благоволила по своей воле, и приписует то мудрым твоим поступкам. А мне приказал служить твоей милости и каретами своими со служителями и скороходами, и, где угодно, изволь в них ездить. Притом же просил его светлость о том, чтобы, где Ваша милость изволит сам, видеться с его светлостию грандъдюком”.

В те годы Великим герцогом Тосканским был уже молодой Козимо III Медичи (1642–1723) — ревностный католик, но малоспособный политик, чье государство находилось в упадке. Более двадцати лет назад он развел-



Великий герцог Тосканский
Козимо III Медичи

ся с Маргаритой-Луизой Орлеанской (на ней, как мы помним, он готовился жениться во времена посольства Лихачева к его отцу), которая скорее предпочла уйти в монастырь, чем жить с опостылевшим супругом. Когда же, спустя несколько лет, Козимо попросил француженку возобновить брак, та гордо ответила: *“Не проходит часа или дня, чтобы я не желала, чтобы Вас кто-нибудь*

повесил... Мы оба скоро отправимся в ад, и мне еще предстоит мучение встретить там Вас...”

На следующий день по приезде Шереметев с братьями Василием и Владимиром в двух присланных Великим герцогом экипажах и в сопровождении аббата Франциска и бегущих впереди карет “сорокоходов” отправился осматривать город.

“Флоренция — город великий, больше Венеции, — читаем в «Записках» Шереметева. — Палаты в нем деланы особливym строением, и не так, как в Римской и Венецианской областях. Сквозь город Флоренцию течет великая река, называемая Арно, через ее четыре моста великие с разными фигурами. Флоренский грандъдюк есть

дедичный [наследственный] князь и самовластный, не так, как князь венецианский. Палаты грандъдюка флоренского великие и зело украшенные”.

Путешественники осмотрели кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре и строящуюся Церковь Сан-Лоренцо с родовой усыпальницей Медичи:

“Тут есть превеликая церковь, вся сделана, от земли и до креста, из разных мраморов, а простого камня нигде нет... Другая церковь строится, где стоят гробы грандъдюков флоренских, вся из разных драгоценных мраморов, каковой церкви нигде не наезжали. А как сию церковь начали строить, строить тому 120 лет, а только еще вполовину состроена, и всегда непрестанно строится, и превеликая, сказывают, на нее тратится казна”.

65

Обязательным пунктом программы осмотра Флоренции высокопоставленными гостями был герцогский “зверинец” — предмет гордости нескольких поколений Медичи:

“Потом были во зверинце и видели больших львов, и львиц, и по полугоду молодых львов, также барсов, медведей, волков, лисиц, песцов белых, котов морских и великих орлов”.

На третий день пребывания русских гостей в столице Тосканы был организован торжественный прием в великогерцогском дворце:

“И как приехали ко всходу в палаты, встретили тут боярина многие его министры. А сам грандъдюк встретил в другой палате и привитался любезно, взял бояри-





на за руку и повел в свою палату по правую себя руку, и говорил: «Зело радуюсь, видя в доме моем такого приятного гостя, которого, слыша содержаща путь свой в Итальянских краях и далее, попремногу всесердечно желал видети, которого моего желания ныне не лишился». Против чего также пристойным образом боярин ему благодарствовал...»

Козимо III показал Шереметеву хранящуюся в его кабинете гравюру с изображением московского царя Петра в немецком платье, сказав при этом: *“На сию, его царского величества, персону смотря, как на самого его, истинно чиню всегда ему почтение”*. Показал великий герцог и московские географические карты Черного моря, сказав, что *“оную ландкарту его царское величество благоволил сочинити сам своими руками”*. Затем Козимо повел Шереметева в особую комнату, где хранились фамильные драгоценности Медичи: *“И водил боярина в другую палату, в которой показывал камень, алмаз граненой, величиною с лесное яблоко, со всех сторон равен, также премногие разные драгоценные запоны и множество персицкого жемчугу, иной жемчуг величиною есть с русской орех, и в одной запоне казал висячей красной дал [камень наподобие рубина], величиною с большое лесное яблоко, и многие другие вещи показывал...”*

После визита во дворец гостей возили смотреть особо чтимую флорентийскую святыню — нетленные мощи Марии Магдалины де Пацци, хранящиеся в церкви Санта-Мария дельи Анджели:

На предыдущем развороте:
Площадь Синьории. XVIII в.

“Того же дня ездили в монастырь законниц-кармали-танок. Тут в церкви лежат мощи святые мученицы Мари-и, положены под престолом и видимы за хрусталем нетленные...”

Посмотрели гости и сокровища галереи Уффици, сочетавшей в себе государственную канцелярию и хранилище раритетов:

69

“Потом были в казенных в одиннадцати палатах, показывали премное сокровище золота, серебра, дорогих камней, разных шкатул с камнями, разных живописных картин, ружья и седел разных государств, в чем состоит великое богатство и наблюдается чистота...”

С особой бережностью хранились в Уффици документы Флорентийского собора 1439 г., на котором была заключена уния между католической и православной церквами: *“Показывали бывшего во Флоренции собора описание на великом листе, на котором цесарь Греческий и все, кто были на оном соборе, подписали свои имена своими руками”*. Шереметева, по-видимому, этот документ особенно заинтересовал, и он попросил снять ему копию, каковая была сделана и вручена ему перед отъездом.

Накануне отбытия Шереметева из Флоренции все тот же аббат Франциск от имени Козимо III преподнес ему в подарок драгоценную *“шкатулу”*: *“оная шкатула резная, оправлена серебром, а в ней два ящика со многими лекарствами”*. Шереметев в свою очередь тоже одалжил гостеприимных хозяев: *“И боярин одного присланно-*

го дарил: две пары соболей да косяк камки — ценою в пятьдесят рублей; а возницам княжим, и лакеям, и скороходам дано дватцать червонных”.

15 июня 1698 г. русская делегация выехала из Флоренции в Венецию, где собралось к тому времени немало русских в ожидании царя Петра Алексеевича, путешествовавшего по Европе в составе “Великого посольства”.

По-видимому, по заданию Петра Шереметев задержался в Венеции до 10 августа, потом почти месяц вел переговоры в Вене, где император Леопольд I *“слушал с любопытством рассказ Бориса Петровича, в особенности, об Италии и Мальте; желал, чтобы полученный им орденский знак поощрил его к новым подвигам, полезным для всего христианства”.*

Побывав затем в польских землях и Киеве, Шереметев возвратился в Москву лишь 10 февраля 1699 г., представ перед царем Петром *“в немецком платье, с Мальтийским командорственным крестом и драгоценной шпагою”.* После этого царь приказал записать во всех официальных бумагах, касаемых Шереметева, что *“титло его, сверх боярского достоинства, еще получило приращение, и как в Боярской Книге, в Росписях и других бумагах, так и сам бы он писался: Боярин и Военный свидетельствованный Мальтийский Кавалер”.*

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ

71

ПЕТР Андреевич Толстой (1645 — 7.02.1729, Соловецкий монастырь) — государственный деятель, дипломат, мемуарист. Родственник князей Милославских, он во время московской схватки за власть в 1682 г. опрометчиво примкнул к партии царевны Софьи, возбуждая стрельцов против Нарышкиных, но вскоре перешел на сторону молодого царя Петра Алексеевича. Во второй половине жизни — один из ближайших соратников Петра Великого.

В 1697-1699 гг., чтобы искупить ошибки прошлого и заслужить доверие Петра I, немолодой Толстой, будучи уже дедом, ездил на собственные средства в Европу для овладения особо ценным царем корабельным мастерством. Побывал в Польше, Священной Римской им-



Петр Андреевич Толстой

перии, Венеции, Милане, Папской области, Неаполе, на островах Сицилия и Мальта, о чем оставил подробный “Дневник”, известный как “Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697-1699”.

Летом 1698 г. Толстой на обратном пути с Мальты, останавливался в Неаполе, потом был в Риме, а затем двинулся на север — в Великое герцогство Тосканское. В отличие от посольства Шереметева, посетившего эти места двумя месяцами ранее, Толстой путешествовал один, как частное лицо, и по дороге во Флоренцию 21 августа 1698 г. заехал в Сьену:

“Тот город великого князя флоренского зело велик, стоит на высокой горе. В том городе есть высокие каменные здания, изрядным мастерством сделаны. Тот город многолюден; и люди в нем живут изрядной политики, честные особы, ездят в изрядных каретах и возники имеют изрядные; также и жены, и девицы того города ездят в каретах же. Торговых людей в том городе много, лавок и товаров в том городе довольно. Монастыри и костелы в том городе изрядного строения...”

Утром 23 августа Толстой добрался до Флоренции, не подозревая, что город еще был полон слухов о знатных “московитах”, недавно здесь гостивших и удостоившихся почетного приема у самого великого герцога:

“Я приехал ко Флоренским воротам, и в воротах, в которых солдаты стоят для караулу, хотели, по обыкновению своему, осмотреть у меня в сундуке всяких купеческих вещей. И как слышали обо мне, что я Московского государства человек, и они, у меня ничего не осматривая, тотчас меня во Флоренцию пропустили”.

73

При въезде во Флоренцию Толстой остановился на постоялом дворе (остарии) Сан-Люнци, где был приятно удивлен приемом:

“В той остарии хозяин отвел мне палату изрядную, в которой была кровать золоченая с завесом изрядным, также постель хорошая с белыми чистыми простынями и с одеялом изрядным, и стол, и стулы, и креслы изрядные, и всякой убор, зеркала, картины, как обыкновенно италиянцы убирают палаты. В той остарии за пищу, и за палату, и за всякой покой платил я хозяину за себя по семи Павлов римских на сутки, а московских денег будет по полтине...”

Город произвел на Толстого очень хорошее впечатление:

“Флоренция есть место великое между великих гор на ровном месте. И в нем обитает грандука, то есть великий князь, которой имеет корону, то есть венчаный, имеет под собою и другие места немалые, и владительство его

немалое и многолюдное. Флоренция город каменный, древнего строения, с башнями каменными и ворота проезжие древней моды, однакож изрядного мастерства. Весь город Флоренция вымощен камнем, и палаты есть высокие, в три и в четыре жилья в высоту, а строены просто, не по архитектуре. Сквозь Флоренцию течет река немалая, которая называется Арно. Чрез ту реку сделаны четыре моста каменных, великие, на каменных столпах, между которыми один зело велик, на котором построен серебряной ряд. Монастырей и церквей во Флоренции всех с лишком 200, которые изрядное имеют в себе украшение и богаты серебром и всякими церковными утварами зело...

Понравились Толстому и жители города:

“Подлой народ во Флоренции побожен, политичен и зело почитателен и правдив... Во Флоренции народ чистой и зело приемной к форестиерам [иностранцам]. Платья носят французское честные люди, а иные особы подобно римскому платью; а купцы платье носят такое, как венецкие купцы, — черное; а женской пол во Флоренции убирается по-римски. Честные люди во Флоренции и купцы богатые ездят в каретах и в колясках изрядных; и лошадей каретных во Флоренции много; также жены и девицы ездят в каретах же, изрядно убався, на добрых лошадях...”

Флорентийцы показали русскому путешественнику народом работающим и зажиточным:

“Рядов, в которых сидят купцы и мастеровые люди, во Флоренции много и всяких товаров довольно; также



Вид Флоренции с реки Арно. XVIII в.

и мастеровых всяких людей много, а наипаче Флоренция хвалится мастерством, что делают всякие вещи, великие и малые, из розных мраморов зело предивно... Во Флоренции много мастеров изрядных, живописцев изрядного италийанского мастерства, которые изрядно пишут и за один небольшой образ берут золотых червонных по 50 и больше...

Приятно поразила Толстого и сравнительная дешевизна местной жизни:

“Во Флоренции хлеб, и мясо, и всякая живность недорого, и есть того в ней довольно; также и рыбы много и недорого; а фруктов всяких множество и зело дешевы, а

паче много изрядных виноградов, с которых делают изрядные вина, которые на всем свете славные Флоренские вина; и зело их много, белых и красных, которые безмерно вкусны и непьяни; и купят их там дешево, а, покупая, отвозят в дальные места за славу, что есть Флоренские вина славные..."

76

Между тем от глаза опытного путешественника не укрылись и недостатки городского управления:

"Во Флоренции есть не во многих местах фонтаны, которые есть и попорченные, однако ж хорошего мастерства, только не такие, как в Риме, и не из всех фонтаны во Флоренции воды текут..."

Подобно ранее Шереметеву и его спутникам, Толстой описывает одну из главных флорентийских диковинок — "зверинец" великого герцога, находившийся за Старым дворцом на Via dei Leoni:

"Потом пришел в один дом, в котором флоренскаго великаго князя сидят звери и птицы. В том доме поделаны зверям места пространные и палаты, в которых звери живут изрядные. В те места поделаны окна великие и вставлены решетки железные, толстые, в которые окна сквозь те решетки могут люди зверей видеть..."

Перечисление Толстым обитателей "зверинца" значительно подробнее представленного в записях Шереметева:

"В том доме видел я льва великого, которому, сказывают, 9 лет. Потом видел львицу великую ж, и сказывают об ней вещь удивительную, будто она больна лихорад-

кою, которую я видел лежащую, и зело громогласно ревела, власно как бы стонет. Потом видел льва молодого, у которого еще нет гривы и на хвосте кисти; а сказывают, что-де тот лев еще трех лет. Потом видел: два льва малых в одном месте сидят и играют между собою, а величеством же малые львы с посредственнаго волка; а сказывают, что тем львам еще от роду по семи месяцев и привезены из Гишпани. В том же доме видел одного барса великого и зело изрядного. В том же доме видел трех медведей великих, между которыми один половой, великой; а сказывают, что тот половой медведь в том доме сидит уже зо лет. В том же доме видел немало волков великих. В том же доме видел одну лисицу черную; а сказывают, что-де та лисица привезена в давних летах во Флоренцию с Москвы. Там же видел много орлов великих серых”.

77

В мемуарах Толстого можно найти и важные подробности:

“Среди того дому сделано между палат место пространное; среди того места стоит столп деревянной великой. А сделано то место для того: когда похочет Флоренской великой князь теми зверми веселится, тогда на то место выпускают зверей; и те звери на том месте бьются, а великой князь смотрит того сверху, где поделаны вокруг того помяненного места переходы каменные, изрядные”.

Столь же уникально и описание Толстым специальной “машины”, с помощью которой служители зверин-

ца могли прекратить смертельные схватки разъярившихся экзотических животных:

78

“И если зверь зверя учнет одолевать и их людям разнять невозможно за их лютостию, и для того сделан инструмент такой: сделано из глины одно изображение великое, безмерно страшливое, подобием зело устрашительной жабы; и в то изображение войдут люди и запалют в нем огонь, чтоб дым и пламя огня исходило у того изображения изо рта, и из глаз, и из ушей, и из сторон. И так те люди в том страшилище въедут в то место, где те звери бьются, и как звери то изображение увидят, испугаются, чают, что живое нечто вошло к ним, и разбегутся разное, покинув драгся. Тогда их зверовишки, взяв, посадят в их места, в которых живут. А сделано то страшливое изображение на колесах, и могут в нем бывшие люди иттить, куда хотят...”

Гуляя по городу и постоянно страдая от августовской жары, Толстой осмотрел Собор Санта-Мария дель Фьоре, Баптистерий Сан-Джованни, незаконченную церковь Сан-Лоренцо с Капеллой Медичи и некоторые другие достопримечательности на правом берегу Арно. Посмотрев также Уффици, он, через Понте Веккьо, перешел на левый берег:

“Потом пришел я на один великой мост, которой сделан через реку на каменных столбах высоко зело и широк. На том мосту по обе стороны поделаны лавки, в которых сидят марканты, то есть купцы, и торгуют серебром. В тех лавках серебра есть малое чис-

ло, и работ в серебре самых добрых в тех лавках я не видал”.

Посмотрел Толстой и дворец Питти, ошибочно предполагая, что там в данный момент находится Великий герцог, — на самом деле на время летней жары Двор уезжал поближе к морю, в Пизу. Не смутило Толстого даже отсутствие серьезной стражи перед дворцом:

79

“Потом я пришел ко двору флоренского князя. Тот его двор стоит на пригорке, палаты великие, строения и моды древней. У ворот его стоит один караульщик с протазаном, и у двора его никого я не видал...”

Интересно объяснение отличавшегося высокой самооценкой Толстого, почему он решил не беспокоить Великого герцога и не наносить ему визита:

“А на двор его я не пошел, для того, что я ходил там гулять тайным лицом, а не явною своею особою, для того, что мое намерение было такое, чтоб больше одного дня во Флоренции не жить. А если бы мне сказаться своим лицом во Флоренции, и меня бы великой князь Флоренской задержал любовно: для имени государя моего хотел бы мне учинить гонор [честь] и тем бы дороге моей учинил препятствие. И, смотря я того великого князя дому, пришел к себе в остарию...”

Толстой заказал экипаж на раннее утро следующего дня и, заранее расплатившись с хозяином (“чтоб мне задержания ни от кого не было”), покинул понравившуюся ему столицу Тосканы; путь его лежал в Феррару, Падую и далее в Венецию.

...Спустя почти двадцать лет, в 1717 г., Петр Андреевич Толстой вновь побывал в Италии, где путем хитроумных комбинаций ему удалось склонить к возвращению в Россию скрывающегося от царя-отца наследника Алексея Петровича. Впоследствии Толстой лично возглавил следствие по делу цесаревича.

За заслуги перед императором Петром I П. А. Толстой получил в 1724 г. титул графа, став, таким образом, основоположником графского рода Толстых. После смерти преемницы Петра Великого, императрицы Екатерины, Толстой проиграл придворные интриги Меншикову, был сослан в Соловецкий монастырь, где и скончался.

ДЕМИДОВЫ

81

На левом берегу Арно, рядом с набережной у Ponte alle Grazie, есть Piazza Nicola Demidoff, названная в честь Николая Никитича Демидова (1773–1828), русского посланника при Тосканском дворе, мецената, почетного гражданина Флоренции. В центре площади под стеклянным ажурным навесом установлен памятник Демидову работы Лоренцо Бартолини. В центре — Демидов в образе римского сенатора, который обнимает маленького сына; женская фигура, символизирующая Признательность, преподносит ему лавровый венок. По углам — четыре статуи-аллегии: Природа, Искусство, Милосердие и Сибирь (последняя держит на руках Плутоса с мешком золота). Памятник был создан по заказу сына посланника Анатолия Николаевича Демидова и преподнесен им в подарок Флоренции.

Основание роду Демидовых, сыгравшему заметную роль в новой истории Флоренции, положил сын тульского крестьянина-кузнеца Никита Демидович Антуфьев. В 1696 г. Петр Великий по пути в Воронеж остановился в Туле и приказал спросить местных умельцев, не возьмутся ли они за месяц выковать триста алебард по привезенному образцу. На вызов царя явился единственный желающий — кузнец Никита Антуфьев. Вскоре после первого испытания Петр заказал ему же изготовить ружья по иноземному образцу, и Антуфьев опять с честью справился с царским заданием. В благодарность Петр пожаловал мастеру участок земли на берегу Тулицы, право добычи железной руды и фамилию Демидов. Через некоторое время Демидовы получили в дар от царя обширные земли на Урале и в Сибири, открыли там магнитные, серебряные и медные рудники. По свидетельству Голикова, биографа Петра, в 1715 г., когда у царя родился сын Петр Петрович, Никита Демидов прислал “на зубок” царевичу “множество драгоценных золотых вещей из древних сибирских курганов и сто тысяч рублей деньгами”. В 1720 г. Петр возвел Никиту Демидовича Демидова в потомственное дворянство.

Никита Демидов умер 17 ноября 1725 г. и был погребен в Туле при Христорождественской церкви (называемой Демидовской), в чугунной гробнице под папертью. Его сын Акинфий Никитич расширил отцовское дело, и когда в 1745 г. он скончался, три его сына — Прокофий, Григорий и Никита Демидовы унаследовали огромное



Памятник почетному гражданину Флоренции
Николаю Никитичу Демидову на площади его имени.

состояние: десятки рудников и заводов, другую недвижимость, а также более тридцати тысяч крестьян (приписных вечноотданных крепостных).

Первым из Демидовых побывал в Европе Прокофий Акинфиевич Демидов во время большого заграничного путешествия. Историк С. Н. Шубинский писал:

84

“Цель этого путешествия заключалась, конечно, в желании посмотреть на заморскую роскошь и испытать те развлечения и наслаждения, которых нельзя было достать в России ни за какие деньги. Остановливаясь во всех главнейших городах Европы, Прокофий Акинфиевич предавался такой праздной и шумливой жизни и делал такие чудовищные закупки разных предметов роскоши, что привел иностранцев в ужас. Пируя на лукулловых праздниках Демидова, они с недоумением качали головами и говорили друг другу на ухо: «Как он мотает! С чем-то выедет отсюда?», а Прокофий Акинфиевич между тем посмеивался вслух над бедностью Европы, отзываясь, что ему некуда тратить денег и что он не может достать себе даже самое необходимое. Такое безумное бросание денег, разумеется, скоро сделало имя Демидова известным за границей. Везде, где он ни проезжал, его принимали, как принца, — с почестями и низкопоклонством”.

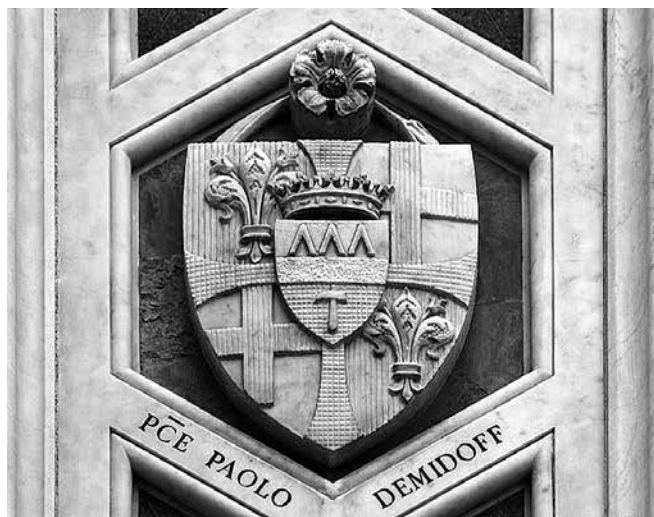
В России Прокофий Демидов жил в Москве, т. к. в Санкт-Петербурге, по замечанию того же биографа, “присутствие двора сдерживало его произвол, а придворный блеск отчасти затмевал пышность, которой он окружил себя”. Унаследовав в Москве несколько домов,

Прокофий выстроил на Басманной улице близ Разгуляя еще один дом самой затейливой архитектуры и снаружи обшил его весь железом — как защиту от частых по тем временам пожаров.

Шубинский: *“Внутренняя отделка дома была великолепна и вполне соответствовала колоссальному богатству хозяина. Массы золота, серебра и самородных камней ослепляли глаза, на стенах, обитых штофом и бархатом, красовались роскошные картины; зеркальные окна и лестницы были уставлены редкими растениями; мебель из пальмового, черного и розового дерева поражала своей тончайшей, как кружево, резьбой; на мозаиковых полах лежали ковры из тигровых, собольих и медвежьих шкур; на потолках были развешаны в золотых клетках птицы всех стран света; по комнатам гуляли ручные обезьяны, орангутанги и другие звери; в мраморных бассейнах плавали разнородные рыбы; мелодические звуки органов, искусно вделанных в стены, увеселяли слух посетителей; в столовой фигурные серебряные фонтаны непрерывно били вином; роскошный и обильный обед был во всякое время готов для всех желающих — словом, Демидов сосредоточил в своем доме всю роскошь и великолепие, которые только были доступны тогдашнему искусству и фантазии”.*

85

Биографы семейства Демидова свидетельствуют, что с годами странности Прокофия Акинфиевича увеличились. По Москве он ездил не иначе, как цугом, в колымаге, окрашенной ярко-оранжевой краской. Экипаж состо-



Герб Демидовых на фасаде Собора Санта-Мария дель Фьоре.

ял из двух маленьких лошадей в корню, двух огромных в середине с едва приметным фореитором, и двух также небольших лошадей впереди, с фореитором столь высокого роста, что длинные ноги его тащились по мостовой. Ливрея лакеев вполне гармонировала с упряжью: одна половина была сшита из золотой парчи, другая из самой грубой сермяги; одна нога лакея была обута в шелковый чулок и башмак, другая в онучи и лапоть. Когда вошло в моду носить очки, Демидов их надел не только на свою прислугу, но даже на лошадей и собак...

Однако Прокофий Демидов вошел в историю не только своей экстравагантностью. Он жертвовал огромные суммы на Московский университет; на свои деньги основал в Москве коммерческое училище для ста мальчиков из купеческих семей. За его благотворительную деятельность императрица Екатерина Великая пожаловала ему чин действительного статского советника. В ноябре 1786 г. П. А. Демидов скончался и был погребен в Донском монастыре за алтарем Сретенской церкви; благодарный Университет прислал целую депутацию к гробу усопшего.

87

Совершил путешествие в Европу в 1771-1773 гг. и другой сын Акинфия Демидова — Никита Акинфиевич, наследник нижнетагильской части отцовского состояния. Это путешествие подробно описано в изданном Демидовым в Москве в 1786 г. “Дневнике путешествия по иностранным государствам”. В “предуведомлении” к нему секретарь Демидова написал:

“Главным побуждением к предприятию его высокородием Никитою Акинфиевичем сего путешествия была беспрестанная болезнь Александры Евтихievны, его супруги, ибо господа медики, ее пользовавшие, употребив многие способы своего знания, но без успеха, напоследок отозвались что к ее исцелению другого средства они не находят, кроме как ехать к водам, в Спа находящимся. Сей совет и надежда, чтоб видеть в совершенном здорovie свою супругу, побудили его предпринять столь дальний путь”.

Лечение минеральными водами на бельгийском курорте Спа прошло успешно, и на следующий год, в Париже, А. Е. Демидова (урожденная Сафонова) благополучно родила дочь Екатерину. На радостях Никита Демидов заказал молодому русскому скульптору Федоту Ивановичу Шубину, приехавшему в Париж из Рима, где стажировался, мраморные бюсты — свой и жены (они сейчас находятся в Третьяковской галерее). Федот Шубин, поселившийся в парижских апартаментах Демидовых, приступил к работе и при этом настолько увлекательно рассказывал *“о древностях римских и всех достопамятных вещей”*, что *“возбудил охоту видеть Италию”*.

В начале декабря 1773 г. Демидовы, оставив маленькую дочь в Париже *“с хорошим присмотром”*, тронулись в путь в Италию, *“с намерением осмотреть такую землю, которая изобильна была всеми произведениями и притом великими людьми, героями, чиновниками, гражданами, учеными и художниками”*. С ними отправились двое парижских знакомых — князь Сергей Сергеевич Гагарин (впоследствии действительный тайный советник и русский посланник в Лондоне) и будущий известный историк и коллекционер граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Взяли в путешествие и Шубина — *“по довольному его знанию италийского языка”*.

Через Лион и Шамбери русские путешественники приехали дилижансами в столицу Пьемонтского королевства Турин, где остановились на постоялом дворе *“Город Лондон”*. Потом долго ехали на почтовой карете

через Милан, Парму и Болонью (езде осматривая местные достопримечательности), *“по причине грязной дороги, ибо тогда была осень и зима вместе”*. С особыми сложностями преодолели путь от Болоньи до Флоренции — *“по причине великого снегу, в горах лежавшего”*. 7 января 1773 г. они достигли, наконец, Флоренции — столицы Великого герцогства Тосканского, где прожили потом две недели.

89

Знакомый английский посланник представил русских гостей Великому герцогу Пьетро Леопольдо I (брату императора Священной Римской империи Иосифа II Габсбурга) и Великой герцогине Марии Луизе (дочери испанского короля Карла III), которые устроили в честь них специальный прием. Путешественники сделали ряд важных визитов (например, во дворец принцев Корсини на правом берегу Арно), побывали в оперном театре “Pergola” на Via Ghibellina, одевшись, по местному обычаю, в маскарадные костюмы, ибо *“во всей Италии, кроме папского владения, с самого рождества по первую неделю великого поста ходят даже и по улицам и по всем позорищам в маскарадном платье”*. Несколько раз посещали “Казино” (или, на английский манер, “Клоб”) — популярное еще со времен Медичи заведение, где флорентийская элита привыкла узнавать последние светские и политические новости, просматривать свежие газеты, пить входивший в моду кофе и играть в карты. “Клоб” этот (Casino Mediceo di San Marco) находился в квартале между улицами Larga (ныне Cavour) и San Gallo.

Осмотр художественных сокровищ Флоренции русские гости начали с великогерцогской галереи Уффици, где Никиту Акинфиевича особенно поразила скульптура Венеры Медицейской в зале “Трибуны” — восьмиугольной комнате с обитыми малиновым бархатом стенами, организованной еще в конце XVI в. при герцоге Франческо I. Н. А. Демидов свидетельствует об этом скульптурном шедевре (римской копии I в до н.э. с утраченного греческого оригинала), в конце XVII в. перевезенном Медичи из Рима во Флоренцию:

“Наисовершеннейший пример сего искусства, имеет шесть футов в вышину, с двумя наперед купидонами и Дельфином на боку. Она представлена вся нагая; голова поворочена на левое плечо; правую руку держит, не дотрогиваясь над грудьми, а левую в некотором расстоянии закрывает то, что благопристойность запрещает показывать. Не можно лучше и совершеннее выдумать”.

В “Дневнике” Демидова имеется и первое в русской литературе описание знаменитой флорентийской коллекции автопортретов великих художников, которая в то время находилась в специально отведенном зале галереи Уффици (позднее перенесена в “коридор Вазари” на Понте Веккьо):

“Здесь имеется множество оригинальных картин наилучших живописцев и помещены в особливой зале, самими с себя списанные, а наипаче первейшего из них славнейшего Рафаела портреты”.



Зал «Трибуна» в галерее Уффици.
В глубине — Венера Медицейская

Осмотревши Уффици, гости перешли в Палаццо Питти (*“он соединен с галереею и Старым дворцом переходами”*). Среди множества находящихся здесь произведений живописи Н. А. Демидов особенно выделил *“Мадонну сидящую”* Рафаэля Санти:

“Картина овальная, изображающая Богородицу с пречечным младенцем, у коего глаза толико в пункт приведены, что с которой стороны ни посмотришь, кажется всюду пронизательно вззирающим; известна под именем

Madona della Sedia вензеля Рафаелова. Она написана по пояс в натуральную величину. Не можно ни нарисовать, ни придать совершеннее изображения, как в сей картине”.

Интересно мнение Демидова о Великом герцогстве Тосканском:

92

“Герцогство Тосканское, прежде называемое Этрусским, может похвастаться наиболагополучнейшим, ибо земля его плодородна и всеми нужными произведениями изобилующая. Торговля отправляется в хорошем состоянии маслом оливковым, шелком и шерстью. Войска здесь только считается до 6000 человек; но в случае нужды герцог может содержать и тридцать тысяч; а как он брат римскому императору и зять испанскому королю, то первый может снабдить его в случае надобности людьми, а последний деньгами, чрез что он будет защищен от всякого нападения и притеснения соседственного. В сем герцогстве, как нам объявляли, читается до миллиона жителей. Доходу со всего собирается на наши деньги около трех миллионов рублей. Здешные жители вообще самые добрые и честные люди и к воровству совсем не склонны; ибо ограбленных, а наипаче убитых весьма редко находят”.

Столица Тосканы особенно понравилась Демидовым:

“Весь город Флоренция и все улицы вымощены большими гладкими камнями, плотно соединенными. Река Арно протекает через весь сей город и разделяет его пополам. Она имеет, как сказывали, во время разлития до 70 са-

жен ширины; начало свое берет в горах Апененских, а впадает под Пизою в Тосканское море... Строение в сем городе, вообще сказать, самое хорошее, домики не огромны, но к житию способные, улицы довольно широки и чисты; жители ласковы и обращаются с чужестранными по-приятельски. Съестные припасы и прочее все дешево...

После Флоренции путешественники отправились в Рим, где пробыли месяц, потом три недели провели в Неаполе и его окрестностях. На обратном пути они снова побывали в Риме (посмотрев пасхальные торжества), а достигнув Тосканы, остановились на этот раз в Пизе, где в начале апреля 1773 г. находился двор Великого герцога *“для отправления кавалерского праздника святого Стефана, ибо сего ордена герцог гроссмейстер”*.

Н. А. Демидов так описывает Пизу:

“Пиза особое имеет архиепископство, второй город герцогский, и первый после Флоренции. Довольно велик, улицы в нем пространные, вымощены большими камнями, да и дома, говоря вообще, преизрядно выстроены. По реке Арно могут ходить всякие суда. Она вдвое шире Тибра, что в Риме. Чрез сию реку построены три каменных моста, из которых середний весь мраморный. Пизская соборная церковь подобна сооружением Сиенской, только здешняя побольше и положение ее преимущественнее: колокольня по особой архитектуре, на правую сторону весьма наклонившаяся, сделана вся из мрамора с немалыми в шесть ярусов колоннами. Подобие ее есть настоящий цилиндр. Поверхность плоска и обведена ба-

люстрадом, с которого мы спускали на веревке свинец или отвес, то оной становился пятнадцать шагов от фундамента”.

В главном порту Великого герцогства — Ливорно Демидовы виделись с офицерами русского флота, проживающими в нанятом большом палаццо главнокомандующего, графа А. Г. Орлова. По дороге из Пизы в порт Леричи, около местечка Сарцана с дорожной каретой Демидовых приключилась история, имевшая все шансы окончиться трагически для Демидовых и их не родившегося еще наследника. Вот запись из “Дневника путешествия”:

“Переезжая чрез малый, но крутой мыс, у кареты, в коей сидели Александра Евтихиевна, будучи беременной, Никита Акинфиевич и Михаила Савич Бороздин (полковник, будущий генерал-поручик, присоединившийся к Демидовым в Риме. — А. К.) две впереди заложенные лошади оторвались. Коренные две не могли удержать кареты, потащены были тягостию оной в буерак, на краю коего стоящее дерево удержало стремительность падения... Карета, хотя и опрокинулась вверх колесами, но упала не столь сильно, отчего большого повреждения никому и не учинилось, однако ж крайне все были испуганы. Из буерака вывезли карету с великим трудом на быках, на коих поблизости тамошнего места пахали...”

Счастливо избежав опасности, Демидовы поплыли из Леричи на двух небольших парусных фелюках в

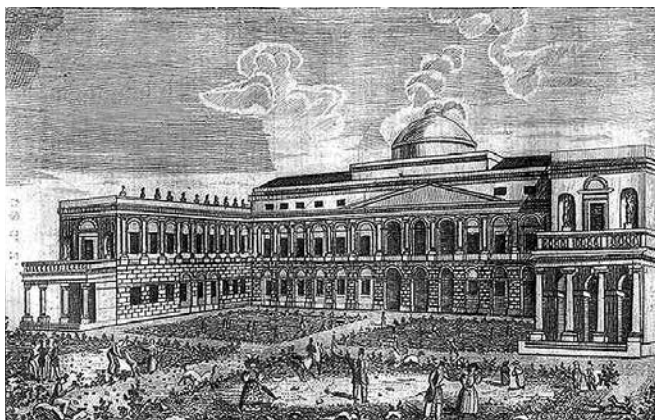
Геную, а оттуда, через Турин, альпийские перевалы и Швейцарию, вернулись во Францию.

На обратном пути в Россию, незадолго перед возвращением в Петербург, 9 ноября 1773 г., в местечке Чирковицы за Нарвой произошло счастливое для семьи событие: Александра Евтихиевна Демидова *“с осьмого часу начала чувствовать приближение ею родин, для чего послали немедленно за бабкой, а между тем упросили и почтмейстерскую жену о неоставлении в сем случае вспомоществованием. А в 9 часов с четвертью благополучно разрешилась от бремени, и к неописанной радости ее супруга даровал ему Бог сына, как бы в награждение за его столь дальнее и многотрудное путешествие, предпринятое им единственно для ее исцеления. Новорожденной же по прочтении молитвы наречен Николаем”*.

95

Николай Никитич Демидов переехал во Флоренцию из Парижа после смерти первой жены Елизаветы Александровны (урожденной Строгановой) и вскоре сменил Н. Ф. Хитрово на посту русского посланника при дворе великого герцога Тосканского. Граф Д. П. Бутурлин, также много лет проводивший во Флоренции, описал быт и нравы русской колонии во Флоренции в бытность там Н. Н. Демидова, который, по словам Бутурлина, *“зажил там владельческим князем”*:

“Нанимаемый им палаццо Серистори у моста delle Grazie представлял пеструю смесь публичного музея с обстановкою русского вельможи прошлого века. Тут были французские секретари, итальянские коммиссионе-



Дворец Демидовых во Флоренции. 1820-е гг.

ры, сибирские горнозаводские конторщики, приживалки, воспитанницы и в дополнение ко всему этому французская водевильная труппа в полном составе... Сверх сего штата постоянно проживали у него бездомные игроки и паразиты... В доме Н. Н. Демидова находилась также выставка малахитовых и других ценных вещей, а в саду — коллекция попугаев. Оба эти отделения были доступны флорентийским зевакам... Французские спектакли давались два раза в неделю, а затем следовал бал. Самого хозяина, разбитого параличом, перевозили из комнаты в комнату в креслах с колесами. Конюшни были наполнены английскими кровными лошадьми... Случалось, что Н. Н., рассматривая отчеты сибирских своих заводов,

находил нужным вытребовать для личных объяснений во Флоренцию какого-нибудь из уральских своих приказчиков, и, получив такое приказание, сибиряк запрягал тройку в повозку и, на основании поговорки, что «язык до Киева доведет», в ней проезжал всю Россию и Германию и являлся к барину во Флоренцию, не говоря ни на каком другом языке, как на русском...»

97

Однако, как и его дядя, более чем чудачествами, Николай Демидов прославился своей благотворительностью: он щедро помогал городу, жертвовал на церковь, основал несколько школ во Флоренции. После его кончины наследство перешло с его сыну, Анатолию Никитичу Демидову. Тот был женат на родной племяннице Наполеона I — Матильде (дочери Жерома — брата императора), приобрел близ Флоренции княжество Сан-Донато и построил там виллу. Домовая церковь Демидовых в Сан-Донато долгое время являлась главным храмом всех православных во Флоренции. Приумножил Анатолий Демидов и богатейшие коллекции своего отца, пополнив их большим количеством драгоценных мраморных и бронзовых ваз, статуй, бюстов, в том числе вырытых при раскопках Помпей и Геркуланума. Когда много позднее коллекции Демидовых перевозились по морю в Санкт-Петербург, потребовалось несколько больших кораблей.

А. Н. Демидов умер в 1870 г. бездетным, и его огромное состояние, основой которого были нижнетагильские заводы и земли в Сибири и на Урале, унаследовал племян-

ник — Павел Павлович Демидов. Он родился 9 октября 1839 г. в Веймаре, рано потерял отца и был воспитан матерью, Авророй Карловной (урожденной Шернваль), вышедшей вторым браком за А. Н. Карамзина, сына знаменитого историка. Павел Демидов окончил юридический факультет Петербургского университета, а затем продолжил службу в русских дипломатических представительствах в Европе. Его биограф писал о нем:

“Порывистый, страстный, часто увлекавшийся, молодой Демидов в широком кругозоре разнообразных впечатлений умел находить и распознавать те стороны людского быта, на которых никогда не останавливается внимание людей, упивающихся жизнью... Богач прежде всего хотел узнать нищету и бедствие. Избалованный или, прямее сказать, подавленный благами жизни, Демидов не удовлетворялся суетою и искал правды. Он ещё в Париже сблизился с людьми духовного направления и искал опоры в друзьях церкви и евангельской мудрости...”

После смерти первой жены Марии Елимовны (урожденной княжны Мещерской) Павел Демидов бросил дипломатическую службу, вернулся в Россию и поселился в губернском городе Каменце, а потом в Киеве, где был сначала почетным мировым судьей, а потом городским головой. Занимался благотворительностью, активно жертвуя на нужды города, университета и церкви.

Посещал Павел Демидов и Тоскану, где унаследовал от дяди владения в Сан-Донато. Во Флоренции он продолжил традиции семьи: открыл несколько школ, деше-



Вилла Демидовых Пратолино под Флоренцией

вые столовые, ночлежные приюты. В 1872 г., уже будучи вторично женатым на княжне Елене Петровне Трубецкой (дочери санкт-петербургского предводителя дворянства), он приобрел поместье Пратолино, в двадцати километрах от Флоренции по старой болонской дороге.

Вилла в Пратолино была построена еще 70-х годах XVI в. Франческо I Медичи, великим герцогом Тосканским, для своей возлюбленной, а потом жены — Бьянки Капелло. Восторженное описание виллы оставили Монтень и Торквато Тассо. К началу XIX в. вилла пришла в полное запустение, старый дворец был разрушен, и новый владелец — П. П. Демидов — перестроил под основное здание старый пажеский корпус. Достопри-



Скульптура Джамболоньи “Аллегория Апеннин”
 (“Колосс”) в парке виллы Пратолино

мечательностью парка виллы Пратолино продолжает оставаться грандиозная скульптура Джамболоньи “Аллегория Апеннин”.

С разрешения русского императора Александра II Павел Демидов принял пожалованный ему итальянским королем Виктором-Эммануилом титул князя Сан-Донато и две награды — Орден Св. Маврикия и Лазаря и Орден Итальянской короны. В 1879 г. граждане Флоренции поднесли П. Демидову золотую медаль с изображением его и княгини и адрес, доставленные в Сан-Донато особой депутацией, в составе которой были представители всех корпораций города. Муниципалитет избрал

по этому случаю князя и княгиню Сан-Донато почётными гражданами Флоренции.

Павел Павлович Демидов скончался на своей вилле под Флоренцией в 1885 г. сорока шести лет от роду; его тело было сначала погребено в Пратолино, а потом переправлено в Россию.

Вилла Сан-Донато на северо-западе Флоренции была продана еще в 1880 г. — сейчас там находится флорентийская городская больница. Еще раньше, в 1879 г., была упразднена домовая церковь, существовавшая с 1840 г.; ее убранство (иконостас, киоты, клиросы, резные двери работы Барбетти) были переданы православной церкви во Флоренции на Via Leone X, построенной по проекту архитектора М. Т. Преображенского. “Нижний храм” церкви был оосвящен в 1902 г. во имя Св. Николая Чудотворца — покровителя Николая Никитича Демидова, основателя флорентийской линии семейства.

Имение Пратолино после смерти П. П. Демидова перешло к его дочери Марии Павловне, всю жизнь прожившей в Италии и умершей там в 1956 г. Виллу и имение она завещала своему племяннику Павлу — отпрыску югославской королевской семьи Карагеоргиевичей.

ДЕНИС ИВАНОВИЧ ФОНВИЗИН

102

ДЕНИС ИВАНОВИЧ Фонвизин (14.04.1745, Москва — 12.12.1792, Санкт-Петербург) — драматург, публицист, дипломат. Выходец из старинного дворянского рода: его предок, барон Петр фон Визин, рыцарь-меченосец, был при Иване Грозном взят в плен во время Ливонской войны, а затем перешел на русскую службу. В XVII в. Фонвизины сменили лютеранство на православие и с годами полностью обрусели: Пушкин называл Фонвизина “русским из прерусских”.

Уже состоявшись как переводчик и драматург, Д. И. Фонвизин в 1769 г. стал ближайшим сотрудником главы русского дипломатического ведомства, екатери-

нинского вице-канцлера, графа Никиты Ивановича Панина и, по его поручению, участвовал в нескольких дипломатических миссиях в Европу. Со временем он стал знатоком европейской культуры и, в партнерстве с немецким негоциантом Г. Клостерманом, снабжал предметами западного искусства императрицу Екатерину II, наследника Павла Петровича, семейство графов Паниных и других русских аристократов.

103

Герман Клостерман дал такую характеристику своему старшему другу и деловому партнеру:

“В комическом роде он, может быть, первый писатель в России, и его не без основания называют Русским Мольером... Фонвизин отличался живою фантазией, тонкою насмешливостью, умением быстро подметить смешную сторону и с поразительною верностью представить ее в лицах; от этого беседа его была необыкновенно приятна и весела, и общество оживлялось его присутствием. С высокими качествами ума соединял он самое задушевное простосердечие и веселонравие, которые сохранял даже в самых роковых случаях беспокойной своей жизни...”

После кончины Никиты Панина, Фонвизин, ставший к тому времени состоятельным человеком, вышел с большой пенсией в отставку и, с намерением поправить здоровье и пополнить художественные коллекции, в 1784 г. в очередной раз отправился в Европу, поручив заботу о своей недвижимости в России Клостерману. Согласно воспоминаниям последнего, “после того как

дела приведены были в порядок, Фонвизин в сопровождении супруги своей отправился за границу, запасшись паспортом, множеством рекомендательных писем, тысячью червонцев чистыми деньгами, десятью тысячами Голландских гульденов, и векселями от здешнего торгового дома братьев Ливио. Он поехал на Ригу, Кенигсберг и т. д. и достиг, ни в чем себе не отказывая и наслаждаясь путешествием, цели своих желаний — прекрасной Италии. Он располагал пожить в этом саду Европы и хотел выбрать местом пребывания Ниццу или Пизу, с тем, чтобы в прекрасном климате лечиться купаньем...

Верной спутницей Фонвизина в путешествии по Европе стала жена Екатерина Ивановна (урожденная Роговикова, по первому мужу — Хлопова), которая, будучи дочерью богатого купца, сама имела большой вкус к художествам и хорошую деловую хватку.

Побывав в Германии и Австрии, Фонвизины, через альпийский перевал Бреннен, переправились в Италию. Первым итальянским городом на их пути (хотя и находящимся тогда под властью австрийского императора) был Больцано, при описании которого Фонвизин не скрывает предвзятости, вызванной, по-видимому, как свойствами характера (Герцен потом говорил о “демоническом сарказме” Фонвизина), так и болезненным состоянием:

“Сей город окружен горами, и положение его нимало не приятно, потому что он лежит в яме. Жителей в нем

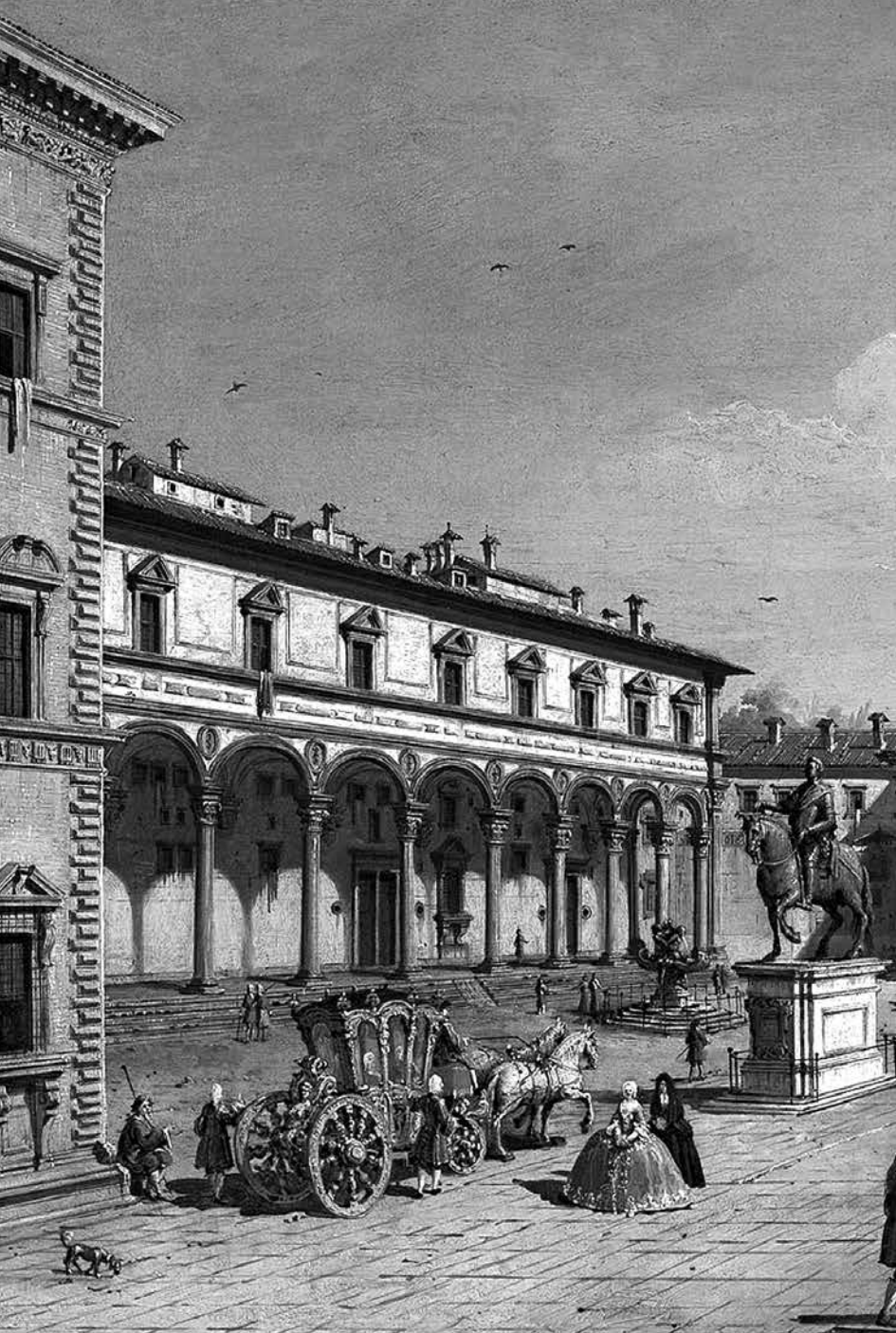
половина немцев, а другая итальянцев. Народ говорит больше по-итальянски. Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства. Полы каменные и грязные; белье мерзкое; хлеб, какого у нас не едят нищие; чистая их вода то, что у нас помои. Словом, мы, увидя сие преддверие Италии, обробели..."

Увы, ни один итальянский город на пути к Флоренции не удостоился у Фонвизина доброй характеристики: *"Театр адский: он построен без полу и на сыром месте. В две минуты комары меня растерзали, и я после первой сцены выбежал из него как бешеный"* (о театре в Больцано); *"в самом лучшем трактире вонь, нечистота, мерзость все чувства наши размучили. Мы весь вечер горевали, что заехали к скотам"* (о гостинице в Тренто); *"неизреченная мерзость, вонь, сырость; я думаю, не одна сотня скорпионов была в постели, на которой нам спать доставалось. O! bestia Italiana!"* (о гостинице в Волярни); *"Город многолюдный и, как все итальянские города, не провонялый, но прокислый. Везде пахнет прокислою капустою. С непривычки я много мучился, удерживаясь от рвоты. Вонь происходит от гнилого винограда, который держат в погребах; а погреба у всякого дома на улицу, и окна отворены..."* (о Вероне) и т.п.

105

Впрочем, глубже вникая в итальянскую жизнь, Фонвизин решался и на более серьезные обобщения:

"Весь день в Вероне (входившей в состав Венецианской республики. — А. К.) наслаждались мы зрением прекрасных картин и оскорблялись на каждом почти





шагу встречающимися нищими. На лицах их написано страдание и изнеможенно крайней нищеты; а особливо старики почти наги, высохшие от голоду и мучимые обыкновенно какою-нибудь отвратительною болезнью. Не знаю, как будет далее, но Верона весьма способна возбуждать сострадание. Не понимаю, за что хвалят венецианское правление, когда на земле плодотворнейшей народ терпит голод. Мы в жизни нашей не только не едали, даже и не видали такого мерзкого хлеба, какой ели в Вероне и какой все знатнейшие люди едят. Причиною тому алчность правителей. В домах печь хлеба запрещено, а хлебники платят полиции за позволение мешать сносную муку с прескверною, не говоря уже о том, что печь хлеба не смыслят. Всего досаднее то, что на сие злоупотребление никому и роптать нельзя, потому что малейшее негодование на правительство венецианское наказывается очень строго”.

Проехав далее Мантую, Модену и Болонью, путешественники 8 октября 1784 г. прибыли во Флоренцию. Оттуда Фонвизин почти сразу написал любимой сестре Феодосии Ивановне, в замужестве Аргамаковой:

“Климат здешний можно назвать прекрасным; но и он имеет для нас беспокойнейшие неудобства: комары нас замучили так, что сделались у нас калмыцкие рожи. Они маленькие и не пищат, а исподтишка так жестоко кусают, что мы ночи спать не можем. И комары итальянские похожи на самих итальянцев: так же вероломны и

так же изменнически кусают. Если все взвесить, то для нас, русских, наш климат гораздо лучше”.

В одном из следующих писем Фонвизин описал их с женой быт во Флоренции:

“Один день так походит на другой, что различить их почти ничем невозможно. Утро провождали мы в галереях и в других примечательных местах; обедали обыкновенно дома; ввечеру — или на конверсации, или в опере; ужинали дома... Голова моя иногда побаливает, однако сносно; я же в непрестанном движении: с утра до ночи на ногах. Осматриваю все здешние редкости, и мы оба, по нашей охоте к художествам, упражнены довольно. Взятые с нами люди служат нам усердно, и мы ими довольны. Жена моя до сих пор без девки; хотим взять в Риме, а здесь все негодницы”.

109

Интересных знакомств завести во Флоренции не удалось:

“Знакомств могли б мы иметь много, да все они не стоят труда, чтоб к ним привязаться. Я до Италии не мог себе представить, чтоб можно было в такой несносной скуке проводить свое время, как живут итальянцы. На конверсацию съезжаются поговорить; да с кем говорить и о чем? Из ста человек нет двух, с которыми можно б было, как с умными людьми, слово промолвить. В редких домах играют в карты, и то по гривне в ломбер. Угощение у них, конечно, в вечер четверти рубля не стоит. Свечи четыре сгорит восковых да копеек на пять деревянного масла. Здесь обыкновенно жгут масло... Мой банкир,

человек пребогатый, дал мне обед и пригласил для меня большую кампанию. Я, сидя за столом, за него краснелся: званный его обед несравненно был хуже моего всedневногo в трактире. Словом сказать, здесь живут как скареды, и если б не дом нунция и английского министра, то есть дома чужестранные, то б деваться было некуда...”

110

Впрочем, выручило Фонвизиных знакомство с богатейшей культурой Флоренции. Подбирая материал для снятия копий для последующей продажи (на это у Фонвизиных вскоре ушли почти все средства), они каждый день ходили в галерею Питти, где на них особое впечатление произвела “Мадонна сидящая” Рафаэля Санти:

“Прекрасная Рафаэлева Богоматерь, известная как Madonna della Sedia, украшает одну залу. Этот образ имеет в себе нечто божественное. Жена моя от него без ума. Она ставала перед ним по полчаса, не спуская глаз, и не только купила копию с него масляными красками, но и заказала миниатюру и рисунок...”

19 ноября 1784 г. Фонвизины выехали из Флоренции в Пизу (где проводил зиму двор Великого герцога Тосканского), а после этого посетили Лукку, Рим, Неаполь, Милан и Венецию. В целом, Италия произвела на Фонвизина очень неважное впечатление: его путевые заметки полны сентенциями следующего рода:

“Надобно исписать целую книгу, если рассказывать все мошенничества и подлости, которые видел я с приезда моего в Италию”; “Честных людей по всей Италии, поистине сказать, так мало, что можно жить несколько



“Мадонна сидящая” Рафаэля в галерее Питти.

лет и ни одного не встретить”; “Рады мы, что Италию увидели, но можно искренно признаться, что если б мы дома могли так ее вообразить, как нашли, то, конечно б, не поехали...”





Приложение

Д. ФОНВИЗИН

О развращении нравов во Флоренции

114

Развращение нравов в Италии несравненно больше самой Франции. Здесь день свадьбы есть день развода. Как скоро девушка вышла замуж, то тут же надобно непременно выбрать ей *cavalière servente* [верного рыцаря, возлюбленного. — франц.], который с утра до ночи ни на минуту ее не оставляет. Он с нею всюду ездит, всюду ее водит, сидит всегда подле нее, за картами за нее сдает и тасует карты, — словом, он ее слуга и, привезя ее один в карете к мужу в дом, выходит из дома тогда только, как она ложится с мужем спать. При размолвке с любовником или чичисбеем первый муж старается их помирить, равно и жена старается наблюдать согласие между своим мужем и его любовницею. Всякая дама, которая не имела бы чичисбея, была бы презрена всею публикою, потому что она была б почтена недостойною обожания или старухою. Из сего происходит, что здесь нет ни отцов, ни детей. Ни один отец не почитает детей своей жены своими, ни один сын не почитает себя сыном мужа своей матери. Дворянство здесь точно от того в крайней бедности и в крайнем невежестве. Всякий разоряет свое имение,

На предыдущем развороте:
Мост Санта-Тринита. Сер. XVIII в.

зная, что прочить его некому; а молодой человек, став чичисбеем, лишь только вышел из ребят, не имеет уже ни минуты времени учиться, потому что, кроме сна, неотступно живет при лице своей дамы и как тень шатается за нею. Многие дамы признавались мне по совести, что неминуемый обычай иметь чичисбея составляет их несчастье и что часто, любя своего мужа несравненно больше, нежели своего кавалера, горестно им жить в таком принуждении. Надобно знать, что жена, проснувшись, уже не видит мужа до тех пор, как спать ложиться надобно... Вообще сказать можно, что скучнее Италии нет земли на свете: никакого общества и скудость пре-
скардная. Здесь первая дама принцесса Санта-Кроче, у которой весь город бывает на конверсации и у которой во время съезда нет на крыльце ни площадки. Необходимо надобно, чтоб гостиный лакей имел фонарь и светил своему господину взлезать на лестницу. Надобно проходить множество покоев, или, лучше сказать, хлевов, где горит по лампадочке масла. Гостей ничем не потчуют, и не только кофе или чаю, даже воды не подносят. Теснота и духота ужасная, так что от жару горло пересохнет; но ничто так не скверно, как нищенское скаредство слуг. Куда ни приедешь с визитом, на другой же день, чем свет, холопы и придут просить денег. Такой мерзости во всей Европе нет! Господа содержат слуг своих на самом малом жалованье и не только позволяют им так нищенствовать, но по прошествии некоторого времени делят между ними кружку. Правду сказать, и бедность здесь

беспримерная: на каждом шагу останавливают нищие; хлеба нет, одежды нет, обуви нет. Все почти наги и так тощи, как скелеты. Здесь всякий работный человек, буде занеможет недели на три, разорется совершенно. В болезнь наживает долг, а выздоровев, едва может работою утолить голод. Чем же платить долг? Продаст постель, платье — и побрел просить милостыни. Воров, мошенников, обманщиков здесь превеликое множество; убийства здесь почти вседневные. Злодей, умертвя человека, бросается в церковь, откуда его, по здешним законам, никакая власть уже взять не может. В церкви живет несколько месяцев; а между тем, родня находит протекцию и за малейшие деньги выхаживает ему прощение. Во всех папских владениях между чернью нет человека, который бы не носил с собою большего ножа, одни для нападения, другие для защищения. Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие. На дуэль никогда не вызывают, а отмщают обыкновенно бездельническим образом. Честных людей во всей Италии, поистине сказать, так мало, что можно жить несколько лет и ни одного не встретить. Знатнейшей породы особы не стыдятся обманывать самым подлым образом... Поистине сказать, немцы и французы ведут себя гораздо честнее. Много и между ними бездельников, да не столько и не так бесстыдны...”

Д. И. Фонвизин.

Из письма сестре 7 декабря 1784 г.

ПЕТР
ЯКОВЛЕВИЧ
ЧААДАЕВ

117

ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ (27.05.1794, Москва — 14.04.1856, Москва) — философ, литератор. Выходец из богатой дворянской семьи, которая по отцовской линии восходила к “Чагатаю”, одному из сыновей Чингиз-хана. Рано лишившись родителей, Чаадаев воспитывался в московском доме родственников по матери, князей Щербатовых. В 1808–1810 гг. учился на словесном факультете Московского университета. В 1812–1814 гг., будучи офицером гвардейского Семеновского полка, участвовал в Отечественной войне и заграничных походах русской армии: был в сражениях при Бородине, Тарутине, Малоярославце, Бауцене, Кульме, Лейпциге. В составе Ахтырского гусарского полка брал в 1814 г. Париж. В декабре 1817 г. был назначен адъютантом командира гусарского корпуса, князя И. В. Васильчикова; в 1819 г. произведен в ротмистры. В октябре 1820 г. был отправлен с докладом

о восстании Семеновского полка к императору Александру I, находящемуся на конгрессе в Троппау; внезапно, в конце декабря 1820 г., подал прошение об отставке и уволился от службы.

118

В 1823–1826 гг. отставной лейб-гвардии гусарского полка ротмистр Чаадаев путешествовал по Европе: жил в Англии, Франции, Швейцарии. Будучи в Париже, вынашивал планы поездки в Италию (первоначально, только в Милан и Венецию), о чем писал брату Михаилу:

“Если Италия не представляет ничего соблазнительного для вашего воображения, то это потому, что вы Гурон, но меня-то, который в этом неповинен, за что вы меня хотите лишить удовольствия ее видеть? А затем, неужели вы желаете, чтобы, находясь в Швейцарии, у самых врат Италии, и видя с высоты Альп ее прекрасное небо, я удержался от того, чтобы спуститься в эту землю, которую мы с детства привыкли считать страной очарования? Подумайте, ведь кроме немедленных наслаждений, которые дает такое путешествие, это еще целый запас воспоминаний, которые вам останутся на всю жизнь, и даже ваша желчная философия согласится, я думаю, что хорошо запастись воспоминаниями, а в особенности тому, кто так редко доволен настоящим...”

Знакомый Чаадаева, дипломат Д. Н. Свербеев нарисовал портрет путешествующего по Европе “красивого Чаадаева”, который поражал всех “недоступною своею важностью, безукоризненной изящностью своих манер, одежды и загадочным молчанием”:

“Он ни на одну минуту не забывал держать себя в заданной позе, часто сердил всех собеседников тем, что, отказываясь от предлагаемого ему вина, за десертом требовал себе бутылку лучшего шампанского, выпивал из нее одну или две рюмки и торжественно удалялся... На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу почти поневоле и очень недовольный собою и всеми, в немногих словах выражал все свое негодование на Россию и всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве...”

119

Переправившись через Альпы из Швейцарии в Милан, Чаадаев внезапно изменил планы, решив подольше остаться в Италии:

“Я приехал сюда с намерением через Венецию пробраться в Вену и оттуда домой. Здесь вижу, что в два месяца могу объехать Италию. То есть, отправившись через Геную и Ливорно в Рим, а оттуда в Неаполь, возвратиться через Флоренцию и быть в Венеции в начале марта... Большой охоты пуститься по Италии не имею, но надобно отделаться, чтоб вперед не иметь более никакой похоти”.

Из письма П. Я. Чаадаева брату Михаилу 30 декабря 1824 г.

своим новым решением Чаадаев написал из Милана и близкому другу по Московскому университету, будущему декабристу И.Д. Якушкину:

120

“Приехав сюда, увидел, что могу объехать всю Италию в два месяца, и решил на это — последнее дурное дело; точно, дурное, непозволительное дело! Дома ни одной души нет веселой, а я разгуливаю и веселюсь; но скажи, как, бывши за две недели езды от Рима, не побывать в нем?”

Из письма П. Я. Чаадаева И. Д. Якушкину 8 января 1825 г.

Направляясь в Рим, Чаадаев в начале февраля 1825 г. приехал во Флоренцию, где задержался почти на месяц. Город представился ему крепостью: бойницы на зданиях, решетки с железными крюками придавали флорентийским домам вид скорее оборонительных сооружений, нежели жилищ.

Во Флоренции Чаадаев был радушно встречен знакомым по Москве и Санкт-Петербургу Алексеем Васильевичем Сверчковым, карьерным дипломатом и разведчиком, российским поверенным в делах в Великом герцогстве Тосканском, служившим до этого в русских представительствах в Американских Соединенных Штатах и Бразилии. Сверчков был женат на Елене Гурьевой — дочери недавно умершего министра финансов Д. А. Гурьева и сестре Марии Гурьевой, супруги русского министра иностранных дел (канцлера) Карла Нессельроде. Чаадаев передал хозяевам привет от недав-

но им виденного в Париже Николая Дмитриевича Гурьева, своего бывшего однополчанина по Семеновскому полку, а теперь тоже видного дипломата (впоследствии граф Гурьев-мл. будет представлять Россию в Риме и Неаполе). Итак, почти каждый свой вечер во Флоренции П. Я. Чаадаев проводил в гостеприимном доме Сверчковых-Гурьевых.

121

Однако главная “флорентийская встреча” ждала Чаадаева впереди. 31 января 1825 г., осматривая один из дворцов-музеев Флоренции, Чаадаев случайно встретился с английским священником-методистом Чарль-



Вид на Флоренцию. Сер. XIX в.

зом Куком, который возвращался из паломничества по Святой земле в свой приход в южной Франции. Спустя несколько лет Чаадаев вспоминал о той чрезвычайно знаменательной для него встрече:

122

“Пять лет тому, как во Флоренции я встретился с человеком, который очень мне понравился. Я провел с ним несколько часов; часов, не больше, но приятных, сладких часов, и тогда еще не умел я извлечь из него всю пользу, которую мог бы извлечь. Он был английский методист; жил, кажется, при миссии в Южной Франции. Когда я с ним познакомился, то он возвратился недавно из Иерусалима. В нем поражала чудная смесь живости, горячего усердия к высокому предмету всех его мыслей — к религии — и равнодушия, холодного небрежения ко всему прочему. В галереях Италии великие образцы искусства не волновали души его, между тем как маленькие саркофаги первых веков христианства неизъяснимо его привлекали. Он рассматривал их, разбирал с исступлением; видел в них что-то святое, трогательное, глубоко поучительное и погружался охотно в возбужденные ими размышления. — Итак, повторяю: с этим человеком провел я несколько часов, скоро протеких, почти мгновение, — и с тех пор не имел о нем никакого известия; — и что же? — теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает меня; оно приносит с собою такое волнение, такую сердечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений

уныния. — *Вот общество, приличное существам разумным! вот как души действуют взаимно одна на другую: им время, ни пространство препоною быть не могут...*

26 августа в 1826 г., при возвращении Чаадаева в Россию, он был задержан на пограничном пункте в Брест-Литовске и допрошен по делу о возможной причастности к восстанию на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.: близкие отношения Чаадаева с некоторыми декабристами были хорошо известны. При обыске среди прочих бумаг у Чаадаева было обнаружено рекомендательное письмо пастора Кука в Англию, к священнику Томасу Мариотту, следующего содержания: *“Флоренция, Янв. 31, 1825. Милостивый Государь. Позвольте мне рекомендовать вашему знакомству и дружескому вниманию, на время пребывания его в Лондоне, г-на П. Чаадаева, который намерен посетить Англию с целью изучить причины нашего морального благополучия и возможность применить оные к его родине, России. Чарльз Кук”*.

123

Лицами, производившими допрос и обыск, Чаадаеву был задан вопрос: *“Кто таков англичанин Кук, и какие именно причины нравственного благоденствия предполагали вы исследовать в Англии?”*. Тот ответил:

“Англичанин Кук известный миссионер. Я познакомился с ним во Флоренции при проезде его из Иерусалима во Францию. Так как все его мысли и весь круг действий обращены были к религии, я же со своей стороны, говорил ему с горестью о недостатке веры в народе русском, особенно в высших классах. По сему случаю, он дал мне письмо к прия-

телю своему в Лондон, с тем, чтобы он мог познакомить меня более с нравственным расположением народа в Англии. Так как я в Англии после сего не был, то и письмо это осталось у меня, а с Куком и с Мариоттом никакого после того не имел сообщения и даже о них ничего не слыхал”.

Тем не менее Чаадаев, впоследствии автор знаменитых “Философических писем”, всю жизнь считал свою встречу с Чарльзом Куком во Флоренции поворотным моментом в своей духовной жизни. В одном из сочинений он потом написал:

“С этим человеком провел я несколько часов, скоро протеких, почти мгновение, — и с тех пор не имел о нем никакого известия; — и что же? — теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает меня; оно приносит с собою такое волнение, такую сердечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений уныния. — Вот общество, приличное существам разумным! вот как души действуют взаимно одна на другую: им время, ни пространство препоною быть не могут...”

Осип Эмильевич Мандельштам, глубокий знаток и Италии, и творчества Чаадаева, написал в одном из своих эссе о том духовном импульсе, который путешествие в Европу задало последующему философскому творчеству Чаадаева:

“В младенческой стране, стране полуживой материи и полумертвого духа, седея антиномия косной глыбы и ор-

ганизирующей идеи была почти неизвестна. Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру. Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу. Глубокая гармония, почти слияние нравственного и умственного элемента придают личности Чаадаева особую устойчивость. Трудно сказать, где кончается умственная и где начинается нравственная личность Чаадаева, до такой степени они близятся к полному слиянию. Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью... Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душевной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима. Но ведь и первые голуби не вернулись обратно в ковчег. Чаадаев был первым русским, в самом деле идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: «Этот был там, он видел — и вернулся»...

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНКЕВИЧ

126

Николай Владимирович Станкевич (27.09.1813, Острогжск Воронежской губ. — 25.06.1840, Нови-Лигуре, Сардинское королевство) — поэт, философ, общественный деятель. Родился в дворянской семье. В 1830–1834 гг. учился на словесном отделении Московского университета, создал и возглавил в Москве знаменитый литературно-философский кружок. В середине 1830-х гг. был командирован Московским университетом в Германию, где продолжил занятия философией и историей в Берлинском университете.

Летом 1839 г. для лечения туберкулеза ездил на курорты Чехии, Южной Германии, Швейцарии, затем отправился в Италию. Его спутником по путешествию стал Александр Павлович Ефремов, товарищ по московскому кружку, потом по Берлинскому университету, впоследствии доктор философии и профессор географии.

С большими трудностями друзья преодолели разделяющий Швейцарию и Италию Симплонский перевал, поскольку ранние осенние дожди уже затопили долины. Часть горной дороги пришлось идти пешком. 12 октября 1839 г. Станкевич писал родным:

“Делать нечего, мы вооружились зонтиками, взвалили чемоданы на швейцарцев, пришедших к нам навстречу и пошли... Этот переход оказался достоин Суворовского! Наконец я в Италии — и еще сам с трудом этому верю!”

127

Далее в почтовой карете направились вдоль берега Лаго-Маджоре в Милан, а затем в Геную. Биограф Станкевича, литератор П. В. Анненков, описал начало его итальянского путешествия:

“Первый взгляд на Италию не произвел на Станкевича того радостного чувства, которое произведено было более знакомым ему миром, Германией. Родовые черты Италии гораздо строже, а приготовления к принятию и разумению их у нас гораздо менее. Италия требует некоторой уступчивости, некоторой доверчивости к себе, особенно устранения укоренившихся привычек в жизни и даже в суждении; затем уже открывает она себя в величии своей простоты или отсталости, если хотите. Станкевич долго всматривался в ее повседневную жизнь, в эту смесь классических и средневековых обычаев, заключенных в строго-изящную раму, образуемую неизменной природой...”

Из Генуи путешественники отправились морем в Ливорно — главный порт Великого герцогства Тосканского:

“С минуты отплытия до самой высадки на берег меня мучила несносная тошнота, так что два дня потом не мог я равнодушно слышать слов: море и пароход. Это было, вероятно, мое последнее путешествие морем (так, увы, и случилось — А. К.). Мельком взглянули мы на Ливорно, который кипел продавцами, покупателями, факторами и мошенниками (это порто-франко) и поспешили во Флоренцию”.

Письмо родителям 4 ноября 1839 г. из Флоренции

Страдающий чахоткой Станкевич первоначально намеревался провести зиму в находящейся ближе к морю Пизе, однако в итоге предпочел Флоренцию. 4 ноября 1839 г. он писал родителям уже из столицы Тосканы: *“Наконец, я во Флоренции и не нарадуюсь постоянному жилищу... Сначала я думал зимовать в Пизе, недалеко отсюда, — но как Флоренция гораздо приятнее, то я предпочел остаться здесь. До сих пор климат здешний кажется мне очень хорошим. Сегодня, 4 ноября, у меня раскрыты окна, и теплый ветер заменяет дрова. В Пизе, говорят, еще теплее, но я боюсь больше ее низкого положения, а главное — того, что она, по общему приговору, довольно скучна и набита заезжими больными. Я не хочу ставить себя в этот разряд. Первые дни занялся я поиском квартиры и потому видел еще мало здешних чудес. Город не велик и улицы довольно тесны — что отнимает вид у множества прекрасных зданий...”*



Площадь Санта-Мария Новелла. В ближайшем к церкви доме в 1839-1840 гг. жил Н. В. Станкевич

В столице Великого герцогства Тосканского Станкевич поселился на площади Санта-Мария Новелла, в ближайшем к знаменитой церкви доме (сейчас это один из корпусов гранд-отеля “Minerva”). Родителям он написал о своей новой квартире:

“Я нашел себе жилище на Piazza Santa-Maria Novella, на юг, как хотел. У меня довольно большая комната и маленький кабинет для сна. Это стоит 40 франков (рублей) в месяц. Здесь любят очень зеркала и потому у меня их три в одной комнате, и очень больших, но зато столько же и стульев...”

В последующих письмах родителям Станкевич регулярно описывал свое житие во Флоренции, не уставая успокаивать близких относительно своего здоровья:

130

“Я уже уведомил Вас, что у меня особая квартира, — до сих пор я ею очень доволен. Благодаря ее положению, я обхожусь пока без дров, несмотря на то, что здесь было уже несколько прохладных дней, но этот холод чувствуется особенно только в тесных улицах и, притом, больше в комнатах, нежели на дворе. На нашей площади, при ясной погоде, бывает нестерпимо жарко. Дожди перепадывают довольно часто, но зато в четверть часа просыхают все улицы, вымощенные немного покато в середине, так что вода не держится на них и быстро сбегает в это углубление, по которому течет куда нужно. Но несколько дней мы наслаждались вполне ясным небом: в это время вся Флоренция пустела, жители и иностранцы разбежались по окрестностям... Сказать правду, нам в Италии ясное небо нужнее, нежели где-нибудь. Все, что есть в ней хорошего, — для глаз. Если бы на эту сторону надолго пал туман, не стоило бы оставаться в ней. Другое дело в Германии: там ведро и ненастье не много значат, и путешественник всегда может наблюдать, учиться и делить все свои мысли с добрыми немцами, потому что нет вещи в мире, которая бы не интересовала их и о которой бы они не рассуждали. Но у всякой земли свое: и мы должны поблагодарить Италию за то, что она освежает и веселит наши чувства и греет кости...”

Из письма родителям 12 ноября 1839 г.

“Вот уже больше месяца, как я живу во Флоренции и пользуюсь ее благодеяниями: она очень милостива ко мне. Несмотря на предсказания всех, проводивших когда-нибудь зиму во Флоренции, обещающие холод, время почти не переменяется. Изредка перепадают дожди, но почти такие же, как у нас в мае, так что довольно одного зонтика для прогулки по улицам, а шинель надевается только для подражания итальянцам, которые очень любят кутаться... Говорят, Флоренция хочет пуститься в веселье. Театры прекращаются понемногу для балов, которыми будет ознаменован карнавал. Впрочем, все это не по моей части, и мои увеселения ограничиваются прогулками по городу, окрестностям, церквам и собраниям разных курьезностей; тут, мимоходом, я приучаю свой глаз и przygotowляю его к тем чудесам, которые ожидают его в Риме. Я думаю остаться здесь до конца февраля, а в начале марта отправиться в Рим, куда к масленице съезжается весь свет... Итальянцы во всем очень отстали от прочей Европы и живут, кажется, изо дня в день. Земля здесь лучше, нежели люди, — впрочем, они довольно добры, предупредительны и сметливы; из высшего класса я не знавал итальянцев до сих пор, а в просто-народье есть, между прочим, черты, очень напоминающие наших русских мужичков; сюда принадлежит между прочим обыкновение торговаться, которое существует во всех, даже лучших, магазинах. — Но что меня больше всего удивляет — это способность мелких торгашей кричать целый день, с утра до вечера, оглушающим голо-

сом, чтобы продать несколько серных спичек или капель для истребления клопов. Нельзя не остановиться, проходя мимо этих героев, которые с жаром превозносят свой товар и предлагают его всем проходящим....”

Из письма родителям 5 декабря 1839 г.

132

Во Флоренции Станкевич поддерживал также переписку со старинным другом по Москве и Берлину Тимофеем Николаевичем Грановским. 1 февраля 1840 г. он писал ему:

“Первые дни я много бегал по галереям, за городом, ездил верхом и ничего почти не делал; наконец, спохватился, стал кое-как работать... Здешние галереи в самом деле богаты и даже мне, варвару, доставляют много удовольствия... Теперь два слова о Флоренции: первый взгляд на нее вовсе не поразителен. Улицы ужасно узки и темны: кажется, нарочно старались в них спрятаться от солнца. Дома, которые тянутся вдоль Арно по обеим сторонам, очень неживописны, исключая немногих. Но зато через нее брошены четыре славных моста, и вид вдоль по реке, вниз и вверх, очень хорош: обозреваешь пригорки с садами, виллы и проч... По праздникам, с утра до вечера, видишь толпы гуляющих по Арно, а к вечеру наполняются саффы мужчинами и женщинами... Тут есть парк — Кашино; в нем каждый порядочный день множество экипажей и верховых; пешие ходят по набережной у Арно; воздух бывает иногда упоителен; тысячи вилл, окружающих Флоренцию, в вечернем свете делают не-



Площадь Синьории с Палаццо Веккьо



Лоджия Ланци на Площади Синьории

обыкновенный вид. Сад Boboli, принадлежащий к дворцу Великого герцога, превосходит все, что я видел до сих пор из садов. Наша площадь, S-ta Maria Novella, тоже не дурна. На ней стоит прекрасная церковь и два памятника; но на беду, крыльца, окружающие эти памятники, запакощены вечно мальчишками... Прочел несколько скучных драм и романов для усовершенствования себя в итальянском языке; оканчиваю теперь «Флорентийскую Историю» Макиавелли...»

Мягкая зима во Флоренции нравилась Станкевичу, и он зазывал Грановского присоединиться к нему в следующем году:

“Признаюсь, дурно ты сделал, что не отпросился у графа на зиму в Италию — он, верно, согласился бы (речь идет о попечителе Московского университета гр. С. Г. Строганове — А. К.). Не можешь ли на следующее лето поехать куда-нибудь на воды, а на зиму сюда непременно?.. Подумай, Грановский! Нельзя ли весной на воды: в Эмс, например, или куда-нибудь?.. Да не забудь: зиму, зиму в Италии, — это будет много значить”.

135

П. В. Анненков отмечал “особый стиль” Станкевича при осмотре новых мест в Европе. Многие из них, прославленные дорожными путеводителями, Станкевич считал “наказанием путешественников”:

“Не видать — стыдно, а смотреть — не стоит. Он не заглядывает в книжку, отдаваясь вполне одним своим впечатлениям... Общий характер свободы, простора, данного собственной восприимчивостью, не стесняемой чужими представлениями...”

В конце декабря флорентийский приятель Станкевича англичанин Кенни организовал поездку в Ливорно и Пизу, о которой Станкевич написал 3 января 1840 г. в шуточном письме младшим сестрам:

“У него коляска такая славная, укладистая; он накатал в нее и печенья, и хлеба с маслом — мы, говорит, четыре дня поедем; в четверг выедем, в воскресенье приедем; нанял лошадей, вперед написал к содержателям гостиниц, чтоб нам были комнаты с камином, — и мы двинулись... Чудесная сторона! Так, что не слишком досаждаешь даже на нищих, которые беспрестанно бегут по обеим сторо-

нам коляски... Ефремов очень забавен дорогою: часам к 4-м он начинает обыкновенно меня спрашивать: не чувствую ли я чего-нибудь особенного? Это значит, что он голоден. А после обеда — он обыкновенно тотчас отправляется спать...”

136

В конце февраля погода во Флоренции переменялась, подули северные ветры, и врачи посоветовали Станкевичу ехать на юг Италии. Он приехал в Рим 8 марта 1840 г. и снял квартиру в третьем этаже по адресу: Corso, 71. Тогда, в Риме, он взял под свою опеку юного Ивана Тургенева, который оставил нам портрет Станкевича того времени:

“Станкевич был более, нежели среднего роста, очень хорошо сложен — по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие карие глаза; взор его был очень ласков и весел, нос тонкий, с горбиной, красивый, с подвижными ноздрями, губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами”.

По причине обострившейся болезни Станкевич не смог составить кампанию Ефремову и Тургеневу в их поездке в Неаполь, а решил отдохнуть в местечке Альба-но под Римом, откуда писал оставшимся во Флоренции русским друзьям Фроловым:

“Путешествие мне еще нелегко от болей, которые все странствуют по правому боку с места на место и не дают спать порядочно... Воздух был бы здесь недурен, если б мог я далеко ходить, но так я могу только наслаж-

даться великолепным видом из моих окон. Моя комната — для поэта: грязный, кирпичный пол, полинялые стены, небольшая, но с окном посередине, откуда видны лесистые холмы, равнина и вдалеке море. Прислужник, лет 55, если не больше, толст и с красным носом, говорит совершенно вроде гоголевского судьи, как старинные часы, которые сначала хрипят, потом бьют”.

137

Письмо Н. Г. и Е. П. Фроловым 30 апреля 1840 г. из Альбано.

Одной из последних радостей для Станкевича стал приезд в Рим Варвары Александровны Дьяковой (урожденной Бакуниной) — младшей сестры его рано умершей невесты Любви Бакуниной. Варвара Дьякова тогда фактически разошлась с мужем и путешествовала по Европе с четырехлетним сыном Александром.

19 мая 1840 г. Станкевич написал большое письмо известному философу и политику Михаилу Бакунину, брату Любви и Варвары — своей умершей невесты и своей последней обретенной любви:

“Любезный Мишель!.. Прежде всего, скажу тебе, что Варвара Александровна здесь, в Риме. Я собирался ехать в Неаполь, заболел — и она, узнавши об этом, приехала нарочно, чтобы меня видеть... Теперь ты можешь судить, что такое для меня святое, братское участие сестры твоей, — я не умею тебе сказать ни слова о том, что произвел приезд ее, но она это видит, я в этом уверен. Я только спрашиваю себя день и ночь: за что? за что это счастье? Оно не заслужено совсем.

Она окружает меня самую сильною, самую святою братскою любовью; она распространила вокруг меня сферу блаженства, я дышу свободнее, у меня поднялось и здоровье и сердце, я становлюсь и крепче и святее... Я еще слаб, хотя поправляюсь с каждым днем с приезда сестры твоей... Сегодня, на общей консультации, положено, чтоб я ехал на Lago di Como и там пил эмсскую воду. Варвара Александровна также намерена туда ехать, а зиму мы думаем провести вместе в Ницце. Эта будущность дает мне теперь силы и заставляет сердце трепетать от радости..."

В начале июня 1840 г. Дьякова и вернувшийся из Неаполя Ефремов повезли чуть окрепшего Станкевича из Рима во Флоренцию. Прожив там несколько дней, они выехали почтовыми каретами в Геную, откуда направились в Милан, чтобы двигаться далее к озеру Комо. Остаток лета Станкевич намеревался провести в Германии или Швейцарии, а на зиму перебраться в Ниццу. Он все еще верил, что одолеет болезнь и был полон планов относительно большого философского труда, посвященного изложению философии Гегеля.

Однако на первой же остановке, в городке Нови-Лигуре, в сорока милях к северу от Генуи, Николай Александр Станкевич скончался в ночь с 24 на 25 июня 1840 г. Его тело было перевезено в Геную и там временно похоронено в одной из церквей. Через некоторое время гроб погрузили на корабль, следующий из Генуи в Одессу, а затем переправили в родовое имение Станкевичей Уде-

ревка Воронежской губернии (сейчас это территория Белгородской области).

Неожиданная для большинства кончина Станкевича стала трагедией для целого поколения молодых русских интеллигентов. Его младший друг Иван Сергеевич Тургенев писал:

“Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой...”

Воспоминания о Станкевиче и его письма, бережно собранные и изданные спустя годы, оказали влияние на деятелей русской культуры, никогда его при жизни не видевших. Например, Л. Н. Толстой, прочитав переписку Станкевича, писал философу Б. Н. Чичерину:

“Читал ли ты переписку Станкевича? Боже мой! что это за прелесть! Вот человек, которого я любил бы как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы на глазах. Я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его: слишком правда, убийственно грустная правда. Вот где ешь его кровь и тело. И зачем, за что мучалось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо? Зачем?...”

ФЕДОР ИВАНОВИЧ БУСЛАЕВ

140

ФЕДОР ИВАНОВИЧ БУСЛАЕВ (13.04.1818, г. Керенск Пензенской губ. — 31.07.1897, Москва) — филолог, историк, искусствовед. Специалист в области истории русского языка, славянской филологии, истории византийского и древнерусского искусства. Профессор Московского университета, с 1861 г. — академик.

После окончания словесного факультета Московского университета был приглашен работать домашним учителем в семью графа Сергея Григорьевича Строганова — попечителя Московского учебного округа. Летом 1839 г. Строганов взял его с собой Италию, где Буслаев должен был преподавать русскую историю и словесность детям графа.

Буслаев потом вспоминал о начале своего первого европейского путешествия — плавании морем до Любека:

“По указанию профессора римской словесности Дмитрия Львовича Крюкова я запасся в Петербурге руководством Отфрида Мюллера по археологии искусства, а управляющий домами графа Строганова разменял мне русские ассигнации на голландские десятифранковые червонцы и, привыкши услуживать своим сиятельным патронам высокою ценою, взял для меня билет на пароход до Любека не второго класса, а первого, чем нанес немалый ущерб моему кошельку и обрек меня на исключительное положение между перwokлассными пассажирами из великосветского общества. В потертом сюртуке скромного покроя и в черной шелковой манишке вместо голландского белья, я казался темным пятном на разноцветном узоре щегольских костюмов окружавшей меня толпы. Впрочем, это нисколько не смущало меня, потому что и сидя в каюте, и гуляя по палубе, я не имел ни минуты свободной, чтобы обращать на кого бы то ни было внимание, уткнув свой нос в книгу Отфрида Мюллера. Все время на пароходе я положил себе на ее изучение, чтобы исподволь и загодя готовить себя к специальным занятиям по истории греческого и римского искусства и древностей в Риме и Неаполе. На другой же день плавания мне случилось заметить, что между моими спутниками первого класса я прослыл за скульптора или живописца, отправленного из Академии Художеств в Италию для усовершенствования в своем искусстве. Это очень польстило моему самолюбию, и тем более, что я еду в такой дальний путь и с такой возвышенной

целью, тогда как все другие направлялись — кто веселиться в Париж, Лондон или Вену, а кто полоскать свой желудок на минеральных водах...

Из Любека Буслаев ехал дилижансом до Лейпцига, откуда до Дрездена уже была железная дорога:

142

“Я в первый раз в жизни поехал по этому новоизобретенному пути. Я ликовал и для пущей радости засел в вагон первого класса, и все время до самого конца оставался в нем один-одинёхонек, беспрепятственно наслаждаясь небывалыми ощущениями головокружительной быстроты поезда...”

От Лейпцига и до самого Неаполя Буслаев — уже вместе со Строгановыми — ехал в одном экипаже с гувернером сыновей Строганова, доктором филологии, немцем Тромпеллером:

“Это была не легкая и быстрая поездка за границу, какие теперь производятся по рельсам, а старобытное настоящее путешествие в роде того, какое изобразил Карамзин в «Письмах русского путешественника»”.

Федор Буслаеву было тогда чуть за двадцать, и он направлялся в Италию с восторженным чувством:

“Чтобы вы вполне уяснили себе это светлое и торжествующее настроение моего духа, я должен обратить ваше внимание на мое личное положение и на внешние условия, определяемые тогдашним порядком вещей. В то время еще не было дешевой переправы вдаль по железным дорогам, возможной теперь и для людей с ограниченными средствами. Ехать на лошадях из России не

только в Италию, но даже и в Берлин или Дрезден, возможно было тогда для людей богатых или, по крайней мере, обеспеченных. Сверх того, отъезжающих за границу облагали у нас тяжелым налогом с каждого лица по пятисот рублей. Мне, бедняку, разумеется, и во сне не снилось очутиться в Италии. Моим радостям не было конца, когда наяву выпало на мою долю такое великое счастье... В продолжение всего двухлетнего пребывания моего за границу настал для меня непрерывный светлый праздник, в котором часы, дни, недели и месяцы — представляются мне теперь нескончаемою вереницею все новых и новых каких-то радужных впечатлений, нечаянных радостей, никогда прежде не испытанных наслаждений и захватывающих дух поразительных интересов. Я тогда был еще очень юн и летами, и душою... Я не знал ни людей, ни света, и, кроме своего Керенска, где родился, кроме пензенской гимназии и казеннокоштного общежития в университете, я ничего другого не видал и не помнил. И вдруг передо мною открылась необъятная и манящая вдаль перспектива от Балтийского моря по всей Германии, через Альпийские горы в широкую Ломбардию, к Адриатическому морю в Венецию, а оттуда через Альпы во Флоренцию, Рим и наконец на берега Средиземного моря. У меня дух занимало, голова кружилась, я ног под собой не чуял в стремительном ожидании все это видеть, перечувствовать и пережить, усвоить уму и воображению. Я заранее мечтал пересоздать себя и преобразовать, и вместе с тем был убежден, что не мечтаемая

мною, а настоящая действительность своим чарующим обаянием превзойдет самые смелые фантастические мои ожидания..."

144

Граф С. Г. Строганов, неоднократно бывавший в Италии, на этот раз ехал туда со всей семьей: женой, сыновьями Александром (студентом, на год моложе Буслаева), Павлом 16-ти лет, десятилетним Григорием и полуторагодовалым Николаем, а также дочерьми Софьей и Елизаветой 15 и 13 лет. Их сопровождали немецкий гувернер старших сыновей (доктор филологии одного из немецких университетов), лозаннская гувернантка дочерей, немецкая бонна Николая, камердинер графа, горничная графини и повар. Был также специальный курьер, свободно говоривший на четырех языках, который ехал впереди экипажей и договаривался насчет обеда и ночлега. В случае длительных остановок этот же курьер нанимал для Строгановых дом или виллу со всей обстановкой и прислугой. В гостиницах богатым путешественникам полагался также гид — "лон-лакей" (по-итальянски — *domestico di piazza*).

Граф Строганов, будучи одним из образованнейших людей своего времени, прекрасно знал Европу. Он владел несколькими европейскими языками, был одним из крупнейших коллекционеров древнего искусства: в своем петербургском доме он собрал огромную коллекцию древних монет; московский же дом Строганова славился на всю Европу собранием византийских и русских икон. Впоследствии сыновья Строганова (и

ученики Буслаева) продолжили семейную традицию: Павел Сергеевич разместил в своем петербургском доме большую картинную галерею, а Григорий Сергеевич, живший в основном в Италии, собрал в Риме в своем палаццо на via Sistina уникальную коллекцию памятников древнехристианского и византийского искусства.

Запомнился Буслаеву въезд в итальянскую Тоскану, когда, по дороге из Болоньи во Флоренцию, путешественники должны были преодолеть Апеннинский хребет:

145

“На крутые подъемы горы наши экипажи медленно тащили впряженные в них волы, которые так лениво и сдержанно ступали, что каждый из нас мог ровным и некрупным шагом опередить их. Когда часа через два мы поднялись выше, чем на половину горы, солнце направо от нас уже клонилось к закату. Соскучившись от томительного, еле заметного передвижения флегматических волов, граф с детьми и даже сама графиня вышли из экипажей, а за ними и мы с Тромпеллером. Это была для всех самая приятная прогулка в горном воздухе вечеряющего дня. Дети прыгали, разминая свои отсиделые ножки, и бегали по дороге взад и вперед; гувернантка и гувернер остерегали их, чтобы они не приближались к окраине спусков, которые круто обрывались по правую руку; граф шел с графиней. Только я, сам по себе, медленно переступая по левой стороне вдоль стены сплошных утесов, ни на что и ни на кого не обращал внимания, углубившись в свое чтение. Вдруг подходит ко мне граф. "И не

стыдно вам, — говорит он, — быть таким педантом! Уткнули нос в своего Куглера. Бросьте его и обернитесь назад. Смотрите повсюду кругом вот на эти необъятные страницы великой книги, которую теперь перед нами раскрывает сама божественная природа". Я обернулся назад и стал смотреть. Из-за скал внизу расстилась передо мною в туманную даль широкая равнина. По ней, как на разрисованной ландкарте, там и сям волнами поднимались и спускались холмы и пригорки; между ними белелись маленькими кучками усадьбы, деревни и города; тянулись темные полосы и нити рек и каналов. Я разглядывал подробности, которые и теперь будто вижу перед собою..."

Путешественники стремились поскорее достичь Неаполитанского залива (где Строгановы собрались проводить зиму) и поэтому во Флоренции в тот раз остановились лишь на неделю:

"Мне приходилось довольствоваться для изучения истории искусства только беглым обозрением ее главных периодов по отдельным школам и по стилям, а из подробностей — только самыми крупными и особенно выдающимися, и то по указаниям графа Сергея Григорьевича, — каковы, например, древнейшие произведения итальянской живописи XIII века, в которых на основе византийских преданий цветущей эпохи уже выступают проблески высокого изящества той благодатной среды, где через двести лет могли родиться Микель-Анджело и Рафаэль. Из таких драгоценностей назову

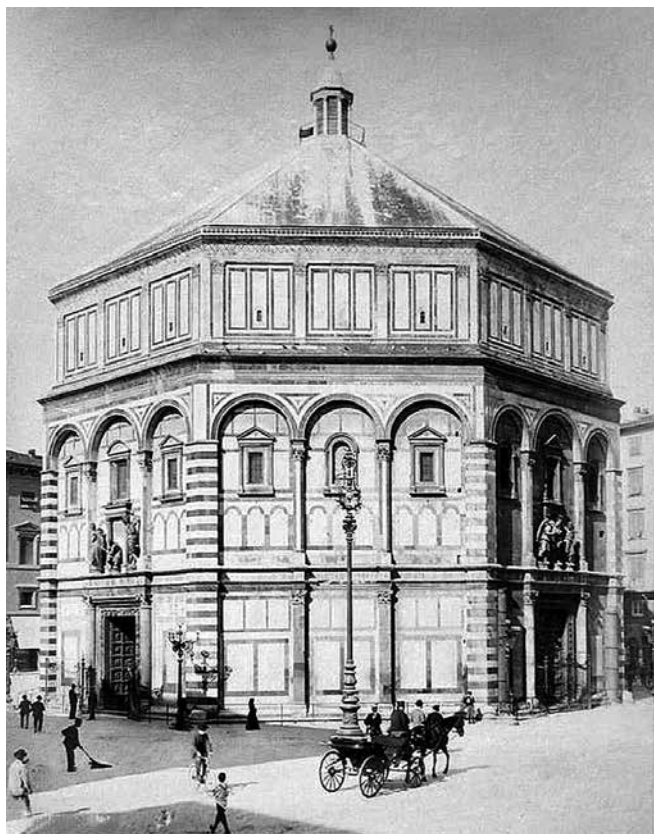


Чимабуэ. Мадонна с младенцем и ангелами (1285).
Собор Санта-Мария Новелла.

вам две запрестольные иконы: одну в сиенском соборе, с изображениями страстей Господних в отдельных четырехугольниках, старинного живописца Дуччио ди-Буонинсеня, а другую — во Флоренции, в одной из капелл церкви *Maria Novella*, с изображением Богоматери с Младенцем Иисусом Христом, писанную знаменитым Чимабуэ, о котором Дант упоминает в своей «Божественной Комедии»...

“Божественная комедия” Данте с ранней юности и на всю жизнь стала, без преувеличения, главной книгой в жизни Буслаева:

“Во Флоренции я посетил баптистерий, в котором был крещен Дант, а также и дом, где он жил в соседстве с Беатрисой, которую прославил навеки в стихах и прозе; разумеется, не преминул я присесть и на том камне, на котором сживал великий поэт и всегда любовался на прекрасный собор *Maria del'Fiore*, с грациозной колокольней, которую построил и украсил барельефами его товарищ и друг Джиотто. Видениями загробной жизни, в таинственном обаянии мистических символов, внушенными «Божественною Комедиею», веяло на меня отовсюду со стен, расписанных учениками и последователями Джиотто, в флорентийской церкви *Maria Novella* и в прилежащем к ней доминиканском монастыре. Это есть та самая церковь, в которой во время страшной чумы, постигшей Италию в XIV столетии, собрались веселые собеседники Боккаччиева «Декамерона», кавалеры и дамы, и условились удалиться вместе из зараженного города в



Баптистерий, где 26 мая 1265 г. был крещен Данте.



Дом Данте во Флоренции.

уединенную виллу. Микель-Анджело особенно любил эту церковь и называл ее своею невестою..."

В ноябре 1839 г. Строгановы, наконец, приехали в Неаполь, где прожили до апреля 1840 г. Лето они провели на острове Искья и на вилле в Сорренто, а потом переехали в Рим, где жили несколько месяцев. В обратный путь из Рима они тронулись в апреле 1841 г.: снова ненадолго останавливались во Флоренции; затем через Вену, Варшаву, Брест и Смоленск прибыли в Москву.

Позднее Буслаев вспоминал о заключительных моментах своего первого итальянского путешествия:

“Смутно помню этот возвратный путь по Италии, будто тяжелый сон с мгновенными проблесками радости, как это бывает, когда только что встретишь любимого человека и тотчас же с ним прощаешься на вечную разлуку: вместе и радостно, и горько. Должно быть, глубоко и сильно от того времени залегло в мою душу тревожное ощущение неудовлетворённой жажды того счастья, которым я не успел и не мог вполне наслаждаться. И долго потом в течение многих лет, даже когда я был уже профессором, мне иной раз снилось, будто я тотчас же навсегда уезжаю из Рима или Флоренции, а мне ещё остается так много видеть, чего я не видал, что мне надобно проститься с тем, что я так горячо люблю, и будто какая враждебная власть насильно вырывает меня из объятий дорогого друга: мне томительно и грустно, и я с радостью просыпаюсь от мучительного кошмара...”

151

В следующий раз (по счету уже третий) Ф. И. Буслаев, ставший к тому времени известным филологом и искусствоведом, профессором и академиком, приехал во Флоренцию спустя много лет, в 1864 г. Эта поездка была им подробно описана в очерке “Флоренция в 1864 году”, вошедшем затем в первую часть мемуаров “Мои досуги” (он использован во второй части настоящего издания в рубрике: “Возвращение во Флоренцию”).

Наконец, в четвертый раз Буслаев приехал во Флоренцию в 1875 г. из Франции (через Турин, Геную и Пизу), вместе с женой Людмилой Яковлевной Троновой.

“Я во Флоренции уже четвертый раз; теперь она мне еще милее и дороже. Весь город — музей, и все это великолепие художественное не занесено извне, как в петербургском Эрмитаже или в парижском Лувре, а все оно доморощенное. Все эти великие художники, от XIV и до XVI в., тут родились, тут жили и исподволь украшали свой родной город. Чтобы вполне понять историю искусства, чтобы насладиться изящным как необходимым, существенным элементом жизни, надобно пожить во Флоренции”.

Проведя затем несколько месяцев в Риме, Буслаевы осенью 1875 г. возвратились в Москву.

ВЛАДИМИР
ДМИТРИЕВИЧ
ЯКОВЛЕВ

153

Владимир Дмитриевич Яковлев (1817, Санкт-Петербург — 3.11.1884, Санкт-Петербург) — поэт, переводчик, путешественник, мемуарист. Обучался в Императорской академии художеств, потом в Петербургском педагогическом институте. Преподавал в приходских училищах, печатал стихи и рассказы в духе романтизма. Расстроенное здоровье требовало обязательной поездки Яковлева на юг, однако материальные средства его были настолько скудны, что он вынужден был одно время взять на себя чтение корректур в нескольких журналах, хотя подобная работа была для него чрезвычайно вредна.

Однако, благодаря счастливому стечению обстоятельств, в конце 1846 г. тридцатилетний литератор Яковлев обратил на себя внимание самого наследника

русского престола, Великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II): у его супруги, великой княгини Марии Александровны, жена Яковлева до замужества служила любимой камер-девушкой. Наследник-цесаревич, воспитанник поэта Жуковского и сам любитель романтической поэзии, пожаловал тогда молодому литератору и мужу придворной любимицы большую сумму — пять тысяч рублей серебром для лечения за границей.

Яковлев использовал подаренные деньги на большое путешествие по Италии. В мае 1847 г. он приехал в Триест, оттуда пароходом прибыл в Венецию. Затем, минуя Болонью, двинулся на юг, в Тоскану:

“Впереди ожидала меня Флоренция — итальянская Мекка поэтов и художников. Я спешил поклониться гробницам гениев, возродивших в Европе живопись, скульптуру, поэзию. Рим — это торжественная могила древнего языческого мира. Флоренция — улыбающаяся колыбель мира нового...”

Яковлев достаточно подробно описывает дорогу от Болоньи до Флоренции через Апеннинские горы:

“В субботу, в три часа пополудни, я занял свое место в дилижансе. Дорога проведена по крутым горам без малейшей церемонии; ехать надо всю ночь, а для полного вашего удовольствия на билете, выданном вам из конторы дилижансов, между правилами для пассажиров о некурении табаку и прочая напечатано: “контора не берет на себя ответственности в случае нападения превосходных

сил и грабежа вооруженною рукою". Чрезвычайно успокоительно — не правда ли? Но здесь на фразы нет ни малейшей пошлости. Чтоб не тревожиться, надо уметь не верить. Имея в перспективе Флоренцию, я утратил способность пугаться".

"Фирменный стиль" мемуариста Яковлева, сделавший его одним из любимых авторов для нескольких поколений русских италоманов, — точное и остроумное описание деталей своих итальянских вояжей:

155

"Итак, четверка впряжена, общество мое состоит из апатичного пруссака, который спрашивает меня, успеет ли он осмотреть все музеи Флоренции в два дня, и двух энергичных сирийцев из Дамаска, в красных фесах, в полуботках, в полуштанах и в куртках, по греческой моде, с шалевым поясом. К счастью, один из них, молодой парень, говорит по-французски и по-итальянски прекрасно. Восточные народы, так же как и мы, способны усваивать все оттенки произношения. Сколько немец наш ни потел, увы! никак не мог произнести в нос проклятое n, тогда как сирийцу это ничего не стоило. Сирийцы были весьма довольны итальянскими товарами, за покупку которых странствовали, и католицизму, который исповедовали; неблагополучно отзывались они только об оттоманском деспотизме и неудержимо желали перейти в российское подданство, для того, чтобы под охраной русского паспорта спокойно торговать итальянским шелком и исповедовать римский католицизм во владениях падишаха правоверных".

Подробно описал Яковлев и саму дорогу от Болоньи до Флоренции:

156

“За воротами Болоньи дорога прямо подымается в гору. Убегают от нас холмы, одетые серебристою зеленью масличных роц, и белые виллы, прячущиеся под тенью кипарисов; земля здесь взволнована, как океан в страшную бурю. Инженер, строивший эту дорогу, вероятно, хотел выказать всю смелость своего воображения: бросил этот неширокий путь по маковкам холмов, по глубоким оврагам, по бедрам крутых гор. Мы не отъехали десяти верст от города, и к нашему дышлу, впереди коней, припрягли четырех огромнейших волов: эти мясные колоссы, с колодками на шее, прошли подле меня, попарно, так кротко, что их можно бы поставить в образец любым супругам... Полчаса подымаемся шагом по крутой дороге, прилепленной к боку горы; спуск, — волов отпрягли, саженный бич взвился, захлопал — и мы несемся во весь дух — под гору. Слева стеной возвышается верх горы, справа, в двух шагах от экипажа, глубокий овраг, где домики и лошади кажутся игрушечными... Обрывы по сторонам дороги становятся диче, пропасти глубже; горные деревушки и роцци исчезли; нагие скалы столпились и со всех сторон загородили горизонт. Облака опускаются, белыми гирляндами льнут к нагим утесам или летят клочьями пуха наравне с нами... Черная ночь уже лежала в глубине долин; а горы все еще были освещены. Наконец и на вершинах все померкло. Луна встала, золотым щитом

повисла между далекими остроконечными верхушками скал. Снова припрягают быков, снова тянемся шагом в гору, до первого спуска... С каждой станции за нами гонятся ребятишки, с своим обычным криком: *Carita!* (Поддай!) Если б каждому просящему здесь давать по одному байоку, то мне, кажется, не с чем было бы воротиться домой. Особенно на англичанина и на русско-го здесь смотрят как на самую богатую золотую жилу. И немудрено. Здесь все дешево; деньги страшно дороги; и какие деньги: мелкая серебряная монета так стара и истерта, что не имеет уже и половины своей настоящей цены; ни изображений, ни надписей давно на ней нет — различай ее по одной величине...”

157

Остроумно описывает Яковлев и многочисленные в те годы итальянские таможни:

“Ровно в полночь мы были разбужены — не пугайтесь, не разбойниками, а мирными таможенными досмотрщиками. Экипаж был остановлен перед хорошеньким зданием таможни, занесенным на высоты Апеннин и достойным лучшего назначения. Местечко называется Филигаре. Мы были на границе Папских владений. Чемоданы сняты с крыши дилижанса, перерыты для формы и положены на места; факино [носильщик] просит на водку за то, что он трудился. Ничего нет удобнее, как иметь один только чемодан. Покуда пассажиры расплачиваются за то, что их же беспокоили, я всматривался в силуэт пейзажа, мгновенно освещаемого молнией и трепетным светом луны, по которой пробежали темные тучи... При

въезде в Тоскану таможенная проверка повторилась; не промешали ей ни ночь, ни буря”.

Яковлев приехал в столицу Великого герцогства Тосканского в последних числах мая 1847 г. и прожил там две недели. В своих заметках он рисует благостные картины жизни подданных Леопольда II (из рода Габсбургов), с которым многие европейские прогрессисты одно время связывали большие конституционные надежды:

“Мы быстро спускались в улыбающуюся долину реки Арно. Скаты холмов здесь обработаны с любовью, превращены в вечный сад. Дорога постепенно оживлялась. Явились деревья, цветы, люди — и на этот раз ни одного нищенствующего монаха. Мы обгоняли бодрых лошаков, несших колоссальные корзины плодов и овощей; поселяне шли с зонтиками от солнца. Горожане, мчавшиеся нам навстречу в одноколках, весело поднимали вверх свои шляпы: приветствуя иностранцев как дорогих гостей. Девушки, сидевшие на мраморных скамьях у дверей своих опрятных жилищ, плели солому и тоже нам улыбались. Они, конечно, знали, как сладок каждый привет страннику на чужбине...”

Не стесняясь особо в средствах, Яковлев поселился в одном из отелей на набережной Арно, а потом снял рядом недорогие частные апартаменты:

“Два дня я жил в отеле «Нью-Йорк», в котором американского только и есть, что название. Теперь я живу на набережной Арно, у моста della Trinita, то есть Троицкого. Мост старый, весь мраморный, изящного стиля; фло-



Отель “Нью-Йорк” на набережной Арно. Здесь в разное время жили В. Д. Яковлев, А. И. Герцен, П. И. Чайковский.

рентийцы гордятся им, как дивом. Из моих окон я вижу высохшее ложе отсутствующей реки Арно, которой представителем остается на все лето мутный ручеек, пробирающийся по камешкам. У меня маленький салон с камином и зеркалом; пол весь обито ковром; мебель орехового дерева, крыта барканом голубым с белыми цветами. Зеленые жалюзи опущены весь день, кроме того, широкие кисейные занавесы; спальня сумрачная, отделяется от салона аркою и кисейным занавесом...”

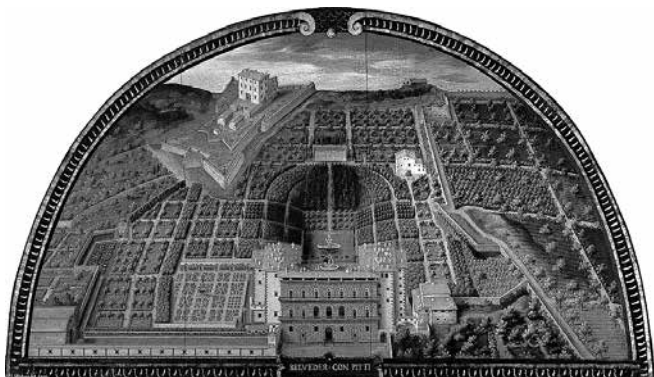
Флоренция сразу понравилась путешественнику:

160

“Firenze la bella, говорят тосканцы. И они правы, Флоренция нравится с первого взгляда. Оригинальность ее заключается в контрасте блестящих новейших зданий с мрачными и массивными палацами средних веков. Но мрачны и печальны здесь одни камни. Все прочее жизнь, свет и улыбка. Теперь время роз: по улицам разносят этот благоуханный товар корзинами. Везде веселые лица; рабочий приправляет свой труд комическою песней. Нигде не заметно ни лени, ни лохмотьев. Но всюду видите довольство, благосостояние, здоровье — несомненные результаты необременительного труда и не стесняющей администрации...”

Любимым флорентийским местом Яковлева, явно предпочитавшего посещению церквей и галерей прогулки на открытом воздухе, стали Сады Боболи, расположенные на левом берегу Арно, рядом с великогерцогским дворцом Питти:

“Странно, что какой-нибудь берлинский сад или венский Пратер пользуются всемирною славой; тогда как о саде Боболи никто ни слова. Правда, флорентийская знать любит прогуливаться в экипажах по парку (Кашино) и сюда почти не заглядывает. Впрочем, нельзя и винить изящных флорентинок: многие дорожки этого сада были бы сущим наказанием для нежных ног: эти дорожки усыпаны не песком, а мелкими камушками... Сад, раскинутый по холмам, за дворцом, каков бы ни был стиль этого сада, хорош уже тем, что он вечно зелен. Та-



Дворец Питти в окружении Садов Боболи.

кую природу трудно испортить. С бельведера, из-за высоких кипарисов, очаровательный вид на всю Флоренцию, на все зеленеющие и подернутые голубым флером горы. Кругом — кедры, мирты и лавры, между ними белеются мраморные статуи. Даже досадные предостережения касательно того, чтоб не ломать деревьев и не портить статуй, читаются без досады, потому что они повешены на изящных металлических колонетках. Одни аллеи темны, как ночь, другие спускаются с холмов; в круглом бассейне резвятся золотые и разноцветные рыбки, а в зеленватые струи глядится роскошная нереида. Отсюда террасы спускаются ко дворцу; на одной из них устроен каменный амфитеатр, уставленный статуями. Одна огромная аллея, спускающаяся с холма, оканчивается обворожительным бассейном, на котором островок



Вид из Садов Боболи на Флоренцию. XIX в.

весь уставлен лимонными деревьями в вазах; спелых лимонов тут едва ли столько же, сколько и листьев..."

Заметки В. Д. Яковлева о Флоренции ценны также тем, что, помимо описания достопримечательностей города (это делали многие путешественники и до, и после автора), в них подробно описаны некоторые праздничные представления, которых, по мнению автора, во Флоренции было даже слишком много:

"Везде и всегда народ любил торжественные дни. Жаркий климат особенно располагает к частому отдыху... В злополучные времена феодального рабства число праздничных дней размножилось неимоверно.

И это было сущим благодеянием для страждущих классов общества: в праздники вассалы могли отдохнуть от преследования сильного. Это были краткие перемирия нескончаемой междоусобицы. По праздникам прекращались не только работы, но и всякие неприязненные действия. Когда политический быт Европы улучшился, епископы не раз пытались отменить лишние праздники, но редко успешно. Народ крепко держался своего права повеселиться. Ныне времена изменились. Бедные люди стали помышлять о праве трудиться. Властям в Западной Европе приходится теперь уже запрещать труд по воскресным дням. Но это не помогает делу, а дело в том, что многие добрые люди, работая по шестнадцати и даже по восемнадцати часов в сутки, не могут досыта накормить свое маленькое семейство...

163

Так, 3 июня (по нов. ст.) 1847 г. Яковлеву довелось стать участником одного из самых значительных и ярких католических торжеств — праздника, посвященного почитанию Тела и Крови Христовых (*Corpus Domini*), который отмечался по всей Италии ежегодно в четверг, следующий за днем Святой Троицы, т.е. на одиннадцатый день после Пятидесятницы (см. Приложение I).

После Флоренции В. Д. Яковлев, разумеется, побывал в Риме, а затем отправился на берега Неаполитанского и Салернского заливов, вернувшись потом на север вдоль побережья Тирренского моря. Записки об итальянском путешествии 1847 г. сделали автора популярным в литературных кругах: путевые очерки Яковлева публи-

ковались в “Библиотеке для чтения”, “Отечественных записках”, “Русском слове”, “Светоце”, “Сыне отечества”. Н. А. Некрасов уговорил автора напечатать ряд очерков в “Современнике”. А в 1855 г. книга В.Д. Яковлева “Италия” вышла отдельным изданием — как раз в год вступления на престол Александра II, благородству и щедрости которого была в большой степени обязана.

В 1860 г. В. Д. Яковлев серьезно заболел, вскоре ослеп и слег в постель, с которой не вставал двадцать четыре года, до самой своей смерти в 1884 г., живя лишь на пенсию от Общества пособия бедным писателям.

Приложение I

В. ЯКОВЛЕВ

Праздник Тела Христова (Corpus Domini) во Флоренции

Я экстренно велел себя разбудить в восьмом часу. Утром хозяин мой, разумеется, тщетно ломился в мою дверь. Любопытство мое испарилось в сладком сне. Между тем Флоренция уже с рассветом была на ногах, часов в девять и я внял гласу вопиющего хозяина: он торжественно уведомлял, что процессия возымела начало в семь часов.

Я считал ее уже проигранною. Ничего не бывало. Я вышел к церкви Trinita. Солнце сияло, несметные толпы пестрели на улицах, усыпанных лаврами и миртами. Все окна, все балконы были украшены алыми, голубыми, желтыми тканями и густо унизаны зрителями и зрительницами в ярких красочных нарядах. Тысячи верев были в непрерывном движении. Процессия текла с глухим шумом по узким улицам. Колокольный звон не умолкал. Носовые ноты пения казались резкими для непривычного уха. Огромные пестрые лоскутья духовных знамен колебались в воздухе. Знаменосец, в белом хитоне, как ни упирал в свой живот древко, оно было так тяжело, что грозило повалить монаха на мостовую... Я нашел удобным зайти в отель, где, кстати, было несколько русских, и из бельэтажа продолжал любоваться этой бесконечной, набожной фалангой. Монахи всех орденов и цветов: черные, белые, коричневые, серые и даже пламенного цвета, шли попарно, отрядами. Впереди каждого отряда несли колоссальный крест, с пригвожденным к нему бледным телом Спасителя. Между этими монашескими взводами была тьма мальчиков. Я забыл сказать, что все эти люди скрывались под опущенными на лицо капюшонами, с отверстиями для глаз, что похоже на маски и имело весьма неестественный вид. Но под этими суровыми и скромными костюмами вертелось пружинное итальянское тело. Важность процессии умерялась веселостью этих школьников, наряженных в хламиды; эти beaux masques исподтишка тол-



Праздничная Процессия Corpus Domini во Флоренции.

кались, некоторые даже срывали друг у друга колпаки, подставляли ноги прохожим. И никому не казалось это неуместным. Духовные пели, монахи весело разговаривали между собою, поглядывая вправо и влево, кивая и улыбаясь знакомым, замеченным на балконах; капуцины на походе нюхали табак, останавливались напиться у продавцов воды, отставали от процессии и снова догоняли ее; зрители толковали, и весьма шумно.

Отрядам и знаменам конца не было... Далее — белый шатер, несомый духовенством, а под шатром какой-то весь сияющий золотом и драгоценными камнями представитель папы. Тотчас за шатром следовал сам герцог, со свечой в руках, с преклоненной обнаженной седой

головой. Две полы его белой мантии несли пажи; далее пестрые камердинеры, разноцветные сановники, потом еще монахи, всадники, музыканты, марширующие солдаты, и, наконец, к этой длинной процессии примкнули массы праздного народа. Горожанки были в бархатных кофточках, в белых передниках на алом или синем платье. Особенно грациозно носят они на голове мужскую поярковую шляпу, с коротенькими черными перьями... День заключился конскими скачками, лотереей, иллюминацией и фейерверком. Подобными праздниками, более или менее блестящими, Италия богаче других стран.

167

В. Яковлев. Италия в 1847 году. СПб., 2012. С. 444–446.

Приложение II

В. ЯКОВЛЕВ

Флоренция между прошлым и будущим

Гуляя в первые дни по улицам Флоренции, вы неизбежно переноситесь в средние века, во времена Флорентийской республики, эпоху распрь Гвельфов и Гибеллинов, Белых и Черных. Суровым и мрачным кажется вам город, где настроено так много почерневших палаццов с

тяжелыми решетками на окнах, с зубцами на стенах, которые сложены из полуобтесанных глыб гранита. Чуть не титанами представляются вам белые владельцы этих циклопических построек. Характер архитектуры, как известно, всегда в тесной связи с духом времени и народа. Вы проникаете в палаццо. За тяжелыми, окованными железом воротами скрывается двор, обнесенный портиками, двор, где мог расположиться бивуаком порядочный гарнизон. Широкая лестница ведет в колоссальную залу, где предводители партий могли держать военный совет. Но за суровой стеной открывается анфилада покоев, блестящих позолотой, украшенных картинами и статуями... Все убеждает вас, что в этих палаццох флорентийцы умели наслаждаться жизнью... Эти почерневшие флорентийские палаццо кажутся вдвое мрачнее от соседства новейших зданий; но скоро глаз свыкается с этими контрастами, и вы видите, что современная Флоренция, молчаливая и беззаботная, мало похожа на бурную и деятельную Флоренцию Данта. На улицах не слышно ни звуков труб, ни бряцания оружия, раздается только колокольный звон да гармония шарманки. Вечером на площади собирается толпа, не вокруг демократического оратора, а вокруг ширмы кукольного комедианта. Вы видите, что бронзовые кольца, в которые некогда вставлялись знамена партий, давно висят праздными; из-за решетки окна выглядывают розы. Нынче, при повсеместных перестройках зданий и общественно-го быта по парижским образцам, и флорентиец охотно

жертвует своими феодальными башнями и предрассудками. Пожив несколько дней во Флоренции, вы окончательно не понимаете, как могли тут Гвельфы и Гибеллины истощаться в кровавых распрях, вместо того, чтобы под сенью кипарисов сидеть и слушать рассказы Боккачио. Этот теплый, мягкий воздух Тосканы способен разнежить самую суровую думу, вызвать улыбку у самого мрачного меланхолика. Теперь Флоренция самый мирный, приветливый, веселый город в мире; наслаждение, эстетическое или чувственное, — вот главнейшее общее дело флорентийских граждан и гражданок. Современный флорентиец уже ничего не создает, а только наслаждается тем, что создано его предками. Тени великих граждан Флоренции из глубины могильных урн собора Santa Croce добрыми гениями доселе парят над своим родным городом и сохраняют в нем предания искусства, чистоты языка и изящного вкуса. Статуям, фрескам давно уже стало тесно во дворцах и музеях: искусство выступило на улицы и площади Флоренции. Глаз ребенка незаметно посвящается в таинство изящного. Не напрасно называют Флоренцию новейшими Афинами.





АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ

172

АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ (28.07.1822, Москва — 7.10.1864, Петербург) — литературный и художественный критик, поэт, переводчик. Окончил юридический факультет Московского университета. Сотрудничал в журналах “Отечественные записки”, “Москвитянин”, “Драматический сборник”, “Русский вестник”, “Якорь”.

Биограф и исследователь творчества А. Григорьева Б. Ф. Егоров написал о нем:

“Трудно найти в истории русской культуры и общественной мысли фигуру более сложную, чем Аполлон Григорьев. Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил; артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист; чистый, честный юноша, запойный пьяница,

На предыдущем развороте: Площадь Синьории
(фото конца XIX в.).

душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый полемист, страстный фанатик убеждения — таков облик Григорьева, мозаично рассыпавшийся на несоизмеримые элементы в глазах многих современников и потомков..."

В июле 1857 г. коллежский ассессор А. Григорьев взял отпуск в гимназии, где тогда преподавал, и по рекомендации историка М. П. Погодина уехал в Италию в качестве воспитателя пятнадцатилетнего князя И. Ю. Трубецкого. Добрался морем из Кронштадта до Штеттина; далее почтовыми дилижансами ехал через Берлин, Дрезден, Прагу, Вену. Побывал в Венеции, где чуть по неосторожности не утонул в канале (решил ночью прогуляться, открыл наружную дверь отеля, где остановился, и... шагнул прямо в воду). Позднее в письме своему близкому другу, Е. С. Протопоповой, Григорьев так описал свое путешествие через пол-Европы:

"Сначала, как всегда бывает со мною, новость различных впечатлений и быстрота, с которой они сменялись, действовали на меня лихорадочно-лирически. Я истерически хохотал над пошлостью и мизерией Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью и глупой честностью; плакал на Пражском мосту в виду Пражского Кремля; плевал на Вену и австрийцев, понося их разными позорными ругательствами и на всяком шагу из какого-то глупого удалства подвергая себя опасностям быть слышимым их шпионами, оду-

рел (буквально одурел) в Венеции, два дня в которой до сих пор кажутся мне каким-то волшебным, фантастическим сном...

174

В августе-сентябре 1857 г. Григорьев жил на вилле Трубецких в Сан-Панкрацио (в семи километрах севернее Лукки), где вел занятия с молодым князем Трубецким. В те дни Григорьев писал Погодину:

“Провидение имело через Вас благую цель — усладить меня на несколько времени куда-нибудь подальше. Если бы мне предложили Вы тогда ехать в Гренландию, я бы точно так же охотно согласился, как согласился ехать в Италию... Душа моя была совсем разбитая, и не было в ней ни одного места, которое бы не болело”.

В середине сентября 1857 г. Григорьев на несколько дней выезжал во Флоренцию. По возвращении оттуда он писал Протопоповой:

“Принимаясь писать, жалею, что пишу теперь, а не неделю назад, когда я только что воротился из «Ситта деи фиори» <города цветов>, то есть из Флоренции, в каком-то лихорадочном опьянении, весь под влиянием Муриловой «Мадонны», прелестнейшего города и полуистлевших мумий Медичисов, которых при мне выкапывали из земли... А все-таки Флоренция — прелесть, и я так много благодарен ей за два дня лирического беснования, что и сказать не могу”.

В том же письме Григорьев рассказал и о своих ощущениях, когда во Флоренции узнал о кончине в России императора Николая:

“Надобно сказать еще, что я, прощаясь с ней <Флоренцией>, получил весть о нашей России, — вы догадываетесь какую, — ту, при которой задолго до Светлого Воскресенья скажешь «Христос Воскресе!» и со спокойною совестью промолвишь громко, сознательно и гордо: «Ура, Александр II-ой!»”

В октябре 1857 г., когда спала жара, Трубецкие переехали с виллы в собственный дворец во Флоренции на улице Гибеллинов (бывший Palazzo Spinelli).

175

Григорьев: “Живу я в великолепном палаццо, где плюнуть некуда — все мрамор да мрамор... Выйдешь на улицу — ударишься в мрачный Барджелло, где на каждом камне помоста кричит кровь человеческая... Пройдешь несколько шагов, и уже на площади del Palazzo Vecchio <ныне площадь Синьории>, а там Микеланджелов Давид и Персей Бенвенуто Челлини... и тогда вспомнишь, что на этой площади бушевала некогда народная воля и проповедовал монах Савонарола, и тут же его потом сожгли... Как бы я желал, горячо желал — вас всех, моих дорогих мне друзей, перенести хоть на день в этот мир, меня окружающий... А то ведь я или задыхаюсь от одинокого лиризма, или терзаюсь безумнейшею тоскою...”

Письмо Е. С. Протопоповой, 20 октября 1857 г.

Григорьев был занят уроками четыре часа в день, а все остальное время посвящал внимательному изучению Флоренции. Снова и снова он возвращался в гале-

рею Питти, где подолгу простаивал у поразившей его еще в первый короткий приезд “Мадонны” Мурильо:

176 *“Начну с Мадонны... Не ожидайте, чтобы я возвратился в любезное отечество знатоком и ценителем живописи, но орган для понимания этого дела, который был во мне решительно закрыт, вдруг во мне обозначился, да и как еще! До страсти. До бешенства. По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, всё раза три возвращусь я к Мадонне. Поверите ли вы, что когда я первые раза смотрел на нее, мне хотелось плакать... Да! Это странно, не правда ли? Этакое высочайшего идеала женственности, по моим о женственности представлениям, я и во сне даже до сих пор не видывал... И есть тайна, полутехническая, полудушевная, в ее создании. Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно нежный, девственно строгий и задумчивый лик, играет в картине столь же важную роль, как сама Мадонна и младенец, стоящий у нее на коленях. И это не *tour de force* <фокус — фр.> искусства. Для меня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный не из лучей дневного света, а из розово-палевого сияния зари... Смотрел и смотрю на нее и вблизи, и вдали, и не надивлюсь только одному: простоте создания. Ничего подобного тем искусственным переливам света, которые занимают теперешних наших живописцев, —*

нет даже утонченности в накладке красок: все создавалось смело, просто, широко...”

Письмо Е. С. Протопоповой, 20 октября 1957 г.

В начале 1858 г. во Флоренции А. Григорьев написал стихотворение о “Мадонне” Мурильо:

177

*Глубокий мрак, но из него возник
Твой девственный, болезненно-прозрачный
И дышащий глубокой тайной лик...*

*Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной
Выходишь, как лучи зари, света;
Но связью страшной, неразрывно-брачной*

*С тобой навеки сочеталась мгла...
Как будто он, сей бездны мрак ужасный,
Редящий вокруг юного чела,*

*Тебя обвил своей любовью страстной,
Тебя в свои объятия заковал
И только раз по прихоти всевластной*

*Твой светлый образ миру показал,
Чтоб вновь потом в порыве исступленья
Пожрать воздушно-легкий идеал!*

*В тебе самой есть семя разрушенья —
Я за тебя дрожу, о призрак мой,
Прозрачное и юное виденье;*

*И страшен мне твой спутник, мрак немой;
О, как могла ты, светлая, сродниться
С зловещею, тебя объявшей тьмой?*

В ней хаос разрушительный таится.

178

Во Флоренции Григорьев посещал православную церковь при вилле Демидовых в Сан-Донато (на северо-западе Флоренции); по вечерам часто бывал в расположенных недалеко от дворца Трубецких театрах “Пергола” и “Пальяно”:

“Напишу же к Вам хоть раз в человеческом расположении духа, добрый друг мой... Я сейчас только возвратился из оперы, и вот два дня, как я в лирическом состоянии от двух здешних опер, т.е. оперы театра Пергола и оперы театра Пальяно, — от Мадонны Мурильо, от Флоренции вообще с ее старыми палаццами, видевшими столько страшных трагедий, с ее тюрьмой Барджелло, видевшей столько казней, с ее чудесами искусства, с ее беспечною, разъедающею все мирное спокойствие жизнью... Знаю, что за лирическое состояние опять поплачусь я известным образом, но что нужды? День мой — и кончено...”

Письмо Е. С. Протопоповой, 20 октября 1857 г.

Занятия с молодым князем под строгим руководством вдовы-княгини (итальянки по происхождению) давались Григорьеву нелегко: периоды учительского энтузиазма сменялись глубоким разочарованием:

“Мальчик пятнадцати лет в совершенстве знает по-английски и не знает Шекспира; полуитальянец не читал Данта, когда мы, дети толпы, в эти годы прочли все, что можно было прочесть... Прибавьте к этому еще порядок дня, губящий бесплодно столько времени. О, порядок! Недаром во мне, как во всяком русском человеке, таится к тебе закоснелая, непримиримая ненависть... Как истинно русский человек, т. е. как смесь фанатика с ёрником, я не стал в борьбу с тем, с чем нельзя бороться; подчинился всему нелепому в доме, всему злу порядка, но понял, что с умом я могу делать, что хочу”.

179

Письмо М. П. Погодину, 27 октября 1857 г.

В частых письмах Погодину, который был близок А. Григорьеву по славянофильскому умонастроению, содержались не только бытовые зарисовки, но и глубокие размышления Григорьева о судьбах европейской культуры, глубинных различиях между католицизмом и русским православием:

“Мы (т. е. славянофилы) хотим все доказывать великие нелепости, как то: что византийские типы не в пример прекраснее, художественнее итальянских Мадонн, и удивляемся, что никто этих нелепостей не слушает. А вот такой факт гораздо назидательнее. В деревне Роп-

te Mariano, близ которой вилла нашей принципессы <княгини>, стоит на перекрестке прекрасный образ Мадонны; а в каком-нибудь Спасском, подле Москвы, в бедной деревянной церкви суздальские иконы. Но в Понте Мариано живут язычники, буквально язычники, которые едва ли имеют понятие о том, что Богородица не Бог; а в селе Спасском молятся уродливым иконам истинные христиане, которые знают сердцем, что не иконам, а Незримо-му они молятся. Сила нашего именно в том, что оно не перешло в образы, заслоняющие собою идею, а осталось в линиях, только напоминающих. А еще сила в том, что все наше есть еще живое, растительное, когда здесь велико-лепное здание, поросшее мохом..."

В начале 1858 г. усугубились конфликты с княгиней Трубецкой, и Григорьев, поначалу не отказываясь от продолжения занятий, решил снять частную квартиру по адресу: Borgo Santi Apostoli, №1169 (второй этаж). Позднее в своем мемуарном эссе о Флоренции Григорьев писал:

"В мирном и славном городе Флоренске... я жил в одной из самых темных его улиц... или нет, не улиц. Улица — это via, via, например, Ghibellina, via Кальцайола, а я жил в Борго, в Borgo Sant-Apostoli, т.е. в улице, состоявшей из нескольких улиц, прерываемых множеством узеньких, маленьких, грязненьких кьяссо <переулков>, которые были отдушинами Борго на Лунгарно, т. е. на набережную Арно. Отдушины эти — нельзя сказать, чтобы отличались благовонием... Нельзя сказать также, чтобы



кьяссо отличались особенными изяществом и роскошью. Из них под вечер выскакивают обыкновенно на Лунгарно или оборванные синьоры “с чужим ребенком на руках” и с припевом, действующим ужасно на человеческие нервы, если только эти нервы не канаты или не укреплены какой-нибудь крепко всаженной в них теорией — хотя бы теорией — например, английской о вреде безразличной помощи ближним или нашей доморощенной об исключительной помощи соотечественникам. Но теория, как известно, мастерски вьет из человеческих нервов канаты, на которые ничто не действует, даже болезненный, пожалуй, выученный, но лучше сказать, вымученный тон стоны синьоры в отребиях, преследующей вас своим *sono fate, signor, sono fate* <я голодна, синьор, я голодна> от Понте-Веккио до Понте делла Тринита и гораздо далее, нагло — но как-то жалко-нагло цепляющейся вам за рукав, попевающей за вами, как бы вы ни ускоряли ваши шаги. Не могут также добросовестно сказать, чтобы кьяссо были замечательны относительно целомудрия их обитателей. *Pst, pst* — этот призывный клич слышится вам из окон почти во всякое время дня и ночи и, право, едва ли не болезненней *Io sono fate* действует на вас, особенно когда вы только что вышли из галереи Уффици или шли из-за Ольтр-Арно, из палаццо Питти, где женственная красота и чистота столь бесконечно разнообразными идеалами наполняли вашу душу, так уверили вас в своем бытии, такие гармонические ответы дали на ваши вопросы. А задние окна моей комнаты, как нарочно, выходили на один из таких

кьяссо, и я мог всегда, когда только захочу, иметь перед глазами отрицательную поверку идеалов”.

В январе-феврале 1858 г. Григорьев наблюдал необычное для себя зрелище — карнавал во Флоренции:

“Я очутился на Арно... Маскарад, как гремучий змей, захватил меня своим хоботом... Да, есть возможность жить чужою жизнью, жизнью народов и веков... Старое доживает в новом, и оно еще способно одурить голову, как запах тропических растений...”

183

Из писем Е. С. Протопоповой.

Позднее Григорьев изложит свои впечатления о флорентийском карнавале в известном стихотворении:

ОТЗВУЧИЕ КАРНАВАЛА

(1858)

*Помню я, как шумел карнавал,
Завиваяся змеем гремучим,
Как он несся безумно и ярко сверкал,
Как он сердце мое и колол и сжимал
Своим хоботом пестрым и жгучим.*

*Я, пришелец из дальней страны,
С тайной завистью, с злобой немой
Видел эти волшебнo-узорные сны,
Эту пеструю смесь полной сил новизны
С непонятно-живой стариною.*

*Но невольню я змею во власть
Отдался, закружен его миром, —
Сердце поняло снова и счастье, и страсть,
И томленье, и бред, и желанье упасть
В упоеньи пред новым кумиром.*

184

17 февраля 1858 г. А. Григорьев написал свое самое знаменитое флорентийское стихотворение.

ПЕСНЯ СЕРДЦУ

*Над Флоренцией сонной прозрачная ночь
Разлила свой туман лучезарный.
Эта ночь — точно севера милого дочь!
Фосфорически светится Арно...*

*Почему же я рад как дурак, что грязна,
Как Москва, и Citta dei Fiori?
Что луна в облаках, как больная, бледна,
Смотрит с влагою тусклой во взоре?*

*О Владыка мой, Боже! За душу свою
Рад я всею поющей душою;
Рад за то, что я гимн мирозданью пою
Не под яркой полудня луною...*

*Что не запах могучих полудня цветов
Душу дразнит томленьем и страстью,*

*Что у неба туманного, серого — вновь
Сердце молит и требует счастья;*

*Что я верю в минуту, как в душу свою,
Что в душе у меня лучезарно,
Что я гимн мирозданию и сердцу пою
На сыром и на грязном Лунг-Арно.*

185

*Тихо спи под покровом прозрачно-сырой
Ночи, полной туманных видений,
Мой хранитель таинственный, странный, больной,
Мое сердце, мой северный гений.*

В марте 1858 г. во Флоренцию из Рима (где он писал “Асю” и “Дворянское гнездо”) приезжал Иван Сергеевич Тургенев, и Григорьев вел с ним непрерывные, дни и ночи напролет, беседы о России и русской культуре, оставившие заметный след в судьбе обоих литераторов.

В мае 1858 г. Григорьев с семьей Трубецких через Ливорно, Геную и Марсель уехал из Флоренции в Париж. Проведя там летние месяцы, княгиня Трубецкая решила возвратиться во Флоренцию, чтобы молодой князь мог вступить в права наследства. Григорьев долго раздумывал о новой поездке во Флоренцию, но в итоге решил все-таки возвратиться в Россию. Проехав почтовым дилижансом через Францию и Германию, он 7 октября 1858 г. почтовым пароходом “Прусский орел” прибыл из Штеттина в Кронштадт.

Приложение

А. ГРИГОРЬЕВ

Весна во Флоренции

186

Был апрель. Итальянская весна дышала всем, чем ей дано дышать: и целыми стенами роз по стенам садов в городе и по дорогам за городом, и блестящей, совсем молоденькой, разноотливистой зеленью в Кашинах, и целыми роями ночных светляков в траве, скачущих, летающих, кружащихся перед вашими глазами, как маленькие огненные эльфы. Была весна... но, впрочем, что я говорю — была, лучше сказать — стала весна, основательно утвердилась, потому что еще и прежде, в конце февраля, в начале марта, она вдруг, неожиданно высовывала иным утром из-за травки, из-за листьев деревьев свою светленькую кудрявую головку и вдруг обдавала вас жгучим пламенным взглядом. Не шутя: я помню совсем весенний, дышащий росой и свежестью вечер в один из первых дней Великого поста и совсем весеннее, сияющее, обдающее жаром утро с палящими лучами солнца, нагревшими ожидавшую меня у Сан-Донатской церкви карету. Итак, весна стала... Толковать о том, какое тревожное, немного страстное, немного тоскливое чувство развивает в душе северного человека весна, — будет, кажется, совершенно излишне... Мы ценим весну

как гостя, а в Италии она вечный жилец, только притаивающийся на время. Весна в Италии как шалун мальчик, которого поставили в угол: нет-нет — да вдруг и выкинет он гримасу, в которой проглянет самая безнадежная неисправимость, самая неистовая жажда жизни. Зимой я часто дрог благодаря безобразию каминов, ибо до печей итальянцы, по милой распущенности своей, не дошли, да и никогда не дойдут, несмотря на многократные опыты холодов до замерзания маленьких ручьев; мужчины греются в кофейных, а женщины... но зачем женщины копят себя проклятыми жаровнями? <...> Итак, зимою бывало страшно холодно... Выйдешь продроглый на Лунгарно... углубишься немного в эти узкие улицы, с их мрачными и сырыми каменными комодами и сундуками, носящими названия домов, — и опять дрожишь до нового пространства, до нового просвета ярких, всегда весенних лучей солнца... Когда я вошел в свою комнату, куда решил вернуться на время, она, с ее холодным мрамором каминов, окон и столов — в Италии нипочем ведь мрамор; вы его часто встретите там, где уж никак не ожидаете, — показалась мне еще унылее, еще серее, в противоположность с тем ярким весенним светом, который заливал половину площади del gran Duca. Бессмысленно прислонился я к окну и бессмысленно стал глядеть на мрачную и узкую улицу; явления были все известные: santo padre с кружкой и с закрытым лицом, немного покачиваясь справа налево, тянул с сильным горловым акцентом однообразную ли-

танию, испрашивая подаяния бедным, разносчик безжалостно-звонко, всей ужасной полнотою итальянского грудного крика орал: “Carciofi, carciofi” <“Артишоки, артишоки”>. Проревел, наконец, трижды и ослик под грузом какой-то тяжести; прошли, громко рассуждая и размахивая руками, трое тосканских солдат, да какая-то растрепанная синьора густыми контральтовыми нотами обругала — или, как говорится у нас в Москве, обложила куплетами — засаленного и босого на одну ногу мальчишку... Во всех этих звуках было что-то такое полное и сильное, что бывает подчас совершенно неперееносно и для наших северных нервов... Мне не раз случалось чувствовать истинную злобу на разносчиков и торговцев Флоренции, на какое-то ужасное, зверское, разбойничье выражение лиц их, при беспощадном силовато-грудном крике, — как в другие минуты случалось ценить и любить эту силу, мощь, порыв итальянской природы — разлитые всюду: в человеческом голосе, в реве осла, в стрекотанье итальянских кузнечиков, которые всегда мне казались задатками итальянских теноров, — ибо, право, у каждого итальянского кузнечика бычачья грудь невыпавшегося, но сильнейшего тенора Ремиджио Бертолини, которого слышал я целый осенний сезон... Наконец, я решился на крайнее, последнее, отчаянное средство — я пошел в Кашины... Кашины (Cascine) — герцогский загородный скотный двор, с прекрасным парком, с прекрасными узенькими дорожками для пешеходов и с широкими для экипажей. Там

присутствует ежедневно вся фешенебельная Флоренция и даже вся не фешенебельная зимою от трех до шести часов, летом от пяти до семи. Не фешенебельная гуляет по лесу и по берегу Арно... Фешенебельная сосредоточивается на пьяццоне. Место прекрасное, нечто вроде берлинского Тиргартена, если вы его знаете, и наших Сокольников, которые вы наверно знаете, только гораздо лучше Тиргартена и несравненно хуже Сокольников... Идя в Кашины, я имел два шанса: или попасть на берег Арно и неминуемо встретить доброго приятеля, мечтающего о мечте семейных радостей, или героически решиться на пьяццону, на эту небольшую площадку, загроможденную стоящими экипажами, всегда одними и теми же, напоминающими всегда одни и те же пошлые интриги, *des secrets que tout le monde connaît* <всем известные секреты — *фр.*>, которые известны потому, что сами интригующие об этом всем рассказывают. Чтобы понять все то омерзение, которое чувствовал я к пьяццоне, надобно знать хотя немного, хоть по слуху, — что такое Флоренция — не та Флоренция, которая раскидывается перед вами своими сурово-стильными памятниками прошедшего, которую полюбите вы искренно в театрах, кофейнях и на узких улицах, несмотря на все неистовство итальянского горла... Нет! а болотная, сонная, праздная, делающая “ничего”, “*il far niente*” (это совсем не то, что ничего не делающая), погрязшая в маленьких интригах и пошлых сплетнях, не могущая жить и дышать без этих сплетен. Отнимите от Флорен-

ции ее вековечное прошедшее и в настоящем поглубже лежащие пласты ее населения — и вы получите в результате губернский город Т. или В. или какой-хотите. Пока вы — пока со мною было целых полгода — видите и знаете только верхние, снаружи лежащие пласты жизни, вы готовы сказать, что жизнь здесь одряблела, разменялась на мелочь, на бесконечную пошлость, однообразную, безличную, как стертая монета. По этим снаружи лежащим пластам жизни проходит именно наша губернская струя: с одной стороны, всеобщая радость всякому маленькому скандалу, с другой — добродушное правило: “кому какое дело, что кума с кумом сидела”, — и этим, коли вы хотите, объясняется предпочтение Флоренции другим городам Италии всеми праздношатающимися лицами обоего пола из разных иностранных наций. Во Флоренции — безграничная терпимость в отношении ко всяким скандалам и вместе с тем вечный толк о скандалах, интересы губернских сплетен, стертость и пошлость мелочной, дрянью удовлетворяющейся жизни... Но об этом когда-нибудь после. Теперь же сделал я черную заметку потому, что мне хотелось объяснить вам все мое отвращение к пьяццоне, этому губернаторскому саду губернского города Флоренска.

А. ГРИГОРЬЕВ. Великий трагик // Воспоминания. Л., 1980, с. 262-268.

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН

191

БОРИС Николаевич Чичерин (26.05.1828, Тамбов — 3.02.1904, Москва) — правовед, философ, историк, мемуарист. Выходец из богатого тамбовского рода, ведущего, согласно семейному преданию, свое происхождение от итальянца Чичерини, приехавшего в 1472 г. в Москву в свите Софии Палеолог, дочери последнего византийского императора, выходящей замуж за русского царя Ивана III. Правда, сам Б. Н. Чичерин больше доверял более поздним документам, согласно которым предком Чичериных был некто Матвей Меньшой, который “за осадное сидение” при царе Василии Шуйском получил вотчину в Лихвинском уезде, откуда эта ветвь Чичериных и перешла в Тамбовский край. В любом случае, прадед Бориса Николаевича — Дементий Андреевич Чичерин, уже при

императрице Елизавете Петровне, был на Тамбовщине воеводой.

192 Судя по воспоминаниям Чичерина, его отец, отставной поручик Николай Васильевич Чичерин, был человек высоких нравственных качеств, отменного трудолюбия и большого здравого смысла и, хотя сам ни разу не был за границей, сумел дать детям вполне европейское домашнее образование, позволившее им потом успешно окончить столичные университеты. Высокообразованной женщиной была и мать Чичерина Екатерина Борисовна (урожденная Хвоцинская):

“Она родилась и воспитывалась в Тамбовской губернии; но ее воспитание было настолько тщательно, насколько было возможно по тогдашним средствам. Наставником ее был живший в доме моего деда, добрейшего Бориса Дмитриевича Хвоцинского, швейцарец Конклер, человек образованный и почтенный. Когда он, по окончании занятий, уехал на родину в Сен-Галлен, мать оставалась с ним в переписке до самой его смерти. От этого воспитателя у нее сохранились на всю жизнь уважение к образованию и любовь к умственным интересам...”

Приехав позднее в Москву поступать в Императорский университет, воспитанный в русско-европейском духе, Борис Чичерин был немало удивлен накалом полемики между отечественными “славянофилами” и “западниками”: для него европейский универсализм и русская самобытность были равно естественными и ни сколько не противоречили друг другу:

“Вся проповедь славянофилов представлялась мне чем-то странным и несообразным; она шла наперекор всем понятиям, которые могли развиваться в моей юношеской душе. Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви... Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, отроду не видал... Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом; и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другого...”

193

Чичерин рано понял, что “верхушечное” по преимуществу противостояние двух философских лагерей “мало соответствовало истинным потребностям и положению русского общества” и “противоречило указаниям самого простого здравого смысла”:

“Для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какой-то странной сектой, сборищем лиц, которые в часы досуга, от нечего делать, занимались измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публикой для упражнения в умственной гимнастике и для доказательства своего фехтовального искусства...”

Окончивший университет с отличием и рекомендованный к подготовке к профессорскому званию, убежденный либерал-западник, но и столь же решительный государственный деятель, Чичерин в 1853 г. представил к защите магистерскую диссертацию “Областные учреждения в России в XVIII в.”. Однако блестящая во всех отношениях работа была отклонена сначала в московском, а затем петербургском университетах, с заключением, что в авторском тексте “деятельность администрации представлена в ложном свете”. Диссертация была защищена Чичериным лишь в 1857 г., в связи с общим ослаблением цензуры после смерти императора Николая I.

А в начале 1858 г., с благословения и на деньги отца, тридцатилетний Чичерин предпринял свое первое заграничное путешествие для изучения политики, культуры и быта европейских стран. В “Предисловии” к своим воспоминаниям о поездке 1858–1861 гг. он написал:

“В настоящее время путешествие за границу — дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Не то было в прежние времена, когда русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священные пределы отечества... Но с новым царствованием и с заключением мира все препятствия разом исчезли. Двери отворились настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо

мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи — все это я жаждал видеть своими глазами: я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете...

195

Ближайшей целью Чичерина была столица Сардинского королевства (Пьемонта) Турин, где в посольстве работал его брат, Василий Николаевич, ранее служивший в русских миссиях в Рио-де-Жанейро и Мюнхене:

“Я не видел его два года, и это был, вместе с тем, случай взглянуть на верхнюю Италию и на политическое движение в Пьемонте, который сделался уже центром стремлений итальянского народа”.

До Варшавы тогда не было еще железной дороги, и Чичерин *“тащился шесть суток в дилижансе, в компании со старой и вовсе не интересной генеральшей, которой единственная приятная сторона состояла в том, что она кормила меня разными яствами”.* Потом были двадцать четыре часа железной дороги в Вену, где Чичерин провел несколько дней, а затем — поезд в адриатический Триест:

“Тут я испытал полное очарование. Вся дорога представляла для меня ряд совершенно новых, поразительных впечатлений. Проведя всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видел ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии...”

Воспоминания Чичерина о его первом европейском путешествии, написанные в конце жизни, отличаются не только литературным изяществом и документальной точностью, но и редкой для сочинений подобного рода авторской честностью: ведь одной из задач Чичерина-мемуариста было проследить собственное нравственное и гражданское становление. В 1858 г. в Италию попал уже не юный, но в художественном отношении еще достаточно малоопытный человек:

“Несмотря на природную склонность к живописи, я вовсе не был приготовлен к пониманию искусства. До тех пор я, в сущности, ничего не видал, а тут внезапно обрушился на меня целый мир изящных впечатлений в какой-то ослепительной роскоши, в таком изумительном разнообразии и богатстве, среди которых я совершенно терялся...”

После Турина были Ницца, озера Северной Италии, Швейцария, путешествие по Рейну, Лондон (где Чичерин посетил А. И. Герцена), Париж, снова Ницца, наконец, Рим. Вернувшись ненадолго в Рим к свадьбе брата Василия, Борис Чичерин потом снова ездил в Рим (через Геную), затем объездил берега Неаполитанского и Амальфитанского заливов.

За эти месяцы Чичерин дважды проездом был во Флоренции, и, наконец, ранней осенью 1859 г., решил изучить город поближе:

“Из Неаполя я прямо проехал во Флоренцию, которую дотоле видел лишь мельком. Мне хотелось ближе узнать

этот знаменитый город, некогда центр и рассадник итальянского искусства, произведший столько великих людей во всех сферах человеческого духа, отечество Данте, Макиавелли, Галилея, Брунеллески, Леонардо, Микель-Анджело. Прошли времена бессмертной его славы, но неувядающие памятники искусства сохраняют следы их для потомства и свидетельствуют о полноте духовной жизни, которая кипела здесь несколько веков тому назад. Изучивши в Риме художество, древнее и новое на высшей точке совершенства, я мог уже с большим пониманием проследить постепенное его развитие от первых опытов Чимабуэ и Джотто до великих мастеров конца 15 века. Здесь я мог в изумительном разнообразии произведений оценить просветленную чистоту и нежность Беато Анджелико и эпическую силу Гирландайо...

197

В своих мемуарах Чичерин подробно рассказал, как в тот свой приезд во Флоренцию он любовался ее зданиями, “составляющими переход от средневекового готического стиля к изящной архитектуре времен Возрождения” — “грациозной мраморной Кампанилой, полной статуй Лоджиа деи Ланца, Церковью Ор Сан Микеле, где кругом по наружным стенам стоят изваянные великими флорентийскими художниками изображения святых”. Отдал он должное и произведениям “новой скульптуры”, которыми изобилует Флоренция, — “полными жизни и силы статуями Донателло, знаменитыми дверьми Гиберти, где с изяществом соединяется удивительная законченность работы, колоссальным Давидом Ми-



Церковь Ор Сан Микеле.

кель-Анджело и могучими фигурами капеллы Медичи". Чичерина увлекали даже "самые мелкие подробности, украшения церквей, резные изделия, в особенности же рассеянные всюду прелестные майолики школы дела Роббиа". Особо привлекла его "внутренность флорентийского собора, в котором таинственный полумрак готических церквей соединяется с закругляющимся простором, свойственным храмам нового времени":

"Меня пленяла изящная простота линий, представляющая переход от остроконечной вычурности средневекового стиля к пышности и блеску св. Петра. Это истинный храм периода Возрождения, где выступают уже все основные элементы нового времени, но еще обвитые

пеленками, в каком-то смутном предчувствии, как бы предугаданные художественным чутьем. Только купол, расписанный Вазари, всегда приводил меня в негодование и портил гармонию впечатления”.

Два места во Флоренции он полюбил тогда на всю жизнь — монастырь св. Марка с фресками Фра Беато Анджелико (“Благовещение”, “Распятие”, “Страшный суд”, алтарный образ “Мадонна со святыми”), а также Капеллу Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине с фресками Мазаччо и его ученика Филиппо Липпи:

199

“С невольным благоговением входил я в тесные и голые кельи монастыря св. Марка, каждая из которых украшена проникнутою глубоким религиозным чувством кистью великого художника, жившего в этой обители, и в тихом восторге останавливался я затем перед полною благочестивого умиления фрескою — Распятие. Кажется, из уст всех этих поклоняющихся висящему на кресте богу святых вылетают молитвы и как фимиам возносятся к небу. Но любимым моим местом в то время был Кармине, где я много раз ходил изучать фрески Мазаччо, этого слишком рано умершего гения, который впервые откинул условные формы и внес жизненную правду в область христианского творчества. Нигде, как во Флоренции, так ясно не раскрывается христианское искусство во всех основных своих мотивах, в его возвышенной чистоте, полной глубокого внутреннего содержания...”

Во Флоренции у Чичерина завелись интересные знакомства. Польский эмигрант Л. Воловский, известный

экономист и близкий Чичерину по духу умеренно-либеральный политик, дал ему в Париже рекомендательное письмо к флорентийскому профессору Корриди (*“милейшему итальянцу, благодушному, приветливому, образованному”*), и тот провел Чичерина в знаменитый “Научно-литературный кабинет Вьессё”, работавший тогда в Палаццо Буондельмонти на площади Санта Тринита. Корриди познакомил его и с хозяином — Джованни Пьетро Вьессё, тогда уже стариком, продолжавшим, однако, держать руку на пульсе флорентийской и общеталланской политической жизни.

Как известно, со второй половины 1858 г. вся Италия находилась в сильном возбуждении по поводу наметившегося союза императорской Франции и Сардинского королевства. В июле Наполеон III и пьемонтский премьер Кавур встретились на водах в Пломбьере: там был решен вопрос о совместных действиях против Австро-Венгрии (Франции, за ее поддержку, были обещаны Савойя и Ницца), а заодно и о браке одного из двоюродных братьев Наполеона с дочерью сардинского короля. Важные события происходили и в Великом герцогстве тосканском. Весной 1859 г. народное движение пыталось побудить Великого герцога Леопольдо II разорвать отношения с австрийским императором Фердинандом II и союзным с ним папским престолом и принять участие в войне с Австрией на стороне Сардинского королевства.

Чичерин потом вспоминал о горячих политических спорах “у старика Вьессё” в 1859–1860 гг.:



Палаццо Буондельмонте на площади Санта Тринита,
где в 1850–1860-гг. находился “Кабинет Вьессё”.

“Это была для Италии важнейшая минута. Уже приближался час ее освобождения... Австрия вооружалась, и Пьемонт, со своей стороны, готовился к борьбе в надежде на опору Франции. Все ждали, что с минуты на минуту вспыхнет война. Между итальянскими патриотами, собиравшимися у Вьессё, шли оживленные разговоры. Все взоры устремлены были на Турин...”



Мемориальная доска Джованни-Пьетро Вьессё
на фасаде Палаццо Буондельмонти.

Вернулся в Турин и Чичерин:

“В Турин я приехал в самую роковую минуту. Австрия первая объявила войну и двинула свои войска в надежде нанести решительный удар прежде, нежели приспеют французы...”

...В следующий раз Б. Н. Чичерин был во Флоренции ранней осенью 1859 г., на пике национального освободительного движения, вынудившего Леопольдо II бежать в Австрию и отречься от тосканского престола:

“Я съездил на несколько дней во Флоренцию, чтобы поближе посмотреть на это изумительное самообла-

дание недавно освобожденного народа, предоставленного самому себе при самых трудных обстоятельствах. Я нашел своих тамошних знакомых исполненными надежд и готовыми постоять за себя. Самые умеренные увлекались общим движением. Во главе стоял человек с железною волею, который направлял все. И как характеристическая черта изящного населения, эта политическая решимость украшалась цветами поэзии. Флоренция была полна патриотических песен с грациозными оборотами, с звучными стихами, какие умеют сочинять только итальянцы...

203

Как известно, в марте 1860 г. Флоренция была присоединена к Сардинскому королевству, которое в 1861 г. было преобразовано в Королевство Италия. В 1865 г. из Турина во Флоренцию была перенесена столица объединенной Италии, а Палаццо Питти стал королевской резиденцией. После присоединения к королевству Рима в 1870 г. столица Италии переехала в Вечный город.

Подводя итоги своего первого длительного пребывания за границей, Б. Н. Чичерин потом писал:

“Я собственными глазами видел высшее, что произвело человечество, в науке, в искусстве, в государственной и общественной жизни. И я не мог не убедиться, что все это бесконечно превосходило то, что я оставил в своем отечестве. Это не был своеобразный, отмеченный особою печатью мир, противоположный России, как уверяли славянофилы. Нет, в противоположность

однообразной русской жизни, вылитой в один тип, где на монотонном сером фоне не затронутой просвещением массы и повального общественного раболепства кой-где мелькали огоньки мысли и просвещения, я находил тут изумительное богатство идей и форм; я видел разные народы, каждый со своим особенным характером и стремлениями, которые, не отрекаясь от себя, но при постоянном взаимодействии с другими, совокупными усилиями вырабатывали плоды общей цивилизации. Еще менее я мог заметить признаки мира разлагающегося. Напротив, рядом с отживающими формами я видел зарождение новых, свежих сил, исполненных веры в будущее. Эти силы были еще неустроенны; впереди предстояло им еще много борьбы, усилий, может быть, временно попятных шагов и разочарований. Но цель была намечена, и веющее повсюду могучее дыхание мысли и свободы обеспечивало успех. Глядя на Европу, невозможно было сомневаться в прогрессивном движении человечества...

Еще в конце 1850-х гг., через людей, близких к императорской семье, Чичерину поступали предварительные предложения войти в группу учителей наследника русского престола, великого князя Николая Александровича. Летом 1862 г. главный наставник цесаревича граф Сергей Григорьевич Строганов сделал Чичерину официальное предложение: ему предстояло прочесть великому князю курс “государственного права”. Чичерин дал свое согласие:

“При скудости наших ученых сил, я не считал возможным отказаться и отвечал графу Строганову, что, несмотря на некоторые опасения за достаточную свою подготовку, я постараюсь сделать, что могу”.

А весной 1864 г. Чичерин получил от графа Строганова известие о том, что цесаревич отправляется в большое заграничное путешествие:

205

“Он спрашивал, согласен ли я их сопровождать, прибавляя, что наследник очень этого желает, и сам он особенно дорожит моим содействием. Я не имел ни малейшей причины отказываться и охотно дал свое согласие...”

Поездка цесаревича в Европу преследовала различные цели: выполнение врачебных рекомендаций о летних морских купаниях в Голландии и зимнем отдыхе в Италии, представление родственным царствующим домам Европы и, наконец, приискание наследнику невесты среди европейских принцесс; на эту роль старшие члены императорского дома Романовых ранее присмотрели датскую принцессу Дагмару, дочь короля Христиана IX и королевы Луизы.

В середине июня 1864 г. цесаревич выехал из Царского Села по железной дороге. Он посетил города Германии, был в Голландии, Дании, где в замке Фреденсбург его встречала вся королевская семья, среди которой находилась и шестнадцатилетняя принцесса Дагмара. Еще в 1851 г. императрица Александра Федоровна, встретившись с тогда наследной датской принцессой Луизой, обратила внимание на ее четырехлетнюю дочь

Дагмару. Прелестный ребенок до того очаровал русскую царицу, что, любуясь им, она сказала тогда матери: *“Эту вы должны приберечь для нас”*, имея в виду своего внука, семилетнего Николая Александровича. Вскоре молодые получили согласие родителей на помолвку, о которой было официально объявлено. Александр II отвез императрицу с младшими детьми в Ниццу, где, по рекомендации врачей, Ее Величество должна была провести зиму.

Местом же пребывания наследника была окончательно назначена Флоренция, в надежде, что в умеренном климате Тосканы укрепятся его силы. После нового посещения городов Германии русская делегация 16 октября 1864 г. прибыла в австрийский Инсбрук. Еще на австрийской границе в Куфштейне русского наследника приветствовал представитель императора Франца-Иосифа генерал граф Фестетич. Переночевав в Инсбруке, Наследник со свитой, на почтовых лошадях проехал через перевал Бреннер в Италию и, проведя ночь в Больцано, сел в Вероне на железнодорожный поезд, который привез его в Венецию вечером 17 октября.

Именно тогда, в Венеции, остро проявила себя болезнь, оказавшаяся роковой для великого князя Николая Александровича, а возможно, и для последующей русской истории. Когда-то, упав с лошади на скачках в Царском Селе, наследник больно ушиб спину. Врачи и тогда, и впоследствии недооценили опасность развития болезни. Между тем возникшая опухоль постепенно за-

тронула спинной мозг. Б. Н. Чичерин, связывавший со своим августейшим воспитанником перспективу дальнейшего просвещенного курса России, впоследствии напишет:

“Цесаревичу очень понравилась Венеция, однако болезнь давала о себе знать... Бедному юноше не суждено было вспоминать очаровательную Венецию на берегах Невы. Здесь в первый раз появились признаки той болезни, которая должна была свести его в могилу. Он почувствовал сильную усталость и в последние дни уже с видимо ослабевшим интересом осматривал картины. Мы приписывали это всем предшествующим волнениям и не придавали этому особенного значения, тем более что доктор был совершенно спокоен...”

207

24 октября 1864 г. цесаревич со свитой выехал из Венеции поездом. В Милане он посетил командовавшего местною бригадою 20-летнего итальянского наследного принца Умберто (будущего короля Умберто I). За обедом, данном итальянским наследником — русскому, Николай Александрович, интересуясь конституцией Италии, а также устройством в ней судов (вводимые Александром II в России Судебные уставы были частично заимствованы из Сардинского кодекса) задал итальянскому принцу несколько вопросов, от которых тот долго уклонялся, а потом наконец признался: *“Вы меня спрашиваете о вещах, о которых я не имею ни малейшего понятия. У вас в стране монархической государи обязаны знать законы и учреждения страны, у нас — это дело палат...”*

В Турине русского наследника встретил король Италии Виктор Эммануил II. После обеда цесаревичу были представлены присутствующие, и он поразил всех разумом и тактом своих речей. Тогдашний итальянский министр-президент генерал А. Ламармора до того был восхищен наследником, что сказал находящемуся по близости Чичерину:

“Надо отдать справедливость великому князю. Этот молодой человек — само совершенство. Как вы должны гордиться им!”

В Генуе на вокзале встретили цесаревича в полной парадной форме контр-адмирал С. С. Лесовский и командиры трех судов его эскадры: флагманского фрегата “Александр Невский”, корвета “Витязь” и клипера “Алмаз”. Незадолго до этого эскадра Лесовского побывала у восточного побережья американских Соединенных Штатов для поддержки правительства северян Авраама Линкольна и недопущения вмешательства Великобритании и Франции в военный конфликт на стороне южных штатов. Через некоторое время цесаревич отправился в Ниццу на “Александре Невском”, а его свита последовала туда за ним сухим путем на почтовых каретах по берегу живописной Ривьеры.

Государь Александр II в то время уже покинул Ниццу. Привезя туда императрицу и устроив ее, он пробыл в этом городе всего несколько дней, приняв визит императора французов, нарочно приезжавшего из Парижа,

чтобы приветствовать русских царственных гостей на земле Франции.

Императрица Мария Александровна нашла любимца-сына похудевшим и побледневшим еще более прежнего; но он был оживлен, разговорчив, весел, казался вполне счастливым и не переставал думать и говорить о невесте, так что, расставаясь с императрицей после нескольких дней, проведенных в Ницце, он не внушал никаких серьезных опасений по поводу состояния своего здоровья. В ночь с 8 на 9 ноября 1864 г. корвет “Витязь” переправил цесаревича и его спутников из Вилла-Франки в Ливорно, и к вечеру они прибыли по железной дороге во Флоренцию, где наследнику назначено было провести зимние месяцы.

209

Когда поезд остановился, Николай Александрович с трудом приподнялся, жалуясь на острую боль в спине. Чичерин и Оом накрыли его пледом и, поддерживая за руки, помогли ему выйти из вагона. Наследник тогда с трудом добрался до отведенных ему апартаментов в “Albergo Italia” (“Hôtel d’Italie”), окна которых выходили на реку Арно. В XX в. здание “Albergo Italia” (вход был со стороны Borgo Ognissanti) было соединено с другой гостиницей “Hotel De la Ville” — бывшим дворцом Каролины Бонапарт-Мюрат, сестры Наполеона и супруги его маршала, “короля Неаполя” Йоахима Мюрата. В этом дворце она и скончалась в 1839 г. и была похоронена в соседней церкви Ognissanti. Не так давно единый гостиничный комплекс по названием “The Westin Exelsior” был вновь отреставрирован.

На другой день наследник-цесаревич имел еще силы поехать осмотреть картинную галерею в Palazzo Pitti — но это был его первый и последний выезд во Флоренции. На третий день он слег, жалуясь на ту же боль в спине, на которой появилась краснота с небольшою опухолью. Приглашенный на консультацию итальянский врач профессор Бурчи, предполагая нарыв в спинных мускулах, приложил к спине больного шпанскую мушку, после которой исчезли и опухоль и краснота, что еще более утвердило доктора Шестова в его заблуждении, что болезнь цесаревича не что иное, как припадок ревматизма, последствие схваченной на море простуды, и не представляет никакой опасности. Боли, правда, несколько уменьшились, но цесаревич до того опасался возвращения мучительных страданий, что держался согнутым, не решаясь выпрямиться. Во все шесть недель, проведенных во Флоренции, он уже не выезжал из дома. Развлечением цесаревичу служили приносившиеся ему на показ разные произведения искусства, картины и статуи русских и итальянских художников; некоторые из них были им приобретены. Он стал брать у местного профессора Фероле уроки итальянского языка, а известный акварелист Вианелли начал было писать его портрет для невесты, но не справился с этою задачей и после нескольких сеансов объявил, что не в состоянии уловить живой и проницательный взгляд цесаревича.

На фоне острого недомогания великого князя, поначалу оказалась мало замеченной болезнь Бориса Чиче-

рина, который оставил достаточно подробные записи о случившемся с ним во Флоренции:

“В самый день приезда я почувствовал себя нехорошо. Данное мне потогонное не подействовало, и на другое утро мне было еще хуже. В следующие дни болезнь шла, все возрастаая. Я слез в постель. Открылся сильнейший тиф, который осложнился опасною местною, так называемою просяною горячкою (fievre miliaire), с сыпью и судорогами. Большие месяца я пролежал в этом положении. И доктора, и мои спутники считали меня безнадежным. Тело мое превратилось в щепку; у меня сделались мучительные пролежни. Меня переворачивали с боку на бок, ибо сам я поворачиваться был не в состоянии. Мне постоянно клали лед на голову и каждый час давали бульон для поддержания упадающих сил. За все это время я ни единой минуты не смыкал глаз, а между тем, оставался в сознании, хотя временами довольно смутном. Была даже критическая минута, в которой я метался в бреду; об этом мне рассказывали после. Особенно мучительны были долгие ночи, когда все спало кругом и не слышно было ни малейшего шороха. Час за часом считал я бой часов на колокольне по ту сторону Арно, пока, наконец, в семь часов утра я с каким-то облегченным чувством приветствовал стук молотков на мостовой, которая была повреждена недавним наводнением и чинилась перед нашей гостиницей...” (Церковь, к бою часов которой прислушивался умирающий Чичерин, — это,

очевидно, Сан Фреддиано ин Честелло, прямо напротив отеля, на другой стороне Арно — А. К.).

О случившемся с Чичериным в “Albergo Italia” оставил воспоминания и секретарь Великого князя Николая Александровича, Федор Оом:

212

“Во время пребывания нашего во Флоренции заболел очень серьезно профессор Чичерин. Рано утром меня разбудили: говорят, что зовет меня на помощь д-р Шестов, который не может справиться с Чичериным. Одеваюсь, бегу и застаю, действительно, Шестова, борющегося с Борисом Николаевичем, который, в припадке, бессознательно бьется в объятиях Шестова и страшно ругает его. Он называл его Вельзевулом, злым духом и проч. Не без труда удалось нам уложить его в постель и несколько успокоить. Шестов не понимал, что сделалось с Чичериным. Я немедленно послал к г. Зассу, старинному знакомому Чичерина, записочку, в которой просил привезти с собою местного, знакомого ему врача. Когда утром собрались завтракать, то получили грустную весть, что итальянец доктор, приглашенный Зассом, признал болезнь за миллиара, сыпную лихорадку, которая крайне опасна, заражительна и выражается судорожными припадками, происходящими от напряжения организма выделить из себя чуждый элемент, после припадков выступающий наружу в виде сыпи. Если же сыпь не выступает, то человек умирает. Припадки эти повторяются довольно часто и до тех пор, пока в организме кроется этот яд. Ввиду



Церковь Сан Фреддиано на левом берегу Арно,
напротив которой Б. Н. Чичерин жил в 1864-1865 гг.

заразительности болезни, к Чичерину были приставлены особый доктор и прислуга; соседи его по комнате перешли в другие помещения, а с ним прерваны были все сношения...”

Судя по всему, состояние Б. Н. Чичерина было действительно критическим:

214

“Я сам был уверен, что я умираю; не раз мне казалось даже, что жизнь так и утекает из меня каким-то тихим ручьем. Я подзывал приставленную ко мне сиделку, добрую старуху Терезу, и просил ее посидеть возле меня в мои последние минуты. Эти минуты не были для меня страшны. Смерти я не боялся; во мне не было того инстинктивного чувства, которое побуждает человека хвататься за жизнь, как за последнее убежище брэнного его существования. В загробную жизнь я в то время не верил, но и прошедшая моя земная жизнь не научила меня ею дорожить. Я прощался с нею, как некогда прощался с молодостью, с грустным чувством чего-то неисполненного, каких-то неудовлетворенных стремлений, несбывшихся надежд и не успевших выказаться сил. В эти долгие ночи, когда я был как бы оторван от всего земного, и погружен исключительно в себя, все мое прошлое восставало передо мною, в смутных, но вместе существенно ясных чертах. Подробности исчезали, но все заветное, все затаенное в глубине души, все, что составляет временно затмевающуюся, но в сущности, вечную и незыблемую основу человеческого существования, всплыло наружу с неудержимой силою...”

Однако случилось чудо:

“Крепкая природа взяла свое, и я, неожиданно для всех, воскрес. Пробуждение к жизни имело ни с чем не сравнимую прелесть. Физические страдания исчезли; в душе водворилось какое-то ясное, безмятежное, почти райское состояние. Всякая мелочь казалась мне полною чарующей поэзии. Когда в первый раз мне отдернули занавески и показали свет, я не мог оторвать глаз от пошлых обоев комнаты, где я лежал. На них изображались китайские беседки, окруженные гирляндами из роз с зелеными листиками. Эти цвета казались такими привлекательными, что я не мог ими налюбоваться. Когда затем открыли окно, окутав меня с головы до ног фланелью, и в комнату внезапно ворвался весь городской шум, голоса людей, стук экипажей, плеск бегущего под окнами Арно, мне казалось, что я нахожусь в каком-то волшебном мире, где раздаются райские звуки. В окно как будто влетало все обаяние бытия, мечты, надежды, радости и волнения, уносившие меня в бесконечную даль. Самые детские яства, тюрю из белого хлеба с теплым молоком, напоминавшая мне детские годы, парное ослиное молоко, которым меня поили ежедневно в семь часов утра, были для меня источником неизъяснимого наслаждения. Просыпаясь после тихого и глубокого сна, я со сладкими мечтами ждал свою ослицу и, выпивши стакан пенистого молока, говорил, что это, наверное, был тот нектар, который боги пили на Олимпе...”

Подробно описывая свое “второе рождение” во Флоренции, Чичерин отмечает, что с ним тогда случился подлинный экзистенциальный переворот. Во-первых, душа “переродившегося” Чичерина во Флоренции обратилась к религии:

216

“Одно непоколебимое отныне чувство овладело мною: сознание невозможности для бренного человека отрешиться от живого источника всякой жизни, от того, что дает ему и смысл, и бытие. Мне показалось непонятным, каким образом я мог в течение пятнадцати лет оставаться без всякой религии, и я обратился к ней с тем большим убеждением, что все предшествующее развитие моей мысли готовило меня к этому повороту. Я сказал уже, что под влиянием гегелизма и построенной на нем собственной философии истории, я верил в будущую религию духа, ведущую человека к конечному совершенству; все же существующие и существовавшие религиозные формы я считал преходящими моментами человеческого сознания, не достигшего полноты. Мои исторические исследования убедили меня, что мы в настоящее время стоим на перепутье между двумя религиозными эпохами: между христианством, которую я считал религией прошлого, и поклонением духу, в котором я видел религию будущего, еще не раскрывшуюся человеку. На этом я успокаивался, уверяя себя, что в такие переходные эпохи человеку мыслящему волею или неволею приходится оставаться без религии. Однако более зрелое размышление убедило меня, что то, что я счи-

тал преходящими моментами сознания, в действительности выражает собой вечные, неустранимые начала мирового бытия. Если дух составляет конечную форму абсолютного, то есть и форма начальная — никогда не оскудевающая всемогущая сила, источник всего сущего; есть и форма посредствующая, бесконечный разум, дающий всему закон. Христианство есть религия верховного разума, слова божьего, открывающегося в нравственном мире и полагающего нравственный закон человеку. Будучи совершенным в своей области, оно может только восполниться, а не замениться другою религиею, так же как оно само только восполнило, а не устранило ветхозаветную религию бога силы. Это убеждение созревало во мне мало-помалу, и я говорил себе, что на старости лет я обращаюсь к этим вопросам и постараюсь дать им посильное решение. Болезнь ускорила этот процесс. Я живо почувствовал, что, каково бы ни было умственное состояние современного человечества, отдельный человек не может, не отказавшись от себя, от глубочайших основ своего духовного естества, от всего, что в нем есть самого высокого и святого, оторваться от абсолютного начала всякого бытия, сознание которого запечатлено в нем неизгладимыми чертами. Я понял, что всякая религия служит живою связью между человеком и божеством, а потому человек не может и не должен от нее отрекаться, хотя бы она была несовершенна и не вполне отвечала его убеждениям. Это чувство возбудилось во мне с тем большею силою, что я вместе с тем

живо сознавал, что сам человек, своею личною волею, не в состоянии себя обновить. Нужна высшая духовная власть, которая, проникая в тайны человеческого сердца, сказала бы ему: «прощаются тебе грехи твои» — и благословила бы его на новый путь. И во мне возгорелось страстное желание приобщиться вновь к христианству. Как только мне стало несколько лучше, я попросил к себе находившегося на фрегате священника, который навещал меня во время болезни, и после многолетнего перерыва исповедовался и причастился...”

В то же время, во время тяжелейшей болезни во флорентийской гостинице в Чичерине родилось и другое убеждение:

“В эти долгие, мучительные ночи, когда перед моим умственным взором проходила вся моя прошлая жизнь: мое счастливое детство, обуреваемая страстями молодость, — я живо почувствовал, что для меня нет и не может быть счастья вне семейной среды. До тех пор я об этом не думал; но теперь вся пустота одинокого существования представилась мне с такою же поразительной ясностью, как и горькая доля человека, отрешившегося от бога. Я понял, что для нормального человеческого существования необходимо основание собственного семейного очага. Этим мечтам суждено было сбыться...”

Действительно, после нескольких недель борьбы с тяжелейшей лихорадкой, Чичерин выздоровел и решил съездить из Флоренции в Рим. Там он встретился со своим бывшим учеником, выпускником юридического

факультета Петром Капнистом, прикомандированным к русской миссии в Риме и Ватикане, и его двадцатилетней сестрой Сашей. На Александре Алексеевне Капнист, дочери полтавского профессора, бывшего декабриста и приятеля Пушкина, Б. Н. Чичерин вскоре женился.

Об этом “счастливом повороте” в судьбе Чичерина написал потом в своих записках тот же Федор Оом. Вспоминая о тяжелой болезни Чичерина во Флоренции, он отметил:

219

“Болезнь эта служила Провидению путем к счастью Чичерина. После нашего отъезда в Ниццу он некоторое время пробыл еще во Флоренции, а потом поехал в Рим и там познакомился с сестрою состоявшего при нашей миссии молодого, талантливого Капниста, которой суждено было сделаться женою Бориса Николаевича. Не будь этой болезни, Чичерин и не подумал бы разлучаться с нами и ехать в Рим. Неисповедимы пути Твои, Господи!”

Что касается великого князя Николая Александровича, то, увы, ему оставалось жить всего несколько месяцев. 12 апреля 1865 г. он скончался в Ницце от болезни, которую врачи, крайне запоздало, опознали как “цереброспинальный туберкулезный менингит”. Место наследника русского престола занял его младший брат, Великий князь Александр Александрович, женившийся спустя некоторое время на несостоявшейся невесте брата — принцессе Дагмар и ставший после убийства отца в марте 1881 г. российским императором Алексан-

дром III. Своему первенцу, родившемуся в 1867 г., Александр Александрович и принявшая православие великая княгиня Мария Федоровна дали имя Николай, в память об умершем брате и женихе. В 1894 г. он взойдет на русский трон как Император Всероссийский Николай II — последний из царствовавших Романовых.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

221

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (11.11.1821, Москва — 9.02.1881, Петербург) — писатель, публицист. В одном из писем поэту Я. П. Полонскому Достоевский как-то признался, что “с самого детства мечтал побывать в Италии”:

“В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в «Мертвый дом». Неужели и теперь не удастся поехать?..”

Ф. М. Достоевский первый раз приехал во Флоренцию летом 1862 г. вместе с литератором Николаем Николаевичем Страховым. Они остановились тогда в пансионе “Швейцария” на углу улиц Торнабуони и Винья-Нуова (прямо напротив палаццо Строцци) в комнате №20 на третьем этаже. Пансион “Швейцария” (сегодня здесь находится скромный “Hôtel Albergotto”) известен тем, что

здесь останавливались многие знаменитые иностранцы; в частности, незадолго до Достоевского и Страхова здесь проживала Дж. Элиот.

222

В тот приезд во Флоренцию Достоевский записался в так называемый “Кабинет Вьессё” — флорентийскую библиотеку, основанную Джованни Вьессё, итальянцем, много в своей жизни путешествовавшим, в том числе и в Россию. В то время “Кабинет Вьессё”, в котором всегда имелись относительно свежие газеты и журналы из России, располагался в палаццо Буондельмонте на площади Санта-Тринита, всего в нескольких минутах ходьбы от пансиона “Швейцария”. На фасаде дворца сегодня можно увидеть мемориальную доску в память основателя библиотеки.

Н. Н. Страхов оставил мемуары о том посещении Флоренции в 1862 г.:

“Во Флоренции мы прожили неделю в скромной гостинице... Кроме прогулок по улицам, здесь мы занимались еще чтением. Тогда только что вышел роман В. Гюго «Les Misérables» <“Отверженные”>, и Федор Михайлович покупал его том за томом... Наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Федор Михайлович и находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку... Тут мы не делали ничего такого, что делают туристы... Однажды мы пошли вместе, но так как мы не составили никакого определенного плана и нисколько не готовились к осмотру, то Федор Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется, не добравшись даже до Венеры Медицейской...



Здание бывшего пансиона “Швейцария” на углу
Via Tornabuoni и Via della Vigna Nuova (современное фото).
Здесь летом 1862 г. жили Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов.



Дом на углу Via Guicciardini и Via dei Velluti.
Здесь Ф. М. Достоевский в 1868–1869 гг. писал роман “Идиот”
(современное фото).

Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина...

Позднее и сам Федор Михайлович вспоминал те дни. В письме Н. Н. Страхову от 24 декабря 1868 г. из Флоренции он писал:

“А помните, как мы с Вами сживали по вечерам за бутылками во Флоренции (причем Вы были каждый раз запасливее меня: Вы готовили себе 2 бутылки на вечер, а я только одну и, выпив свою, добирался до Вашей, чем, конечно, не хвалюсь)? Но все-таки те 5 дней во Флоренции мы провели недурно...”

225

Вторично Ф. М. Достоевский приехал во Флоренцию в конце 1868 г. вместе с женой Анной Григорьевной (урожденной Сниткиной) для завершения романа “Идиот”, на который у него был заключен договор с издателем “Русского вестника” М. Н. Катковым. Прожив до этого некоторое время в Швейцарии (там умерла маленькая дочь Достоевских — Софья), а затем два месяца в Милане, они решили перебраться на зиму во Флоренцию, которую Федор Михайлович ценил и за наличие русских газет, и за (как ему тогда казалось) относительно дешевизну.

Достоевские приехали во Флоренцию в самом конце ноября 1868 г. и остановились на левом берегу Арно по адресу: Via Guicciardini, №8, третий этаж. Дом, известный во Флоренции как “Casa Fabriani”, находится почти напротив Palazzo Pitti, однако окна комнаты, где жили Достоевские, выходили на узкую боковую улочку Via dei



Мемориальная доска на фасаде дома,
где Ф. М. Достоевский писал роман “Идиот”.

Velluti. На лицевом фасаде дома теперь имеется мемориальная доска с надписью:

“Здесь на рубеже 1868 и 1869 годов Федор Михайлович Достоевский завершил роман «Идиот»”.

Ф. М. Достоевский писал накануне нового года А. Майкову:

“Флоренция хороша, но уж очень мокра. Но розы до сих пор цветут в саду Boboli на открытом воздухе. А какие драгоценности в галереях! Боже, я просмотрел «Мадонну в креслах» в 63-м году, смотрел неделю и только теперь увидел. Но и кроме нее сколько божественного. Но все оставил до окончания романа. Теперь закупорился...”

Между тем с окончанием четвертой, последней части романа Достоевский, как он выражался, “застрял” и вовремя переслать текст для декабрьского номера “Русского вестника”, как было договорено с Катковым, не успел. Потом, рассчитав, что сможет работать практически без перерывов, он все-таки договорился с издателем, что пришлет завершающую часть романа к 15 января и тогда редакция может немного попридержать декабрьский номер. Однако не получилось и этого: два эпилептических припадков прервали работу, и Катков, не дождавшись текста, выпустил-таки и разослал декабрьский номер. Заключительная часть “Идиота” будет разослана подписчикам позже, отдельным приложением.

227

В начале февраля Достоевский писал С. А. Ивановой:

“Здесь во Флоренции климат, может быть, еще хуже для меня, чем в Милане и в Веве; падучая чаще. Два припадков сряду, в расстоянии 6 дней один от другого... Кроме того, во Флоренции слишком уж много бывает дождя; но зато когда солнце — это почти что рай. Ничего представить нельзя лучше впечатления этого неба, воздуха и света. Две недели было холоду, небольшого, но по подлому, низкому устройству здешних квартир мы мерзли эти две недели, как мыши в подполье... Будущее лежит загадкой: на что решусь — не знаю. Решиться же надо. Через три месяца — два года, как мы за границей. По-моему, это хуже, чем ссылка в Сибирь. Я говорю серьезно и без преувеличения. Я не понимаю русских за границей. Если здесь есть такое солнце и небо и такие — действительно уж

чудеса искусства, неслыханного и невообразимого, буквально говоря, как здесь во Флоренции, то в Сибири, когда я вышел из каторги, были другие преимущества, которых здесь нет, а главное — русские и родина, без чего я жить не могу. Когда-нибудь, может быть, испытаете сами и узнаете, что я не преувеличиваю для красного словца”.

Письмо С. А. Ивановой, 6 февраля 1869.

Флоренция 1868–1869 гг. сильно отличалась от той, которую Достоевский видел шестью годами раньше, — сюда теперь была перенесена столица (как оказалось, всего на несколько лет) Итальянского королевства. Достоевский писал Страхову:

“Теперь Флоренция несколько шумнее и пестрее, давка на улицах страшная. Много народу привалило как в столицу; жить гораздо дороже, чем прежде, но сравнительно с Петербургом все-таки сильно дешевле...”

А. Г. Достоевская вспоминала:

“Таким образом, в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять повлияла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи, дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в восхищение от Cathedrale, церкви Santa Maria del fiore и от небольшой капеллы del Battistero, в которой обычно крестят младенцев. Бронзовые двери Battistero (особенно Porta del Paradiso <врата рая — ит.>), работы знаменитого Ghiberti, очаровали Федора Михайловича, и

он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассматривал их. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно — в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться. Часто мы с мужем бывали в Palazzo Pitti, и он приходил в восторг от картины Рафаэля «*Madonna della Sedia*». Другая картина того же художника «*S. Giovan Battista nel deserto*» (Иоанн Креститель в пустыне), находящаяся в галерее Uffizi, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, и он всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую *Venere de Medici* (Венеру Медицейскую) работы знаменитого греческого скульптора Cleomene (Клеомена). Эту статую мой муж признавал гениальным произведением... Мне предписано было доктором много гулять, и мы каждый день ходили с Федором Михайловичем в Giardino Boboli (сад, окружающий дворец Питти), где, несмотря на январь, цвели розы. Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о нашем будущем счастье».

229

Узнав о новой беременности жены, Федор Михайлович решил спрятать от нее только что вышедший том «Войны и мира», где княгиня Болконская умирает во время родов, и «нашел» книгу только в Дрездене, после рождения дочери.

В 1868–1869 гг. Достоевский снова становится читателем «Кабинета Вьессё» — об этом есть упоминания в дневнике Анны Григорьевны:

“Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами. И мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда. Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которыми он свободно владел...”

230

В те месяцы в Италии Достоевскому приходит идея нового большого романа, который он считал своим самым великим замыслом. В письме А. Майкову он писал:

“Здесь же у меня на уме теперь 1) огромный роман, название ему «Атеизм» (ради Бога, между нами), но, прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога... Потеря веры в Бога действует на него колоссально... Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубины хлыстовщины — и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога. (Ради Бога, не говорите никому; а для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть — весь выскажусь.) Ах, друг мой! Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализ-



Палаццо Буондельмонте на площади Санта-Тринита (современное фото). Здесь располагался “Кабинет Вьессё” — библиотека, которую посещал Ф. М. Достоевский.

ме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего! Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает”.

В какой-то момент искушение немедленно выразить свои наболевшие мысли о католицизме, атеизме и православной миссии России стало настолько сильным, что Достоевский решает изложить их в одной из завершающих сцен “Идиота” и вкладывает их в уста князя Мышкина:

“Католичество — все равно что вера нехристианская! — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря перед собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. <...> Нехристианская вера, во-первых! — в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь, — это во-первых, а во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! Да! таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило... Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит: «Non

possumus!» <“Не можем!” — лат. > По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм прежде всего с них самих начался: могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и бессилия духовного! Атеизм! <... > Ведь и социализм — порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилем! Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort <братство или смерть — фр. >, два миллиона голов!» По делам их вы узнаете их — это сказано! И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен от-

пор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!”

234

Во Флоренции Достоевский мучается денежными проблемами. Средств, высылаемых Катковым, не хватает. В России ждут кредиторы и перспектива долговой тюрьмы — собственно, спасаясь от этого, Достоевский и покинул Россию в 1867 г.

В связи с приближающимися родами Анны Григорьевны было решено переехать в какой-нибудь европейский город (выбор был между Прагой и Дрезденом), где бы говорили по-французски или по-немецки, для того чтобы Достоевские могли свободно общаться с врачами. В начале мая 1869 г., рассчитывая на отъезд из Флоренции в самое ближайшее время, Достоевские (в то время к ним уже присоединилась мать Анны Григорьевны) отказались от комнаты на Via Guicciardini и переселились в маленькую комнатку в доме на площади Нового рынка (“Mercato Nuovo”). Достоевский позднее уже из Дрездена так описывал в одном из писем их новое жилище:

“Окна наши выходили на рынок под портиками, с прекрасными гранитными колоннами и аркадами и с городским фонтаном в виде исполинского бронзового кабана, из пасти которого бьет вода (классическое произведение, работы необыкновенной); но представьте себе, что вся эта громадная масса камня и аркад, занимавшая почти весь рынок, накаливалась каждый день, как печка в бане (буквально), и в этом-то воздухе мы и жили... Всего боль-



Лоджия Нового рынка (фото конца XIX в.).

ше мне было жаль мою бедную Аню. Она, бедная, была тогда на седьмом и на восьмом месяце; ей было ужасно тяжело в этой жаре. Кроме того, город всю ночь не спит и ужасно много поет песен. Окна у нас ночью, конечно, отворенные, а к утру, к пяти часам, кричит и стучит базар, кричат ослы — так что нет возможности заснуть...”

В те дни Достоевский ежедневно (иногда по несколько раз на дню) ходил на почтамт, но ожидаемые от Каткова деньги запаздывали. О настроении Достоевского (в тесной комнатке у рынка им пришлось втроем прожить почти все лето) свидетельствуют письма:

“Жара во Флоренции наступает ужасная, город душный и раскаленный, нервы у нас всех расстроены, — что вредит особенно жене... Надоела мне эта Флоренция, а теперь, от тесноты и от жару, даже и за работу сесть нельзя. Вообще тоска страшная. А пуще — от Европы; на все здесь смотрю как зверь. Решил во что бы то ни стало воротиться к будущей весне в Петербург (как кончу роман) — хотя бы меня в долговое посадили”.

Письмо А. Н. Майкову, 27 мая 1869 г.

“Три месяца во Флоренции я потерял от жары! Что за горячий город. Доходило к 3-м часам пополудни до 34 и даже 35 реомюра в тени. По ночам 27, 28 и к утру разве, к рассвету, к 4-м часам 26. И что же, даже до последнего времени встречались на улицах англичане, французы, даже русские путешественники”.

Письмо А. Н. Майкову, 26 августа 1869 г. из Дрездена.

“Русскую баню на полке — только с этим и можно сравнить, и это день и ночь; воздух чист, — это правда, небо ясно и голубо, солнца ужасно много, — но все-таки невыносимо. Я видел собственными глазами в тени (в чрезвычайной тени и с закрытием) — тридцать пять градусов реомюра. Тридцать один, тридцать два в последние три недели было делом почти обыкновенным. По ночам природа смягчалась и давала нам двадцать шесть реомюра; ну тут отдыхали...”

237

Письмо Н. Н. Страхову, 26 августа 1869 г. из Дрездена.

“Теперь прошу Вас, милый мой друг, прибегнуть к силе Вашего воображения и представить себе, каково нам было оставаться во Флоренции июнь, июль и $\frac{1}{2}$ августа! Я никогда еще в моей жизни ничему подобному не подвергался! В гидах объявлено, что Флоренция, по положению своему, зимой — один из самых холодных городов Италии (то есть настоящей Италии, разумеется буквально — полуостров); летом же один из самых горячих пунктов всего полуострова и даже всего Средиземного моря, и только разве некоторые пункты Сицилии и Алжира могут равняться с нею постоянством, упорством и размером жара. Ну вот это-то пекло мы и вынесли на себе, как русские люди, которые все выносить способны... И представьте, в такой жаре, без капли дождя, воздух, при всей своей сухости и накаленности, был чрезвычайно легок; зелень в садах (которых во Флоренции до безобразия мало — все один камень), — зелень не увядала,



Вид на Дуомо из парка Боболи.
Слева — дворец Питти (фото конца XIX в.).

не желтела, а, напротив, казалось, еще пуще тучнела и зеленела; цветы и лимоны, казалось, только и ждали этого солнца. Но что для меня, арестованного во Флоренции обстоятельствами, было всего страннее, так это то, что шатающиеся иностранцы (а из них много народу очень богатого) наполовину остались во Флоренции и даже вновь приезжали... Я не понимал, ходя по городу и встречая нарядных англичанок и даже француженок, как можно жить добровольно в таком аде, имея деньги на выезд”.

Письмо С. А. Ивановой, 10 сентября 1869 г. из Дрездена.

Лишь в конце августа, получив наконец ожидаемые деньги, Достоевские смогли выехать из Флоренции и через Болонью, Венецию (где провели несколько дней), Триест, Вену и Прагу приехали в Дрезден.

Уже находясь в Германии, Достоевский вынужден был признать, что, несмотря на все ужасы флорентийского лета, Флоренция оказалась не таким уж плохим местом для его здоровья и способности к работе:

“Горячий, знойный и сухой воздух флорентийский был решительно целебен моему здоровью (да и Аня не жаловалась; напротив даже), главное — нервам. Даже падушая уменьшилась, и именно в самый жар; да и вообще во Флоренции припадки не имели большой силы. Теперь же я постоянно болен (может быть, с дороги). Не знаю, простудился ли я, или лихорадка моя от расстройства нервов. В три недели было уже два припадка — и оба злокачественные, тяжелые”.

Письмо С. А. Ивановой, 10 сентября 1869 г. из Дрездена.

14 сентября 1869 г. в Дрездене родилась дочь Достоевских Любовь.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

240

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН (6.04.1812, Москва — 21.01.1870, Париж) — писатель, философ, публицист, общественный деятель. Внебрачный сын богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец Герцена, возвращаясь после путешествия по Европе, взял с собою в Москву. В 1833 г. окончил Московский университет с серебряной медалью. В следующем году был арестован за участие в студенческих кружках; девять месяцев провел в тюрьме. Последующую ссылку отбывал в Перми, Вятке, Владимире, Новгороде. В 1842–1847 гг. жил в Москве; с 1847 г. — в эмиграции.

С ранних лет Герцен испытывал особый интерес к Италии: в тюремном заключении в Крутицких казар-

мах изучал итальянский язык; одновременно читал русский перевод книги “Мои темницы” итальянского литератора-патриота Сильвио Пеллико, десять лет прошедшего в австрийских тюрьмах.

По пути в ссылку в Пермь Герцен уже читал в оригинале “Божественную комедию” Данте; на одной из станций Владимирского тракта написал на “оконнице” по-итальянски два фрагмента из Данте, полагая, что терцины великого флорентийца “равно хорошо идут и к преддверию ада, и к сибирскому тракту”. В самой ссылке “Божественная комедия” очень поддерживала его. В июле 1835 г. он писал из Вятки Сазонову и Кетчеру: *“Я в Данте нашел вещь важную и дивную”*. В январе 1837 г., в день рождения архитектора Александра Витберга, в Вятке были разыграны под руководством Герцена живые картины”, в основе которых — сюжеты из Данте. Главную роль, разумеется, исполнял сам Герцен. Очевидцы говорили, что играл Герцен вдохновенно, и ему искренне аплодировали. Сам он признавался: *“Ежели когда я буду в нужде, могу идти в бродячие актеры”*.

241

Свою невесту (впоследствии жену) — Наталью Александровну Захарьину — Герцен часто называл в письмах “Моя Беатриче”, поощрял ее к изучению итальянского языка. Вместе они мечтали уехать в Италию.

Есть много свидетельств того, что Герцен собирался посетить Флоренцию еще во время своего первого путешествия в Италию. Тогда, в октябре 1847 г., он отправился из Парижа на Апеннины со всей семьей — матерью Луи-

зой Ивановной, женой Натальей Александровной, восьмилетним Сашей, четырехлетним Колей и трехлетней Натальей (Татой):

“В Италию, в Италию! Мне хотелось отдохнуть, хотелось моря, теплого воздуха, пышной зелени и людей — не так истасканных, не так выживших из сердца”.

242

21 сентября (н.с.) 1847 г. он писал (еще из Парижа) Т. А. Астраковой о намерении сделать Флоренцию важным пунктом путешествия:

“После первого октября мы садимся в дилижанс и едем в Шалон, там садимся на пароход и едем в Марсель, там пересаживаемся и едем в Геную — Ливорно — Флоренцию, где примемся думать о зимних квартирах”.

Позднее основными пунктами поездки было решено сделать Ниццу (где Герцен с семьей пробыли около трех недель) и Рим, но города Тосканы (Ливорно, Пиза и, разумеется, Флоренция) в планах остаются. 20 ноября Герцен писал Г. И. Ключареву из Ниццы:

“Мы едем отсюда 22-го, — если хорошо будет, т.е. не бурно море, то мы поедем на пароходе в Геную, где пробудем дней 5, оттуда в Ливорно, откуда по железной дороге через Пизу во Флоренцию — оттуда или сухим путем в Рим или морем в Чивитту-Веккию. В Риме, вероятно, останемся до июня...”

Уже в Генуе русские путешественники увидели признаки национального пробуждения итальянцев: граждане Сардинского королевства были воодушевлены реформами короля Карла-Альберта. Искреннее ликование

генуэзцев, ощущавших изменения как подлинное “воскресение”, напомнило Герцену пасхальные праздники в далекой России:

“Кому из вас не случалось проезжать по селу в светлый праздник, — все нарядно, радостно; мужичок выпил стаканчик и рассеял думу об оброке, баба надела новый сарафан и забыла о барщине, парни гуляют, как будто нет рекрутства, девки не думают о насильственном браке, дети играют в чистых рубашонках... Представьте же себе не село, а целую страну в торжественном наряде — страну, празднующую светлое воскресение свое, и представьте себе, что эту страну называют Италией!”

243

Общее чувство обновления захватило и самого Герцена:

“И только что я поставил ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергическая, вливающая силу и здоровье. Я нравственно выздоровел, переступив границу Франции, я обязан Италии обновлением веры в свои силы и в силы других, многие упования снова воскресли в душе, я увидел одушевленные лица, слезы, я услышал горячие слова. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую торжественную минуту ее жизни, исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальянскому — дворцу у хижине, нарядной женщине и нищему в лохмотьях...”

В Генуе, однако, Герцен опять поменял планы: его неудержимо манил Рим, где тоже нарастало революционное брожение. Поэтому из Ливорно он лишь на несколь-

ко часов поездом съездил в Пизу и продлил пароходный билет до Чивитта-Веккья, откуда почтовой каретой приехал в Рим. Другим он сообщал, что пробудет там до середины апреля 1848 г., откуда непременно поедет-таки во Флоренцию.

244

Впрочем, короткая остановка в главном порту Великого герцогства Тосканского — Ливорно — очень запомнилась Герцену: там он впервые в Италии увидел “чивику” — дружину народного ополчения:

“Я вообще не люблю ни орудий, ни солдат, но если уж есть необходимость в вооруженной силе, то внутренняя стража, составленная из граждан и не одетая в шутовской мундир, всего менее оскорбляет. По счастью, тосканская чивика еще не успела нашить себе мундиры, люди, одетые кто во что попало, в бархатных и суконных куртках, в блузах всех цветов, в пальто всех покровов, с круглыми шляпами и в фуражках, с перевязью через плечо и с ружьем, занимали все караулы. Вы не можете представить себе, до какой степени это отсутствие мундира облагораживает часового. Мундир отрывает человека от людей, для солдата существует полк, знамя, военная честь, а не честь гражданина, не город, не семья; это человек иного мира, его ремесло — убивать по назначению начальства, и потому он одет иначе... Мундир — риза, облачение; солдат не мирянин, он жрец смерти, человеческих жертвоприношений. Надевать мундир на Национальную гвардию — нелепость или желание из нее сделать такое же покорное орудие в руках власти,

как армии. Цель эта во Франции достигнута. Глядя на чивуку в Ливорно, признаюсь, я не мог удержаться, чтоб не подумать, что было бы с нашим другом Сергей Сергеевичем Скалозубом, если б он вдруг — не в Ливорно, а на Литейной или на Морской — увидел таких часовых..."

Спустя несколько дней после отплытия Герцена в Чивитта-Веккья, в Ливорно начались настоящие народные волнения во главе с литератором и историком Франческо Гверацци. Противостояние революционного Ливорно и более умеренной Флоренции, оплота Великого герцога Тосканского Леопольда II, будет и далее нарастать, апогеем чего станет осада и разгром непокорного Ливорно союзными Леопольду австрийскими войсками в мае 1849 г.

245

Можно предположить, что Рим притягивал Герцена в силу еще одного обстоятельства. Для своего обширного семейства ему счастливым образом удалось снять в "Вечном городе" апартаменты в доме по адресу: Corso, №18. Именно здесь в конце 1780-х гг. в течение нескольких месяцев жил великий Иоганн Вольфганг фон Гете — кумир молодого Герцена, ставший даже персонажем некоторых его произведений.

Однако и в революционном Риме мысль о скором путешествии в Тоскану не оставляла Герцена. Узнав от московских друзей о болезнях в семье его старинного друга, профессора-историка Т. Н. Грановского и о намерении последнего ехать с женой лечиться в Европу, Герцен настойчиво просит В. П. Боткина (большого по-

клонника Италии) повлиять на Грановского, чтобы тот непременно приезжал в Тоскану — Пизу, Лукку, Флоренцию:

246

“Итак, Грановский собирается с Елизаветой Богдановой... Но зачем же в Эмс? — вот чего я не понимаю... Скажи, пожалуйста, Грановскому, что может ли быть что-нибудь полезнее и лучше, как ехать весной во Флоренцию и провести осень в Пизе. Мы провели бы тогда время вместе, а тут и bagni di Lucca, и климат не немецкий... Во Флоренции я приготовил бы Грановским всё...”

В конце января 1848 г. Герцен написал и самому Грановскому:

“Жду с нетерпением твоего приезда, — я в апреле перееду во Флоренцию... Кабы можно было устроить небольшую прогулку тебе в Италию — поверь, Грановский, что одна и есть в Европе страна, которая может освежить, успокоить, заставить пролить слезу наслаждения, а не негодованья и грусти, — это Италия, и то в известных пределах... Я не знаю, отчего у меня в памяти какими-то светлыми точками, дорогими для меня, остались Генуя, Ливорно, Пиза. От Рима я ждал больше, об нем в три тысячи лет так накричали; но Италия не в одном Риме, она в каждом городишке на свой лад — и, черт знает что такое, никакого комфорта, никаких образованных удобств, грязь, нечистота..., а хорошо, удивительно хорошо. Грановский, ведь мы, брат, не знали Италии, мы в ней столько же ошибались по минусу, сколько во Франции по плюсу. Мы все-таки судили всегда по форме, а не по содержанию...”

Однако планам совместной с Грановским поездки в Тоскану не суждено было сбыться: как писал Герцен в начале марта 1848 г. П.В. Анненкову, “революции меняют ежедневно вид Европы и мои планы путешествия”. После почти месячного пребывания в революционном Неаполе Герцену захотелось ехать дальше на юг, в Палермо на Сицилии, а уже оттуда возвратиться во Францию. В том же письме Анненкову он высказывает мечту о будущей “федерации итальянских республик”:

“Итальянцы ужасно близки к республике, и тосканцы с римлянами впереди. Здесь республика будет иная, никакой централизации... Рим — нравственный узел, но не столица, он даже по отсутствию торговли, жизненности, по положению не может быть столицей. Генуя, Палермо, Болонья, Неаполь, Ливорно и Флоренция — великие граждане, но у них слишком много местничества, им надобно почетного старейшину, и этот старейшина — Рим...”

Поездка в революционную Сицилию, однако, тоже не состоялась. Из Неаполя Герцен вернулся в Рим, откуда снова думал ехать во Флоренцию и далее в Германию. Еще 25 апреля 1848 г. он писал Г. И. Ключареву о поездке в столицу Тосканы как о деле решенном:

“Послезавтра оставляю я Рим и еду во Флоренцию, откуда собираюсь в Турин... Жду бездну новых наслаждений во Флоренции, но в жары советуют приблизиться к Альпам: на нас, северных жителей, жары лета действуют, говорят, плохо...”

Спустя четыре дня Герцен сообщает тому же адресату из Рима:

“Сейчас маменька садится на пароход, а я с детьми на паровоз и едем в две разные стороны: она прямо в Марсель — а я поезжу по Тоскане...”

248

Однако в самый последний момент известия о революции во Франции заставили Герцена в очередной раз изменить планы и устремиться кратчайшим путем в Париж — через Ливорно, Геную и Марсель.

А. И. Герцен впервые приехал во Флоренцию только осенью 1863 г. Тогда он выехал из Лондона на континент для выяснения возможностей перевода сюда “Вольной русской типографии” и редакции “Колокола” (среди вариантов нового центра революционной эмиграции рассматривались также Милан, Лугано, Брюссель). В двадцатых числах сентября он планировал встретиться во Флоренции с дочерьми — восемнадцатилетней Натальей (Татой) и двенадцатилетней Ольгой, которые жили тогда на о. Капри близ Неаполя вместе со своей воспитательницей, немецкой писательницей Мальвидой Мейзенбург.

“Итак, извольте собираться во Флоренцию. Мальвида писала о загородных домиках... — возьмите что-нибудь такое. Арно хорошо — но улица рядом будет скучна, я знакомых боюсь по-прежнему...”

Письмо дочерям 17 августа 1863 г. из Лондона.

К этому письму Герцен сделал приписку на немецком языке для М. Мейзенбург:

“Если бы можно было найти небольшую дачу или дом немного подальше, это было бы превосходно. Это будет началом серьёзной жизни — после туристских каникул...”

Ближе к отъезду из Лондона письма Герцена дочерям наполняются все большим нетерпением скорой встречи в Италии. 24 августа 1863 г. он писал старшей дочери из Лондона:

249

“Милая Тата, время идет, и мне уже кажется, что я иногда слышу ваши голоса. Вижу твою сдобную фигуру и козлиную — Ольги... Что ты мне показываешь свои картины, а Ольга — свой язык... Но главный вопрос не решен — о переезде с типографией — и не может быть решён иначе как мною на месте. Мы помышляем ехать не просто от скуки (вообще я не знаю, что такое скука), а думаем: 1-е — что для вас на континенте гораздо лучше, и 2-е — при здешних ценах содержать на свой счет типографию (ничего не продается теперь) нельзя, или придется есть подошву с mushroom кетчупом [грибным соусом] и пить джинс с водой...”

Обстоятельства заставили, однако, перенести встречу с дочерьми в Неаполь и на более поздний срок. 22 сентября 1863 г. Герцен вместе с двадцатичетырехлетним сыном Александром выехал из Ниццы в Геную; оттуда они через Ливорно 28 сентября прибыли в Неаполь, где оставались до 13 октября, условившись с Татой и Ольгой встретиться во Флоренции. На обратном морском пути из Неаполя в Ливорно Герцен случайно встретился на





корабле с Ф.М. Достоевским, бывшим тогда в Италии вместе с А.П. Сусловой. В порту Ливорно Достоевский проводил Герцена в гостиницу и остался обедать с его семьей.

Из Ливорно Герцен с детьми ездил в Пизу и Лукку, а в первых числах ноября 1863 г. приехал во Флоренцию, где оставался до 22 ноября, поселившись в “Hotel Americain” на Via Vigna Nuova. Тогда было принято решение оставить детей во Флоренции: дочерей — для учебы под присмотром Мейзенбуг; Александра — для продолжения профессиональных занятий нейрофизиологией в качестве ассистента немецкого ученого, профессора Флорентийского университета Морица Шиффа.

В тот раз во Флоренции Герцен встречался со старыми итальянскими друзьями, знакомыми еще по революционному движению 1850-х гг., — Джузеппе Дольфи, Альберто Марио, Антонио Мордини. Находились тогда во Флоренции и некоторые русские эмигранты: географ и социолог, сотрудник “Колокола” Лев Мечников; литератор, член “Земли и Воли” Виктор Касаткин; зоолог и тоже “земледелец” Александр Стуарт; искусствовед Алексей Фрикен. 11 ноября эта небольшая “русская колония” дала обед в честь Герцена — признанного лидера русской революционной эмиграции. Сам Герцен произнес два тоста — за “Землю и Волю” и за здоровье оставшегося в Лондоне Огарева; Герцен-младший — тост в память Андрея Потебни, недавно казненного руководителя революционной организации в Польше.

На предыдущем развороте: Вид на Lungarno Corsini
и Ponte alla Carraia (фото 1870-х гг.).

С помощью русских и итальянских друзей Герцену удалось тогда наладить транспортировку изданий Вольной Русской типографии морским путем через Ливорно и Константинополь в Одессу. Флоренция понравилась Герцену: он поддержал планы детей обосноваться там надолго, но сам переезжать не стал:

“Мне кажется, что если Италия сколько-нибудь осерезнится и в самом деле поймет свою независимость, Флоренция была бы лучшим местом для нашей жизни. Посмотрим, что принесет время. При теперешней обстановке переезжать с типографией нельзя...”

253

Письмо В. Н. Кашперову 23 ноября 1863 г. из Ливорно.

Новое посещение Герценом Флоренции состоялось в начале 1867 г. Ехать из Ниццы самым коротким путем — морем — оказалось невозможно из-за сильного шторма, и 13 января, в русский Новый год, Герцен в почтовой карете, сначала в купе, а потом на банкетке рядом с кондуктором, отправился вдоль побережья в Геную:

“Мы ехали 26 часов в дилижансе. Закрывшись — на банкетке была духота до предела; открывшись — вода обливала всего. Сегодня гром, молния и шторм, даже град”.

Письмо Н.П. Огареву 15 января 1867 г.

Из Генуи (где он жил в “Hotel de la Ville”) Герцен уже поездом, через Алессандрию и Модену, добрался до Болоньи (“Hotel Brun”), а оттуда — снова поездом — выехал во Флоренцию. 18 января 1867 г. вечером он прибыл на

вокзал Santa-Maria Novella и отправился на квартиру детей, которые жили на левом берегу Арно недалеко от церкви Santa-Maria del Carmine по адресу: Via Santa Монаса, № 41, третий этаж. В написанном сразу же по приезде письме Огареву он выразил первое впечатление от встречи с детьми:

254

“Ольга несколько сложилась, умна умом и воображением, хотя ничему не учится. Тата занимается довольно, хотя собой недовольна. Саша в самом деле работает...”

Молодой французский историк Габриель Моно, флорентийский приятель Александра Герцена-младшего (впоследствии ставший мужем Ольги Герцен), писал своему отцу о состоявшемся в те дни первом знакомстве с Герценом:

“Я просто наслаждался знакомством с ним. Это очень симпатичный человек, одна из тех сильных и жизнерадостных натур, из которых мысль, красноречие, нежность изливаются волнами, без расчета и самоконтроля, свойственного холодным западным натурам. Я не встречал столь блестящих, столь естественных и столь многосторонних собеседников. Нет такого научного, философского и литературного вопроса, которого бы он не коснулся с оригинальностью и неистощимым остроумием...”

28 января Герцен посетил во Флоренции Жозефину Адамовну Муравьеву (урожденную Бракман), вдову декабриста Александра Михайловича Муравьева, умершего в Тобольске в ноябре 1853 г. (После смерти мужа

Муравьева вернулась в европейскую Россию с шестью детьми, родившимися на поселении в Сибири, затем жила в Швейцарии, потом во Флоренции, где и скончалась в 1886 г.)

Погода в январе-феврале 1867 г. во Флоренции была до того плоха, что Герцен даже не рискнул сходить, как планировал, в популярную среди иностранцев библиотеку — “Кабинет Вьессё” в Палаццо Буондельмонте на площади Санта-Тринита:

255

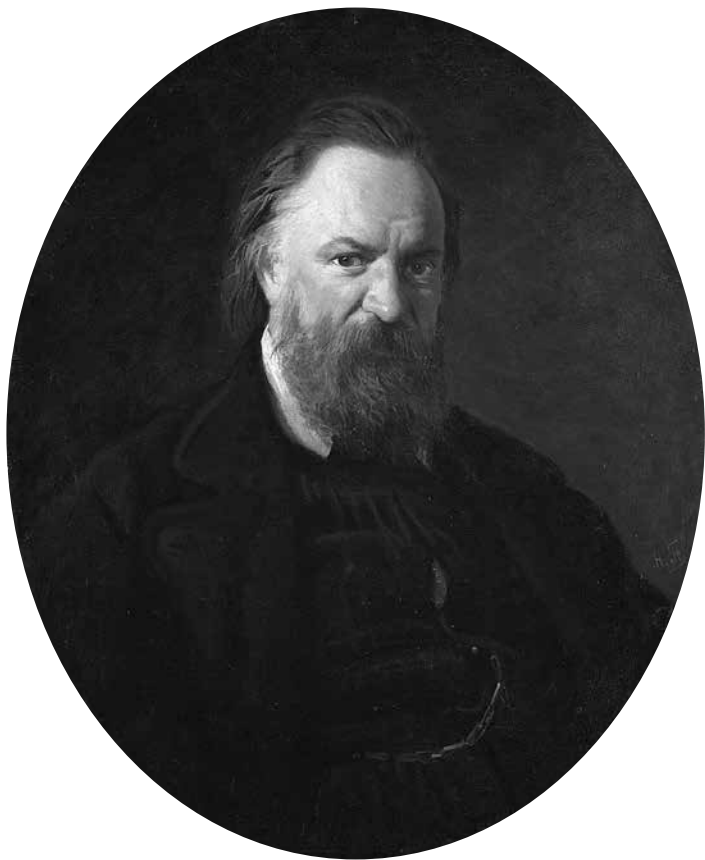
“Погода была до того дурна, что я к Vieuseux не ходил... Думаю, через две недели ехать в Венецию. Здесь жизнь все же слишком юна и бойка — хотелось бы пообдуматься одному”

Письмо Н. П. Огарёву 22 января 1867 г.

“Погода вполнину сгубила все удовольствие: в комнатах стужа, темно, во двор нельзя выйти от дождя”

Письмо С. Тхоржевскому 22 января 1867 г.

В те дни Герцен, живущий во Флоренции у сына по адресу: Piazza San Felice, № 9, собирает вместе с профессором М. Шиффом небольшой революционно-интеллектуальный кружок — большей частью из молодых профессоров университета. Общается он и с представителями “русской колонии”: уже известным ему А. Фрикеном, скульптором Парменом Забело, художником Михаилом Железновым. Как всегда, он находится в постоянной переписке с Огаревым и Станиславом Тхор-



Портрет А. И. Герцена работы Н. Н. Ге,
написанный во Флоренции (1867 г.)

жевским, польским эмигрантом, ближайшим сотрудником Герцена по издательскому делу, переехавшим в 1865 г. из Лондона в Женеву. Тогда же во Флоренции Герцен отметил невеселый юбилей — 20 лет своей эмиграции (он выехал из Москвы 31 января 1847 г.).

В те же дни Герцен познакомился с живущим во Флоренции на Piazza Indipendenza русским художником Николаем Николаевичем Ге, который оставил воспоминания об этой встрече:

257

“Неожиданно для нас пришел к нам А. И. Герцен, приехавший во Флоренцию. Мы обрадовались. Он был любимым писателем нашей молодости. Я подарил своей жене, еще невесте, «По поводу одной драмы», как самый дорогой подарок. Несмотря на то, что у меня был его фотографический портрет, который он прислал нам через общего с нами приятеля, впечатление при встрече было новое, полное, живое. Небольшого роста, плотный, с прекрасной головой, с красивыми руками; высокий лоб, волосы с проседью, закинутые назад, без пробора, живые умные глаза энергично выглядывали из-за сдавленных век; нос широкий, русский, как он сам называл, с двумя резкими чертами по бокам, рот скрытый усами и короткой бородой. Голос резкий, энергичный, речь блестящая, полная остроумия. Целый вечер мы переговаривали обо всем; заметно было, что ему было легко и хорошо, видно было, что он был доволен встретить простых русских людей, которые были ему пара; ему уже не доставало последние годы его жизни этого общества. Политические горизон-

ты сузились, семейная жизнь сломилась; дети... дети всегда живут своею жизнью и подтверждают истину: пророк чести не имеет в доме своем..."

Ге и Герцен сошлись тогда очень близко, и художник попросил нарисовать портрет Герцена:

258

"Александр Иванович, не для вас, не для себя, но для всех тех, кому вы дороги, как человек, как писатель — дайте сеансы: я напишу ваш портрет". Он ответил, что готов, — когда прикажете, — и исполнил эти пять сеансов с немецкою аккуратностью".

Н. Н. Ге так описывает первый сеанс:

"Наконец я приготовился к сеансу. Меня всегда начало тревожит. Я боюсь, что-нибудь бы не помешало, боюсь за свои силы. Он пришел со своей старшей дочерью Натальей Александровной. (Тата Герцен рисовала отца одновременно с Ге — А. К.) Мы сели — я работать, он позировать. У ног моих лег белый, как снег, пудель (ему же кличка была «Снежок»), милая умная собака... В минуты отдыха, он встав, осматривал все, что было на стенах. Тут же висело повторение «Тайной вечери» в уменьшенном виде, в мастерской стояли неоконченные «Вестники Воскресения». Он долго смотрел «Тайную вечерь»: «Как это ново, как верно»..."

В феврале 1867 г. Герцен на несколько дней ездил в Венецию, где встречался с триумфально прибывшим в город Джузеппе Гарибальди, а также стал свидетелем возрожденного спустя много лет венецианского карнавала (во времена австрийского владычества, с 1797 по 1866 г., карнавалы не проводились).



Дом на Piazza San Felice, где в конце 1867 г.
жил А. И. Герцен (современное фото).

Утром 28 февраля 1867 г. Герцен вернулся во Флоренцию. Погода продолжала оставаться скверной: стало теплее, но дожди продолжали идти, не переставая:

260

“Погода страшная. Климат Флоренции — совершеннейшая ложь. Это мерзейший котел в Италии, в котором летом печет, а зимой гадко и десять повальных болезней. Теперь свирепствует скарлатина. У меня страшнейший насморк...”

Письмо Огареву 4 марта 1867 г.

Накануне отъезда из Флоренции, 9 марта, Герцен присутствовал на лекции сына Александра в университете, которой остался очень доволен:

“Успех Саши вчера был полный и заслуженный. Он свою лекцию («О продолжающейся жизни перерезанного нерва») прочел щегольски, не останавливаясь, не ломаясь, просто, прекрасным слогом и интересно... По-итальянски он говорит лучше Шиффа...”

В одном из более поздних писем Герцен иронически сравнивал флорентийские лекции сына с проповедями Савонаролы: только флорентийский монах “вещал о духе”, а Герцен-младший — “о нервах в желудке”.

10 марта Герцен выехал из Флоренции поездом в Геную через Болонью, отказавшись от морского пути через Ливорно (*“четырнадцать часов чугунки, но делать нечего: дождь льет, как из ведра, и в вагоне покойнее сидеть, чем в каюте”*), а уже оттуда — пароходом в Ниццу.

21 ноября 1867 г. Герцен снова приезжал во Флорен-

цию из Турина вместе со старшей дочерью Татой. В этот раз они опять остановились на Piazza San Felice. Они приехали как раз в день семнадцатилетия Ольги, но торжество омрачалось тревожной политической обстановкой в Италии: французская армия Наполеона III и папские наемные войска разгромили армию Гарибальди, и в стране вновь воцарилась реакция. 23 ноября Герцен писал Огареву о настроениях во Флоренции:

261

“Здесь великая скорбь налегла на всем..., люди все-таки сердцем солидарны со страной. Все чувствует обиду — все чувствует пятно и преступление...”

В конце ноября сын Александр познакомил Герцена с юной флорентийкой Терезиной Феличи, которая приходила позировать Тате Герцен и обучалась у нее французскому языку и музыке; Александр сообщил отцу, что намеревается жениться (свадьба состоялась летом следующего года)

15 декабря 1867 г. Герцен уехал из Флоренции в Милан. Судя по авторским пометкам, именно в конце 1867 г. им были написаны важные тексты о грядущей судьбе Италии, ставшие материалом для ряда статей и вошедшие затем в “Былое и думы”:

“Что ждет Италию впереди, какую будущность имеет она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповедовал Маццини, ту ли, к которой ведет Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществлял Кавур?”

Видя печальные, по его мнению, примеры Франции и Италии, выхолостивших республиканско-демократи-

ческие идеалы, Герцен сомневается “в будущности латинских народов”, “в их будущей плодотворности”:

262

“Им нравится процесс переворотов, но тягостен добытый прогресс. Они любят рваться к нему — не достигая... Итальянская революция была до сих пор боем за независимость. Конечно, если земной шар не даст трещины или комета не пройдет слишком близко и не накалит нашей атмосферы, Италия и в будущем будет Италией, страной синего неба и синего моря, изящных очертаний, прекрасной, симпатической породы людей, людей музыкальных, художников от природы...”

Но то, что Италия из страны клерикально-деспотической сделается страной буржуазно-парламентской, “из дешевой — дорогой, из неудобной — удобной и проч. и проч.” — этого, по мнению Герцена, “мало”, и с этим “далеко не уйдешь”. Раньше энергетику итальянского народа поддерживала борьба за национальную независимость, за объединение страны. Что готовит будущее?

“Будет ли что Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима?... Независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между пэрами, кроме признания гражданской способности совершать акты — и только... Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, так долго оставленные на воспитание клерикалов, я не виню даже правительство; да и как же его винить за ограниченность, за неумение, за недостаток порыва, поэзии, такта”.

Но при таком развитии событий будущая судьба нации незавидна:

“Если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. Такого призрачного мира лжи и пустых слов, фраз без содержания трудно переработать народу менее бывалому, чем французы. У Франции всё не в самом деле, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладает с этими тенями китайского фонаря, с лунной независимостью, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма не даст итальянцу здоровья. Его забудет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать? Где выход? Не знаю...”

263

В последний раз А. И. Герцен приехал во Флоренцию из Парижа 2 ноября 1869 г. Причиной поездки стало сообщение из Флоренции от Александра-младшего о тяжелом психическом расстройстве Натальи, которую преследовал угрозами итальянский поклонник. Сразу по приезде Герцен поспешил к больной дочери, жившей тогда на левом берегу Арно, в новой большой квартире Александра (к тому времени женившегося на итальянке и имевшего маленького сына) в “Casa Fumi” у Porta Romana. (Ольга и Мейзенбург жили в то время в кварти-

ре по адресу: Via del Presto di San Martino, № 11, рядом с Piazza di Santo Spirito). Для себя Герцен снял номер в “Hotel New-York” на Lungarno Corsini рядом с Ponte alla Carraia.

264

Через несколько дней во Флоренцию приехали вторая жена Герцена Н. А. Тучкова-Огарева вместе с их общей дочерью Лизой, и Герцен перевез Наталью с сиделкой в небольшой пансион на Via Montebello. Несколько дней и он, и Тучкова-Огарева не отходили от постели больной Таты. 12 ноября Герцен писал Огареву:

“Содержатель пансиона лупит с нас троих (из троих — двое почти ничего не едят) и с горничной по 50 фр. в день. А со свечами, вином и extra выходит до 70... Он смекнул, что переезжать нам нелегко. — Humanum est <лат.; в значении: «слаб человек»>.”

В те тяжелые дни Герцен, переживший много личных трагедий (гибель матери и сына Коли при кораблекрушении у Ниццы; смерть первой жены; смерть в Париже от дифтерии трехлетних близнецов от второго брака), долгое время в результате скитаний по Европе находившийся в разлуке с детьми, принимает решение о необходимости всем дочерям — Наталье, Ольге, Лизе — жить вместе. Он составляет своего рода “меморандум” (на французском языке — чтобы все детали были понятны и Мальвине Мейзенбуг), который начинался словами:

“Отныне — после последнего несчастья и последнего испытания — я не потерплю разделения семьи, исключая Александра, который живет своим домом. Я питаю до-

верие ко всем нам, когда мы вместе, и ни к кому в отдельности; нет у меня никакого доверия и к себе одному. Итак, необходимо принять объединение всех нас под одной крышей как непреложный факт... Ни под каким видом, ни в коем случае — кроме смертельной болезни — я не остаюсь сам и не оставляю Тату и Ольгу во Флоренции, — об этом не может быть и речи..."

Герцен принимает решение всей семьей обосноваться в Париже, и 18 ноября 1869 г., он, вместе с немного поправившейся Натальей, уезжает из Флоренции во Францию (через Специю, Геную и Ниццу). Через некоторое время всё большое семейство собирается, наконец, в Париже... Однако не прошло и двух месяцев, как 21 января 1870 г. Александр Иванович Герцен умирает в Париже, не дожив до пятидесяти восьми лет.

Городу Флоренции, между тем, было суждено сыграть еще одну — трагическую — роль в истории семьи Герцена. В декабре 1875 г. здесь, в доме брата Александра, покончила с жизнью, отравившись хлороформом, младшая дочь Герцена, семнадцатилетняя Лиза. Ее мать, Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева-Герцен, убитая горем, пыталась покончить с собой, но была спасена. Похоронив дочь в Ницце, рядом с А. И. Герценом и умершими в раннем детстве близнецами, она вернулась в Россию, где дожила до восьмидесяти четырех лет.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ

266

Владимир Сергеевич Соловьев (28.01.1853, Москва — 31.07.1900, имение Узкое под Москвой) — философ, религиозный мыслитель, поэт, публицист. Почетный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900). Один из зачинателей русского “духовного возрождения” начала XX в. Учился на естественном, затем на историко-филологическом отделении Московского университета.

В июне 1875 г. молодой доцент В. С. Соловьев выехал в заграничную командировку в Англию, где работал в Британском музее; в октябре отправился для продолжения работы в Египет. Ненадолго остановившись в Париже, пересек Францию и Италию (миновал Турин, Пьяченцу, Парму, Анкону и Бари) и из апулийского порта

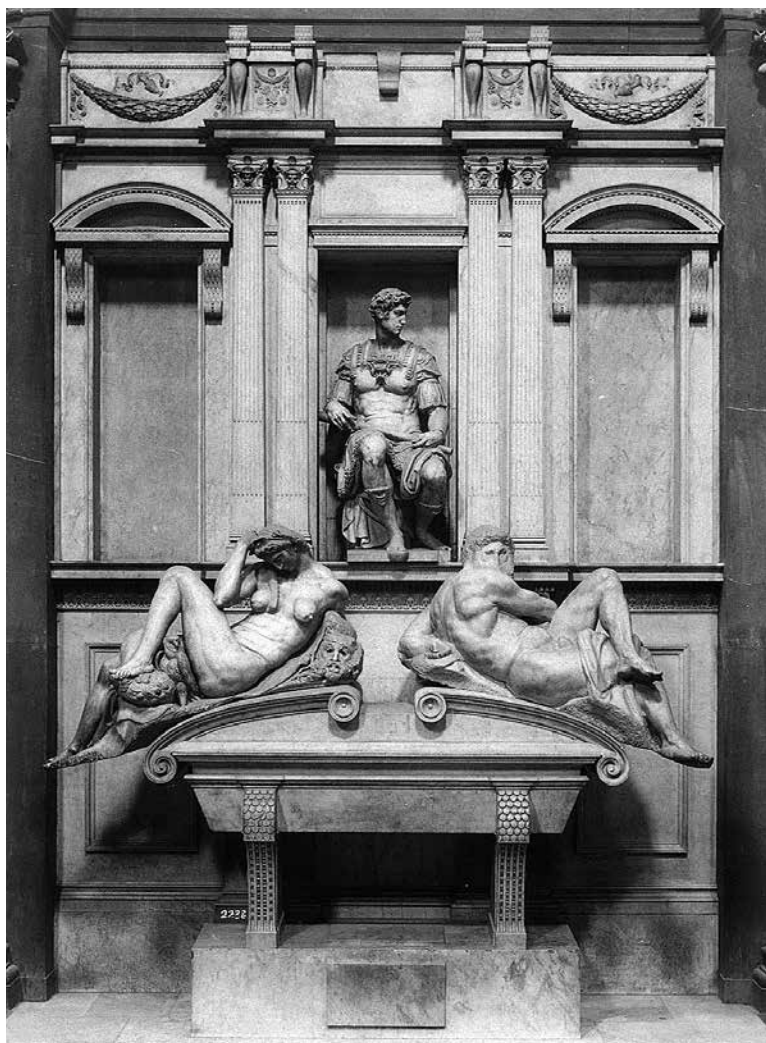
Бриндизи отплыл пароходом в Александрию. В марте 1876 г. он вернулся в Европу, поселившись с начала в Неаполе, а затем надолго в Сорренто, в отеле “Cocumella” в районе Сант-Аньелло (пригороде Сорренто в направлении Вико, Каstellамаре и Неаполя).

6 апреля 1876 г. во время конной прогулки к кратеру Везувия с Соловьевым приключилось несчастье. Когда он уже спускался с крутого склона вулкана, его лошадь оступилась и упала, а сам всадник больно расшибся. Соловьев был доставлен в клинику в Неаполь, где несколько дней пролежал в критическом состоянии, а затем долго лечился в Сорренто. Удивительно, что именно в те недели в его голове сложились основные контуры грандиозной философской системы “Богочеловечества”.

267

В начале мая 1876 г. В. С. Соловьев приехал во Флоренцию к своему другу, тоже философу князю Дмитрию Николаевичу Цертелеву. В те дни во Флоренции жили также брат Цертелева, князь Петр Николаевич с женой — выдающейся певицей-контральто, солисткой Мариинского театра Елизаветой Андреевной Лавровской. В те месяцы во Флоренции с триумфом прошли выступления Лавровской-Цертелевой, после чего Музыкальное общество Флоренции выпустило памятную медаль в ее честь.

Имеются сведения, что в те дни Соловьев посещал во Флоренции собор Сан-Лоренцо и находящуюся внутри него Капеллу Медичи со знаменитыми скульптурными шедеврами Микеланджело, произведшими на



Микеланджело. Аллегии “Ночь” и “День” в Капелле Медичи.

Соловьева сильнейшее впечатление. Воспоминание об этом всплыло в памяти философа и поэта несколько лет спустя, летом 1883 г. Тогда, после тяжелого заболевания тифом, он отдыхал в бывшем имении графа А. К. Толстого в Красном Роге в гостях у вдовы литератора, Софьи Андреевны Толстой, и ее племянницы С. П. Хитрово; в тот год Соловьев особенно верил в то, что Софья Петровна станет его женой. Лето в Красном Роге прошло для Соловьева “под знаком Италии”: продолжая писать философский труд “Духовные основы жизни”, он читал и переводил Петрарку и Данте. Именно тогда Соловьев сделал и ставший известным перевод на русский язык знаменитых эпиграмм на тему микеланджеловской статуи “Ночь” из Капеллы Медичи.

Известно, что после открытия в 1520 г. капеллы Медичи со скульптурами Микеланджело, флорентийский поэт Джованни Строщи написал по поводу аллегии “Ночь” хвалебную эпигramму, перефразировав античное четверостишие Филострата. Микеланджело ответил гораздо более политически заостренным текстом, который сам прокомментировал так:

“Вдохновившись одной из моих скульптур, молодой флорентиец сочинил эпигramму, прекрасную по форме, но не по содержанию... В долгу я не остался и ответил ему четверостишием, в котором напомнил землякам о нашем позоре (падении республики — А. К.).”

Как известно, классическим образцом перевода на русский язык эпигramм Строщи и Микеланджело



Микеланджело. Аллегория “Ночь”. Фрагмент.

являются две версии, написанные в 1855 г. Ф.И. Тютчевым. Впоследствии свои варианты перевода предложили такие корифеи стихосложения, как М. А. Кузмин, Вяч. И. Иванов, А. М. Эфрос, А. А. Вознесенский.

Вот вариант перевода эпиграмм, сделанный в 1883 г.
В. С. Соловьевым:

ЭПИГРАММА ДЖ. СТРОЦЦИ
НА СТАТУЮ “НОЧЬ”
МИКЕЛАНДЖЕЛО

Ты Ночь здесь видишь в сладостном покое, 271
Из камня Ангелом изваяна она,
И если спит, то жизнь полна:
Лишь разбуди, — заговорит с тобою!

(Ответ Микеланджело)
Мне сладок сон, и слаще камнем быть!
Во времена позора и паденья
Не слышать, не глядеть — одно спасенье....
Умолкни, чтоб меня не разбудить.

Есть также данные и о посещении В. С. Соловьевым в мае 1876 г. во Флоренции картинной галереи в Palazzo Pitti на левом берегу Арно, где его особенно поразила “Мадонна со стоящим младенцем” Бартоломе Эстебана Мурильо. Эта флорентийская “Мадонна”, имеющая абсолютно “родной”, по признанию наших соотечественников, вид, производила аналогичное впечатление на многих русских. Сам Владимир Сергеевич Соловьев впоследствии на вопрос, “кто является его любимым художником?”, неизменно отвечал: “Мурильо”.

Из Флоренции Соловьев ненадолго ездил в Венецию, где по свидетельству его ученика, князя Е. Н. Трубецкого, *“не рассчитав путевых издержек, оказался без денег и вынужден был заложить свои часы”*. Из Венеции Соловьев сумел, однако, добраться через Геную во Францию.

272

Поездка 1875–1876 гг. была единственным посещением выдающимся русским философом Италии: все истории о том, что он впоследствии якобы тайно ездил в Ватикан и имел аудиенцию у римского папы, являются лишь красивым вымыслом.

Б. Э. Мурильо “Мадонна с младенцем”. Дворец Питти.



ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

274

ПЕТР Ильич Чайковский (7.05.1840, Воткинск, Вятской губ. — 6.11.1893, Санкт-Петербург) — композитор, музыкант, дирижер. Родился в семье инженера, закончил столичное Училище правоведения. Рано увлекшись музыкой, поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, которую окончил с Большой серебряной медалью. Переехав в Москву, преподавал в Московской консерватории, писал музыку, работал музыкальным критиком в “Русских ведомостях”.

Чайковский в первый раз побывал в Италии в январе 1872 г. (Генуя, Венеция). В апреле 1874 г. снова был в Венеции, а также в Риме и Неаполе. На обратном пути в Россию впервые коротко посетил Флоренцию. В письме брату Модесту 9 мая 1874 г. писал:

“Во Флоренции я остановился только переночевать... Я успел только пробежать по главным улицам Флоренции; она мне очень нравится. Рим мне ненавистен, да и Неаполь — чтоб черт его взял! Один и есть только город в мире — это Москва, да еще Париж...”

Летом 1877 г. Чайковский женился на своей ученице А. И. Милюковой — как он объяснял потом, “не по влечению сердца, а по какому-то непостижимому для меня сцеплению обстоятельств”. В конце июля он писал Надежде Филаретовне фон Мекк (вдове железнодорожного магната Карла фон Мекка), на долгие годы ставшей другом и “добрым ангелом” творчества Чайковского:

275

“Как только церемония свершилась, как только я очутился наедине со своей женой, с сознанием, что теперь наша судьба жить неразлучно друг с другом, я вдруг почувствовал, что не только она не внушает мне даже простого дружеского чувства, но что она мне ненавистна в полнейшем значении этого слова. Мне показалось, что я — или, по крайней мере, лучшая, даже единственно хорошая часть моего я, т.е. музыкальность, — погибла безвозвратно...”

Осенью 1877 г. Чайковского, находившегося в состоянии крайнего психического расстройства, увезли за границу. С деньгами на путешествие помогла фон Мекк:

“Я внезапно сделался если не богачом, то надолго совершенно обеспеченным человеком. Известная тебе особа прислала мне три тысячи франков и засим будет

посылать ежемесячно полторы тысячи. Все это предложено с такой изумительной деликатностью, с такой добротой, что мне даже не особенно совестно..."

Письмо Модесту Чайковскому 6 ноября 1877 г.

276

Чайковский тогда, вместе с младшим братом Анатолием (профессиональным юристом и актером-любителем), некоторое время жил в швейцарском городке Clarens на берегу Женевского озера, а потом, ненадолго заехав в Париж, отправился поездом в Рим. Во Флоренцию, где он прожил с 16 по 18 ноября 1877 г., его привела случайность: около Модены он почувствовал себя дурно и решил сделать остановку в ближайшем большом городе:

"Целый следующий день я так томился, что решился остановиться на один день во Флоренции, на что нам дает право билет, взятый в Париже, в коем сказано: «с правом остановки в течение трех дней». Дело, впрочем, не в болезни... Дело в тоске, в жгучей, сумасшедшей тоске, которая не покидает меня ни на одну минуту... Живя в Кларенсе, среди самой безусловной тишины, среди покоя и весьма простой и удобной обстановки, я иногда грустил и хандрил... Я вообразил также, что стоит пересечь границу Италии, и начнется нескончаемая радость. Вздор! Здесь мне в сто раз грустнее. Погода чудная; днем жарко, как в июле; есть на что посмотреть, есть чем рассеяться, — а меня терзает гигантская, колоссальная тоска. И чем оживленнее место, в котором

я нахожусь, тем хуже. Как это объяснить, я не знаю... Вести же жизнь туриста я решительно теперь не могу... Притом, чтоб бегать с Бедкером в руках по улицам, музеям, церквам Флоренции и Рима, нужно иметь время, специально для этого предназначенное. Я же приехал отдохнуть, и отдохнуть не посредством праздной беготни, а посредством работы... Сейчас я пойду с братом гулять по улицам. Сегодня воскресенье. Движение на улицах большое: все дышит праздничным и веселым настроением. А вась и мне веселее станет..."

277

Письмо Н.Ф. фон Мекк 18 ноября 1877 г. из Флоренции

Новое посещение Флоренции состоялось весной 1878 г. Тогда Чайковский работал в Сан-Ремо на итальянской Ривьере над завершением начатой в Венеции Четвертой симфонии и оперой "Евгений Онегин". На Новый год к нему приехал из России брат Модест (драматург, переводчик и педагог) со своим воспитанником десятилетним Колей Конради. 13 февраля Петр Ильич писал из Сан-Ремо фон Мекк:

"Помню, что из Флоренции я написал Вам письмо очень мрачного свойства, помню, что у меня было там очень нехорошо на душе. Но само собой разумеется, что Флоренция сама по себе в этом не виновата нисколько. Теперь, будучи совершенно здоров и покоен, мне захотелось побывать еще раз там, главнейшим образом потому, что Модест еще не был никогда в Италии и что я знаю глубину наслаждения, которое ему доставят художе-

ственные богатства Флоренции. Он гораздо более меня любит пластические искусства, и мне кажется, что и на меня будут действовать его восторги. Итак, я решился отправиться во Флоренцию недели на две...”

Утром 19 февраля путешественники выехали поездом из Сан-Ремо с пересадкой в Генуе и вечером были в Пизе. На следующий день Чайковский писал фон Мекк:

“Мне очень нравится Пиза, милый друг мой. Мы приехали сюда вчера вечером. Дорога была очень утомительна; пришлось выехать в семь часов утра и ехать непрерывно ровно двенадцать часов сряду без единой остановки. Даже в Генуе мы едва успели перебежать на другую сторону вокзала. Пришлось очень сильно страдать от голода, как это часто встречается в Италии, где решительно не хотят взять в соображение, что нельзя все ехать, ехать и ехать и что одними апельсинами питаться не особенно весело... Уложивши спать Колю, мы с братом пошли бродить по городу и зашли в театр, где давалась опера «La Forza del Destino» Верди. Театр только что выстроенный, новый и очень красивый. Публики весьма мало; певцы и певицы хуже посредственности, хоры и оркестр совсем плохи...”

20 февраля они смотрели главную достопримечательность Пизы — ансамбль уникальных строений на Piazza dei Miracoli:

“Прежде всего мы отправились в собор... Собор, знаменитая косая колокольня и не менее знаменитое кладбище Campo Santo далеко оставили за собой то, что я

ожидал видеть... Но верх прелести, оригинальности, красоты — это колокольня Campanile. Мы взбирались на самый верх. Вид с высоты башни восхитительный. Не скрою от Вас, что как я ни люблю море, но мне чрезвычайно приятно было увидеть широкий пейзаж, состоящий из бесконечной зеленеющей равнины, окаймленной в глубине горизонта цепью гор, и без моря!.. Все колокольни Пизы по случаю только что полученного известия об избрании нового папы (Льва XIII — А. К.) гудели и наполняли воздух своим торжественным гулом. А внизу, на площади, где красуются три достопримечательности Пизы, т.е. колокольня, собор и Кампо Санто, ни души народу и вместо мостовой зеленый ковер весеннего зеленеющего луга. В сущности, Пиза настоящий провинциальный городок, и немощеная площадь очень напомнила мне провинциальный русский город...

279

На следующий день Петр Ильич с Модестом, Колей и молодым слугой Алексеем Софроновым приехали во Флоренцию, где остановились в забронированных номерах отеля “Citta di Milano” на Via Cerretani. Уже в наше время этот отель назывался “Sofitel”, а совсем недавно, после реновации, получил название “Cerretani-Firenze”. Удобное расположение, на полпути между железнодорожным вокзалом и Duomo, во все времена делало эту гостиницу популярной среди путешественников. (К слову сказать, в апреле 1913 г. именно в “Milano” останавливались и мои родные дед и бабушка: присяжный поверенный Сергей Георгиевич Кара-Мурза и его



HOTEL

BRIZZI E NICCOLAI



жена, писательница и переводчица Мария Алексеевна Головкина — А.К.).

Вечером 21 февраля Чайковский написал фон Мекк:

282

“Сегодня мы приехали во Флоренцию. Милый и симпатичный город! Я испытал очень приятное впечатление, въезжая в него и вспоминая, какой я был в этой самой Флоренции два месяца тому назад. Как многое изменилось с тех пор в моей душе! Какой я тогда был жалкий, больной человек, и как теперь я бодр, какие хорошие дни теперь переживаю, как я стал снова способен любить жизнь, проявляющуюся так роскошно, так сильно, как в Италии... После обеда я ходил по городу. Как хорошо! Вечер теплый, на улицах движение и жизнь, магазины великолепно освещены. Как весело быть среди толпы, в которой никто тебя не знает и никому до тебя дела нет! Италия начинает брать свое, и ее чарующее влияние мало-помалу охватывает мою душу. Здесь так привольно, так много бьющей ключом жизни!”

22 февраля путешественники осматривали галерею Уффици; на следующий день Чайковский показывал брату уже виденный им Палаццо Веккьо. Побывали они и в Палаццо Питти, садах Боболи, церкви Сан-Лоренцо с капеллой Медичи. Обедать предпочитали в ресторане “Gilli e Letta” на площади Синьории.

Чайковский взял тогда себе за правило каждый день писать во Флоренции по “маленькой вещице”: сочинил несколько романсов, написал фортепьянную пьесу (пьесу № 12 из цикла “Прерванные грезы”, средняя часть ко-

На предыдущем развороте:

улица Черретани. Слева — гостиница “Милан”, любимый флорентийский отель П.И. Чайковского.

торой — венецианская песенка, которую в Венеции каждый день пели под окном его отеля). В один из вечеров они с Модестом смотрели “Гамлета” с Томазо Сальвини в главной роли. Великий трагический актер, тогда уже пятидесятилетний (двадцать лет назад, в 1858 г., он произвел огромное впечатление в роли Отелло на Аполлона Григорьева), Чайковскому совсем не понравился: *“стар, некрасив и слишком манерен”*. Побывали Чайковские и в театре “Pergola” на маскараде: *“Я ожидал увидеть кипучее и буйное веселье. Ничуть не бывало. Очень мало народу, скверные костюмы, совершенное отсутствие дам, так что мужчины танцевали друг с другом...”*

283

28 февраля Чайковский писал фон Мекк:

“Какой милый город Флоренция! Чем больше живешь в нем, тем более его любишь. Это не шумная столица, в которой глаза разбегаются и устаешь от суеты; но вместе с тем здесь так много предметов, полных художественного и исторического интереса, что скучать нет никакой возможности. Достопримечательности города мы осматриваем не торопясь, не бегая из одного музея в другой и из церкви опять в галерею. Каждый день, утром, отправляемся посмотреть на что-нибудь, а к одиннадцати часам возвращаемся домой. От одиннадцати до часу я занимаюсь, т.е. пишу маленькие пьески для фортепиано или романс. После завтрака ходим в Уффици, в Питти или в Академию. Оттуда отправляемся пешком в Кашино <парк>, которое с каждым днем становится прелестнее, вследствие постепенного наступления весны. После

обеда отправляюсь бродить по главным улицам, полным жизни, движения. Остальной вечер провожу за чтением или писанием писем. Музыки здесь вовсе нет. Оба оперные театра закрыты, и это для меня большое лишение. Иногда до того хочется послушать музыки, что обрадовался бы всякому “Трубадуру” и “Травиату”. Но даже и этого не услышишь...”

Несколько месяцев назад, будучи во Флоренции с Анатолием, Чайковский был поражен исполнением “Pimpinella” одним юным уличным певцом и теперь хотел отыскать его снова. В первых числах марта он наконец встретил мальчика:

“Прежде всего я заметил, что он немножко вырос и что он красив, тогда как мне с тобой показалось тогда, что он невзрачен. Дорогой я изъявил сомнение, что это не он. «Вы услышите, когда я запою, что это был я. Вы мне тогда дали серебряный полфранка!» Все это говорилось чудным голосом и проникало до глубины души. Но что со мной сделалось, когда он запел? Описать это невозможно. Я думаю, что ты не сильнее наслаждаешься, когда слушаешь пение Панаевой! Я плакал, изнывал, таял от восторга...”

Письмо Анатолию Чайковскому 2 марта 1878 г.

Новая встреча с юношей по имени Витторио произошла два дня спустя в отеле: “Только тут я рассмотрел его. Он положительно красавец с невыразимо симпатичным взглядом и улыбкой. Он стеснялся, не давал полно-

го голоса. Потом водил его сниматься". Еще через два дня — новая запись в "Дневнике": "После обеда он придет и будет петь. Я заранее наслаждаюсь..."

Позднее П. И. Чайковский создаст свою "Pimpinella" ("Флорентийскую песню"). 7 марта, в день отъезда из Флоренции, он написал Н. Ф. фон Мекк:

"Что касается двухнедельной жизни во Флоренции, то она оставит во мне впечатление чудного, сладкого сновидения. Я испытал здесь такое множество чудных ощущений и от самого города, и от окрестностей, и от картин, и от чудной весенней погоды, и от народных песен, и от цветов, благоухание которых и в эту минуту улаживает меня, что устал. Нервы расшатались; вот уже две ночи, что я не сплю, а сегодня у меня были обычные нервные замиранья, которых я смертельно боюсь. Таким образом, я уезжаю с раздирающимся сердцем из чудного, обаятельно прекрасного города и в то же время рад, что все это кончается. Я бы никогда не решился навеки поселиться в Италии и не понимаю, как люди могут здесь вечно жить, как они не тают и не тонут в этом море разнообразных впечатлений..."

285

7 марта 1878 г. Петр и Модест Чайковские уехали из Флоренции поездом в Женеву.

В истории отношений П. И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк особенно интересен декабрь 1878 г., когда оба они одновременно жили во Флоренции. До середины октября предыдущего года фон Мекк настойчиво звала Чайковского на итальянское озеро Комо, где предлагала

арендовать для него виллу в Bellagio, неподалеку от своей. Однако неожиданно она сама переменяла планы:

286

“Я все звала Вас в Bellagio, а сама изменила свой маршрут, потому что мне сказали, что в Bellagio 15 октября н. с. кончается сезон, и погода там дурная. Так, я еду во Флоренцию, где намереваюсь нанять виллу месяца на два... Приезжайте во Флоренцию, мой милый друг, опять слушать “Pimpinella”; ведь Вам там нравится? Как бы Вам добыть которого-нибудь из братьев пожить с Вами за границею, а то я боюсь, что Вам долго одному будет скучно...”

Письмо фон Мекк — Чайковскому 15 октября 1878 г. из Сан-Ремо.

25 октября, уже из Флоренции, фон Мекк написала Чайковскому, что сняла для себя и детей виллу Orpenheim на Viale dei Colli на левом берегу Арно:

“Я не знаю, друг мой, знаете ли Вы эту дорогу, на которой расположены дачи по обе стороны. Это прелестная платановая аллея с красивыми скверами, эспланадами и т. п., по обе стороны которой, в начале ее от города, расположены дачи. Villa, которую я наняла, великолепна, т. е. самая вилла, потому что сад небольшой и не особенный, но помещение — верх роскоши. Я предполагаю пробыть здесь до начала декабря... Как жаль, что я не могу Вам показать виллу, которую мы наняли, — она очень хороша. Если бы я была богаче, то купила бы ее, а теперь не могу, потому что хотят 650 тысяч lire; это очень большая сумма... Здесь развелось очень много певцов: в один



Вид на Флоренцию с Виади деи Колли.

день по несколько хоров приходят, а того мальчика с его «Pimpinell'ой» нет...

Некоторое время Чайковский отговаривался от поездки в Италию планами съездить к родным в Каменку, а потом в Clarens, где ему хорошо работалось. Однако в письме из Флоренции от 3 ноября фон Мекк проявила настойчивость:

“Как бы мне хотелось, мой милый, хороший, чтобы Вы немножко изменили Ваш маршрут, а именно приехали бы сперва во Флоренцию месяца на полтора, а потом в Clarens... Если бы Вы решились приехать во Флоренцию

сейчас, я бы вам приготовила в городе квартиру, так что Вам не надо было бы в эти полтора месяца ни о чем заботиться и только заниматься тем, что дорого и Вам, и мне, — музыкою. Приезжайте, дорогой мой. На Женевском озере теперь, наверно, погода хуже, чем здесь, потому что в Швейцарии всегда много дождей, а теперь, конечно, еще больше, а здесь хотя их много, но все же через день ясная погода, светит и греет солнце, и тогда очень хорошо. Для вдохновения есть прелестные места в том районе, где мы живем. Природа еще совсем зеленая, трава как бархат, деревья почти все покрыты листьями, цветов много. Как бы я хотела Вас соблазнить Флоренцию!”

Наконец, 8 ноября Чайковский дал себя уговорить:

“Получил сегодня утром письмо Ваше, бесценный друг мой, и в ту же минуту решил изменить свои проекты. Достаточно того, что Вам желательно, чтобы я пожил во Флоренции теперь, когда и Вы там, дабы я всем сердцем стал стремиться в этот город... Я решаю поступить так: 1 ноября <ст.ст.> выеду отсюда, проведу в Каменке неделю и уже оттуда поеду во Флоренцию...”

Получив принципиальное согласие Чайковского, фон Мекк предложила ему на выбор два варианта:

“Я прошу Вас, друг мой, сообщить мне на всякий случай, какое местопребывание предпочли бы Вы во Флоренции: в городе или за городом, на Viale dei Colli? Прошу Вас при этом не стесняться нисколько и никакою мыслью, потому что квартиры у меня есть и там и тут. В городе у меня

есть помещение в Hotel'e на Via Vittorio Emmanuele, — это есть продолжение Lungarno <набережной>, и за городом у меня есть квартира на Viale dei Colli, в полуверсте расстояния от нас, и эту-то квартирку я хочу Вам описать, так как Hotel'ные расположения и условия Вам известны. Квартира эта находится в расстоянии от города одной версты, приблизительно в полуверсте от нашей виллы; состоит она в одном restaurant (Bonciani), в котором теперь, конечно, никто не бывает, хотя и стоят столики и стулья перед рестораном. При домике довольно большой сад, но, главное, прелестная прогулка по самой Viale: здесь сейчас лежит монастырь и Campo Santo. San-Miniato — очаровательное место. Несмотря на теперешнюю мертвую природу и ненастную погоду, я каждый раз восхищаюсь этим местом, когда там бываю”.

289

Письмо фон Мекк — Чайковскому 16 ноября 1878 г. из Флоренции.

Чувство неловкости, однако, не оставляло Чайковского, и 26 ноября он, еще из Каменки, писал брату Анатолию:

“Надежда Филаретовна уже наняла мне квартиру, и хотя, судя по описанию, квартира в прелестном месте, с чудным видом на Флоренцию, но в двух шагах от виллы, где живет Н. Ф., и я боюсь, что это будет стеснять меня”.

2 декабря 1878 г. Чайковский приехал во Флоренцию поездом из Вены и на следующее утро написал Анатолию об обстановке на вилле Бончиани:





“Квартира состоит из целого ряда великолепных комнат, а именно: из салона, столовой, спальни, уборной, ватерклозета и Алешиной <слуги> комнаты. В салоне стоит чудесный инструмент, на письменном столе два огромных букета, все принадлежности письма. Меблировка превосходная. Я совершенно очарован всем этим, но главная прелесть состоит в том, что квартира за городом, что из окон чудный вид, что тишина невозмутимая, а между тем до города ходьбы полчаса. Я чувствую себя превосходно. Дорогой меня немножко беспокоила мысль, что Н. Ф. будет так близко, что мы будем встречаться, и я даже минутами подозревал, что она пригласит к себе. Но письмо ее, лежавшее вчера на столе, меня совершенно успокоило. Можно очень легко устроиться так, что встреч никаких не будет. Она через три недели уже уезжает отсюда, и за это время мы, конечно, ни разу не встретимся”.

Одновременно он отправил письмо на виллу Опенгейм:

“Я решительно не приберу выражений, милый друг мой, чтобы выразить Вам мое полное очарование от всего, что меня здесь окружает. Нельзя себе представить более идеальных условий для жизни. Вчера я долго не мог заснуть и бродил по своему прелестному помещению, наслаждаясь чудной тишиной, мыслью, что под ногами у меня симпатичный город Флоренция, наконец, сознанием того, что я вблизи от Вас. Сегодня утром, когда я открыл ставни, очарование еще удвоилось. Я так люблю



Вилла Бончиани.

своеобразную характерность флорентийских окрестностей!.. Одно из самых драгоценных свойств квартиры — это то, что у меня огромный балкон, по которому ничто не мешает мне гулять и наслаждаться чистым воздухом, не выходя, так сказать, от себя. Для меня, страстного любителя чистого воздуха, это имеет капитальное значение. Вчера я долго пользовался этой чудесной прогулкой и не могу Вам высказать всю чарующую прелесть ощущения абсолютной вечерней тишины, среди которой издали слышится только шум где-то падающей или по скату текущей воды Арно...

С верхней террасы виллы открывался прекрасный вид, и Чайковский полюбил подолгу смотреть в бинокль на Флоренцию, долину Арно и горы. Каждый день он совершал длинные пешие прогулки: либо в сторону Piazzale Michelangelo, любуясь по дороге комплексом монастыря San-Miniato al Monte, откуда открывался чудесный вид на Флоренцию. Либо в противоположную сторону — к Porta Romana и далее, мимо Palazzo Pitti, к Ponte Vecchio. По совету фон Мекк он часто ходил и по живописным местам, связанным с именем Галилео Галилея: к Torre del Gallo, где со времен средневековья существовала знаменитая обсерватория, и на Villa il Gioiello, где Галилей многие годы жил и скончался в январе 1642 г.

На вилле Бончиани у Чайковского окончательно созрел план новой оперы, о чем он написал фон Мекк в начале декабря 1878 г.:

“Меня начинает сильно манить один новый оперный сюжет, а именно «Орлеанская Дева» Шиллера. Мне кажется, что на этот раз я уже не шутя примусь за намеченный сюжет. Мне помнится, что вскоре после открытия новой парижской оперы там была поставлена опера «Jeanne d’Arc» композитора Mermet. Опера провалилась, но, сколько помню, очень хвалили ловко и сценически составленное либретто... Я надеюсь на возвратном пути в Россию побывать в Париже и добыть себе это либретто. Кроме того, нужно будет прочесть несколько сочинений, касающихся жизни Jeanne d’Arc. Мысль



Мемориальная доска П.И. Чайковскому.

написать на этот сюжет оперу пришла мне в Каменке при перелистывании Жуковского, у которого есть «Орлеанская Дева», переведенная им с Шиллера. Для музыки есть чудные данные, и сюжет еще не истасканный, хотя им уже и воспользовался Верди. Я достал в Вене вердиевскую «Giovanna d'Arco». Во-первых, она не по Шиллеру, во-вторых, она до крайности плоха, но все-таки я рад, что достал ее. Полезно будет сравнить его либретто с французским. Я уже и прежде иногда думал об этом сюжете

и даже в последнее пребывание в Петербурге однажды мечтал о нем, но теперь начинаю увлекаться серьезно...

В начале декабря фон Мекк взяла для себя и Чайковского билеты в театр — разумеется, в разные концы зала:

296

“Я очень рада, что Вы имеете намерение побывать в театре, потому что у меня уже был взят билет для Вас на представление в Pergola. А Вы знаете, конечно, что на этом театре, как на всех казенных в Италии (San-Carlo, Scala etc.), представления бывают очень редки, и в этот раз довольно интересно посмотреть. Будет идти опера «Il violino del diavolo» <Скрипка дьявола>, написанная для певицы Carolin’ы Ferni, которая в то же время есть и скрипачка и покажет публике в этой опере оба свои таланта, и вокальный и инструментальный... В субботу мы также будем в Pergola на том представлении, в которое я посылаю и Вам билет...”

Письмо Н.Ф. фон Мекк — Чайковскому 5 декабря 1878 г.

Фон Мекк, по видимому, очень волновалась о будущем представлении и вслед письму послала еще и записку: *“А певица, которую мы будем слушать завтра, быть может, не лучше ли известна Вам по своему прежнему имени — Teresa Milanullo? А Ferni — ее имя по мужу”*.

Волновался и Чайковский, поскольку в тот же день послал Модесту письмо следующего содержания:

“Так мне здесь прекрасно, и так как я знаю, что ничто мне не мешает, когда захочу переменить место и образ жизни, то я не скучаю. Но близость Н.Ф. все-таки делает

мое пребывание здесь как бы несвободным. Притом, несмотря на все ее бесконечные и ежедневные уверения, что она счастлива, чувствуя меня близко, мне все кажется, что она должна ощущать нечто ненормальное. Она, бедненькая, считает своим долгом ежедневно писать мне письма, и видно, что иногда затрудняется в материале для беседы. Со своей стороны, и я тоже не всегда имею что писать, и тоже почитаю себя как бы обязанным ежедневно писать. А главное, меня все преследует мысль, что она уж не хочет ли заманить меня. Но, впрочем, ни в одном письме намека на это нет..."

Увы, эксперимент с театральной премьерой не удался: Чайковский и фон Мекк с дочерьми ушли из зала (порознь, естественно) после второго акта. Вернувшись домой, озадаченный Петр Ильич написал письмо Анатолию:

"Н. Ф. тоже была в театре, и это меня стесняло, точно так же, как и вообще ее близость от меня стесняет. Мне все кажется, что она желает видеть меня. Например, я каждое утро вижу, как, проходя мимо моей виллы, она останавливается и старается увидеть меня. Как поступить? Выйти к окну и поклониться? Но в таком случае, почему уж, кстати, не закричать из окна: "Здравствуйте"? Впрочем, в ее ежедневных длинных, милых, умных и удивительно ласковых письмах нет ни единого намека на желание свидеться..."

Вторую половину декабря Чайковский провел в трудной, подчас мучительной, работе над "Орлеанской

девой”. 22 декабря он описал свое состояние в письме фон Мекк:

298

“Представьте, милый друг мой, что моя героиня, т.е. Иоанна д’Арк, виновница того, что вчера я себя чувствовал в ненормально возбужденном состоянии и провел скверную ночь... Это со мной всегда бывает, когда мне предстоит большая и увлекательная работа. Очень трудно объяснить это состояние. Хочется поскорее-поскорее писать и писать. Мысли приливают к голове так, что там уж им места нет, приходишь в отчаяние перед человеческой немощью своей, с тоской думаешь о долгих днях, неделях и месяцах, которые нужны, чтобы все это сделать, обдумать, написать. Так хотелось бы вот тут, сейчас же, одним взмахом пера окончить все разом!”

В тот же день он написал еще более откровенное письмо Модесту:

“Последние дни прошли в очень сильной творческой лихорадке. Я принялся за «Орлеанскую деву», и ты не можешь себе представить, как это трудно мне досталось... Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличивать винную порцию, а вчера вечером, читая книгу о Жанне д’Арк, подаренную мне Н. Ф. (великолепное издание, стоящее по меньшей мере франков двести) и дойдя до процесса abjuration <осуждения> и самой казни, я страшно разревелся. Мне вдруг сделалось так жалко, больно за все человечество, и взяла невыразимая тоска...”

26 декабря фон Мекк, уладив все финансовые дела во Флоренции, уехала в Вену. Через два дня покинул Флоренцию и Чайковский, отправившись в Париж продолжать работу над новой оперой.

Сегодня на доме, где в декабре 1878 г. жил и работал Чайковский, установлена мемориальная доска:

“В этой вилле в 1878 году жил и творил Петр Ильич Чайковский. Бескрайность русских равнин и плавность холмов Тосканы слились воедино в его бессмертных мелодиях...”

299

В следующий раз Чайковский был во Флоренции всего один день и даже не ночевал. 2 марта 1881 г. он выехал поездом из Вены, направляясь в Рим: составы в Италию тогда уже ходили не на Триест, как раньше, а более коротким путем — через Удине и Местре. Рано утром 3 марта Чайковский приехал во Флоренцию, не нашел свободного номера в “милом” “Citta di Milano” и разместился в “Hotel New-York” на Lungarno Corsini около Ponte alla Sattaia. Тогда же он написал Модесту:

“Когда проснулся сегодня в 6 часов утра, за час до приезда во Флоренцию, то испытал наслаждение, которого передавать не хочу, дабы ты не лопнул от зависти. Представь себе после вчерашней вьюги <в Вене> вдруг перемену декорации: зелень полей, голубое небо и ослепляющее утреннее солнце, которое наполнило мой компартимент <купе> светом и теплотой после холодной и голодной ночи! Чувствую, что я теперь в самом деле люблю Италию; я научился ценить ее и понимать ее пре-

лести. Прежде я испытывал, приезжая в нее, нечто вроде разочарования, несоответствия действительности с мечтой. Теперь я точно очутился у себя; а там, где еще мороз, снег и печать смерти на природе... – там я случайный гость...”

300

Перед выходом в город он написал и Н. Ф. фон Мекк: *“Я остановился на сутки во Флоренции вместо Венеции, куда сначала предполагал заехать по дороге в Рим. Мне хотелось поскорее очутиться в настоящей Италии, увидеть зеленеющую траву и, главное, теплое весеннее солнце. В Вене на второй день моего пребывания поднялась снежная метель, сделалось холодно, как в Петербурге, и я поспешил уехать. Через Земмеринг мы насилу переехали, и я очень боялся где-нибудь в мрачном Тироле застрять надолго. К счастью, все совершилось благополучно, и в шесть вечера я уже переехал итальянскую границу. Уже тут, как только слышались итальянские звуки и в глаза бросились типические черты милого народа, я почувствовал, как сильно успел полюбить Италию... Наконец, мы приехали в милую, чудную Флоренцию. Я успел покамест только умыться и напиться кофе. Сейчас иду побродить по городу, побываю в соборе, в St. Lorenzo, в Uffizi, а после завтрака хочу пешком пойти на Viale dei Colli и через St. Miniato вернуться к обеду...”*

В тот же вечер, перед отходом поезда на Рим, Чайковский, сидя у открытого окна гостиницы “Нью-Йорк” и глядя на закат над Арно, написал фон Мекк новое письмо:

“Не могу удержаться, милый и бесконечно дорогой друг, чтобы не поделиться чудным впечатлением! Как я писал Вам утром, после завтрака я отправился на Viale dei Colli и прошел ее всю, т. е. от Porta Romana до St. Miniato и дальше до самого отеля. Проходил мимо Oppenheim’a и даже пытался войти, но привратник, открывший мне ворота, сказал, что того, кто может показать виллу, нету дома. Заходил к Bonciani и посидел там. Боже мой, как мне сладки воспоминания об осени 1878 года! Да! именно: и сладко и больно. Ведь это уже не вернется! Или если вернется, то все же при другой обстановке, да и два с половиной года с тех пор прошло! Мы старше стали! Да! и больно и сладко! Что за свет! что за роскошное солнце! что за наслаждение сидеть, как в эту минуту я, у открытого окна, имея перед собой букет фиалок, вдыхать свежий весенний воздух! О, чудная, благословенная страна! Я переполнен ощущениями! Мне так хорошо, но и так грустно почему-то! Хочется плакать, и не знаешь, что это за слезы: в них есть и умиление, и благодарность, и сожаление. Ну, словом, это разве только музыка может выразить!”

301

Чайковский уехал из Флоренции поздним вечером 3 марта 1881 г. десятичасовым поездом и в шесть утра был в Риме.

С 30 ноября по 1 декабря 1881 г. П. И. Чайковский еще раз коротко останавливался во Флоренции по дороге из Венеции в Рим. Он успел тогда написать письмо фон Мекк, которая снова жила тогда во Флоренции,

и через своего секретаря (и учившегося одно время у Чайковского пианиста) В. А. Пахульского сообщила, что планирует купить здесь виллу:

302

“Как я радуюсь, что Вы надолго поселились в этом крае, как я желал бы для Вас, чтобы проект покупки виллы, о котором говорил мне Вл. А., осуществился. Чем крепче Вы будете привязаны к стране, которая возвращает Вам здоровье и силы, тем счастливее и покойнее все те, которым дорого Ваше благополучие... Весьма может статься, милый друг мой, что я последую Вашему совету и переселюсь с Модестом сюда. Никогда Флоренция не казалась мне так очаровательна, как вчера. Но боюсь, что мне трудно будет побороть страсть Модеста к Риму, которую, впрочем, я очень понимаю... Но как бы то ни было, а я, если не зимой, то весной (в феврале) в крайнем случае, один приеду пожить во Флоренцию... Я полон разных проектов и расположен в высшей степени к писанию, но ни на чем покамест еще не остановился. Мне кажется, друг мой, что теперь одно из двух: или я буду писать лучше прежнего, или же окажется, что хотя заряд мой и велик, но пороху больше нет... Одним словом, или песенка моя спета, или запою лучше прежнего...”

С 28 марта по 3 апреля 1882 г. Чайковский опять оставался во Флоренции — по дороге из Неаполя в Вену, на обратном пути в Россию. Он снял тогда номер в “Hotel Washington”, ибо в “любезном” “Hotel Milano” опять все было занято. Перед отъездом он написал по-прежнему живущей во Флоренции фон Мекк:

“Уезжая из Италии, я не могу удержаться, чтобы не поблагодарить Вас, дорогая моя, за все, чем я Вам обязан. Эти четыре месяца, проведенные мною в Италии, оставляют во мне чрезвычайно приятные воспоминания. Я отдохнул, чувствую себя бодрым и сильным физически и морально! Еду с грустью. Ничего особенно веселого не предстоит мне в России...”

303

18 апреля и фон Мекк, в свою очередь, покинула Флоренцию: ее планы купить здесь виллу так и не реализовались.

Наконец, самое известное и плодотворное пребывание Чайковского во Флоренции имело место в первой половине 1890 г. 30 января он приехал сюда из Германии со специальной целью писать оперу “Пиковая дама” по либретто своего брата Модеста Чайковского. Вместо слуги Алексея Софронова, оставшегося в России, Петр Ильич взял с собой на этот раз слугу Модеста — Назара Литрова. Для работы Чайковский снял большие апартаменты в том же “Hotel Washington” на набережной Арно (другая сторона гостиницы выходила на Borgo Ognisanti). Вечером он писал Модесту:

“Я устроился здесь в гостинице весьма удобно. У меня совершенно отдельная квартира, буду есть за отдельным столом, у Назара порядочная комната, и за все это 26 ½ франков в день (с лампой). Кажется, недорого. Квартира моя состоит из гостиной, очень банально и безвкусно меблированной, и спальни, а также темной комнатки для склада вещей. Окна выходят на Lungarno. В хорошую

погоду будет весело смотреть на едущих в Cascine. Но когда станет теплее, то жара будет, вероятно, ужасная. Мы сегодня с Назаром походили по городу, взбирались на San-Miniato, завтракали, потом устраивались в своем помещении, потом были в ваннах..."

304

С первых дней своего нового пребывания во Флоренции Чайковский с энтузиазмом принялся за работу над "Пиковой дамой", соблюдая один и тот же распорядок. Вставал без четверти восемь, пил чай, читал газеты ("Nazione" и "Figaro"), потом работал до половины первого. Далее — завтрак и прогулка до трех часов. Потом пил чай и, поскольку окна комнат выходили на набережную Арно, до четырех часов вместе с Назаром с удовольствием смотрел на вереницу экипажей, направлявшихся в загородный парк Кашине. От четырех до семи — снова работа. В семь — обед за отдельным столиком ресторана гостиницы с видом на набережную. Вечером — прогулка или театр.

Старший брат Николай в одном из писем Чайковскому рекомендовал было "переехать в более удобный и дешевый пансион Моджио", в котором сам как-то оставался, но Петр Ильич уже считал себя знатоком Флоренции и настолько свыкся с "Вашингтоном", что переезжать наотрез отказался и ответил с известной снисходительностью:

"Насчет пансиона Моджио скажу тебе, во 1-х, что вы платили так дешево, ибо это было летом. Во 2-х, в пансионах этих трудно получить совершенно отдельное

помещение и жить, не слыша, как какие-нибудь английские мисс упражняются на фортепиано или поют гаммы и подлые романсы. В 3-х, вероятно (судя по дешевизне), этот пансион не на солнечной стороне, а зимой невозможно здесь быть не на солнце, так как оно заменяет печи и без него такой холод, что никакие хоть бы целый день горящие каминные не спасут. Я же имею совершенно отдельное помещение, т.е. целый этаж узкого дома всего в три окна, выходящие на Арно и обращенные к югу, никаких соседей, абсолютное отсутствие звуков каких бы то ни было, ибо обе стены капитальные. А для меня это самое главное. Конечно, я плачу довольно дорого (30 фр. в день за мои три и Назарову одну большую комнату, еду, лампы, дрова), но это именно потому, что у меня целая квартира. Едва ли все-таки в Петербурге можно найти вполне комфортабельную квартиру на полном содержании... Работаю я от 9 до 12 $\frac{1}{2}$ и потом от 4 до 7 — всего 6 $\frac{1}{2}$ часов, что не особенно много, но так как я пишу необыкновенно аккуратно и не отступаю от заведенного порядка ни на волос, то дело подвигается быстро, и я уж теперь, если только буду здоров, уверен, что кончу оперу вовремя... Скучаю теперь не особенно мучительно; в первое же время просто до слез. Оказывается, что я гораздо более привязан к любезному отечеству, чем это можно было бы предполагать. Прелести здешнего климата и природы редко обращают на себя мое внимание. Впрочем, может быть, оттого, что я слишком поглощен своим делом. Холода стояли всё страшные; говорят, что не запомнят

в такое близкое к весне время такого продолжительного холода..."

Уже 7 февраля Чайковский в письме Модесту мог подвести некоторые итоги своей работы во Флоренции:

306

"Хотя никакого блаженства от пребывания во Флоренции я не испытываю, но прежняя болезненная тоска совершенно прошла. Работа моя пошла, и пошла хорошо, и это совершенно изменило мое нравственное состояние. Нужно во что бы то ни стало написать к весне оперу; спрашивается, отвечает ли окружающая обстановка и мой образ жизни требованиям успешной работы? Отвечаю: вполне. Ничто и никто мне не мешает, по вечерам имею возможность себя рассеивать, гулянье очень удобное — словом, все, что нужно, чтобы без ущерба для здоровья напрягать свои силы. Мне совершенно все равно, где находиться, лишь бы работалось хорошо. В России теперь нет у меня подходящего места, да если бы и было Фроловское, все-таки я бы был слишком близко к Москве, да и к Петербургу. Хорошо то, что отдаленность уменьшает мой интерес к московским музыкальным делам, которые я принимаю слишком близко к сердцу. Ну, словом, я не блаженствую во Флоренции, но нашел в ней все, что требовалось для удачной работы..."

В те дни во Флоренции Чайковский старался не пропустить ни одного заметного события: был свидетелем карнавала, открытия памятника Даниэля Манина, пуска первого парового трамвая... Каждый день совершал длительные прогулки: либо вдоль Арно до парка Каши-

не, либо по хорошо знакомым окрестным холмам на противоположной стороне реки. 18 февраля он писал Модесту:

“Погода до того сегодня божественна, я так был рад найти в Cascine несколько фиалок, что сердце мое растаяло и я воздал хвалу этой чудной стране за ее климат. Конечно, это наслаждение далеко не так сильно, как то, которое дает нам наша северная весна. Все это как будто не вовремя, не как следует, — а все-таки было приятно. Я открыл способ гулять по Cascine так, чтобы быть почти в безусловном одиночестве. Не знаю, окончательно ли наступила весна, но, судя по массе полевых цветов, кажется, что да. Я нашел, между прочим, не в самом Cascine, а около, синий цветочек, появляющийся в Каменке в апреле, — тот, что пахнет, как у детей изо рта, — знаешь? Я ужасно ему обрадовался...”

307

Почти каждый вечер Чайковский посещал местные театры: “Pagliano” на Via del Fosso, “Arena Goldoni” на Via dei Seragli, “Niccolini” (бывшем “Cocomero”) на Via Ricassoli. В те дни он вел дневник, где записи о ходе работы над “Пиковой дамой” перемежаются пометками о вечерних прогулках:

“Аида в Паглиано. Подлец дирижер. Подлые хоры. Вообще все по-провинциальному. После 2-го акта ушел”; “Шлялся по кофейням”; “Как всегда шлялся и пьянствовал”; “Гулял без пьянства”; “Pagliano. Почти до конца оставался. Амнерис и Аида — стервы. Упадок пения...”

Из дневника Чайковского мы можем узнать, например, что 23 февраля, в воскресенье, он закончил четвертую картину и начал интермедию:

“Масленица... Сначала трудно удавалось; потом пошло хорошо. Вечером страшно пьянствовал. Попал опять в постылую Аиду, и где только я не шлялся...”

308

14 марта композитор закончил сцену смерти Германа:

“Ужасно плакал, когда Герман испустил дух. Результат усталости, а может быть, того, что в самом деле хорошо...”

В те дни у Чайковского появилось новое увлечение — уличный певец-мальчик Фердинандо. Вот еще некоторые записи в дневнике:

“3 марта: «Ужасный холод и ветер. Вечером около Hotel New-York слушал певца-мальчика. Он уехал на извозчичьих кулях. Бедный, как ему холодно!»; 5 марта: «Прогулка. Певец-мальчик. Я застал его поющим под моим окном. Беседа»; 6 марта: “После обеда обычная прогулка. Певцы, но наш любимец не приходил»; 11 марта: «Обычные кафе и прогулка. Фердинандо пел в первый раз Pimpinella»; 13 марта: «Занимался усердно. После обеда прогулка. Фердинандо не пел»; 14 марта: «После обеда обычные шляния. Мандолинист и его симпатичный спутник, вероятно в последний раз мною виденный»; 18 марта: «Адская погода. Однако гулял. Вечером видел Фердинанда, но петь по случаю скверной погоды не велел...”

15 марта 1890 г. “Пиковая дама” была закончена. Для инструментовки оперы Чайковский планировал ехать в Рим:

“Я послал в Рим в разные гостиницы письма с предложением принять меня на таких-то условиях. По получении ответов решу, где буду жить, и сейчас же уеду. Пока не кончу переложения, не буду и думать о возвращении в Россию, хотя меня давно уже тянет, особенно во Фроловское...”

309

Письмо Модесту 3 марта 1890 г.

Однако переехать в Рим не удалось, и Чайковский решил закончить переложение оперы (клавираусцуг) во Флоренции:

“Я получил из римских гостиниц, в кои обращался, ответы, что отдельных помещений дать мне не могут, ибо все полно. Заключил из этого, что трудно будет устроиться так удобно, как здесь, и, хорошенько обдумав, решил, дабы не прерывать работы и не терять времени на искание помещения, продолжать хорошо работать здесь. Здесь очень скучно, очень однообразно, но нельзя выдумать более подходящих условий для работы. Ведь я приехал не путешествовать, а писать. Итак, остаюсь здесь, пока не кончу клавираусцуга...”

Письмо Модесту 17 марта 1890 г.

“Или я ужасно, непростительно ошибаюсь, или «Пиковая дама» в самом деле будет мой chef d'oeuvre. Я испы-

тываю в иных местах, например в 4-й картине, которую аранжировал сегодня, такой страх, ужас и потрясение, что не может быть, чтобы и слушатели не ощутили хоть часть этого...

Письмо Модесту 19 марта 1890 г.

310

Работа над “Пиковой дамой” привела Чайковского к нервному переутомлению, усугубившемуся к тому же простудой. Вот записи в “Дневнике” того времени:

“19 марта: «Погода ужасная. Арно бурлит. После завтрака гулял через силу и нехорошо себя чувствовал»; 20 марта: «Болен»; 21-го: «Болен»; 22-го «Болен»; 26: «Болен! Противно вспоминать это время. Только сегодня к вечеру кажется, слава Богу, лучше!» 27-го: «Хуже, гораздо хуже!»» <далее записи надолго обрываются>

Только в начале апреля Чайковскому стало лучше. 7 апреля он написал Модесту из Флоренции:

“Сегодня я первый раз после девяти недель работы ничего не делал. Провел все утро в Уффицих и страшно наслаждался, но совсем не тем, чем остальное человечество. Как бы я ни подвигивал себя, но должен сознаться, что живопись, особенно старая живопись, в сущности, совершенно недоступна моему пониманию и оставляет меня холодным. Я допускаю, что это может нравиться другим настоящим образом, т. е. доставлять живое и несомненное наслаждение, сам же придаю ужасно мало цены всем этим chef d’oeuvres. Но зато я нашел там для себя соответствующий моим вкусам источник на-

слаждения в проходе к дворцу Pitti <коридоре Вазари>. Однажды, быв еще больным, я доплелся туда и заинтересовался, но по нездоровью не мог долго остаться. Зато сегодня целых два часа провел в рассматривании старинных портретов всевозможных принцев, королей, пап и разных исторических лиц. Никто, кроме меня, кажется, никогда на них не смотрит. А между тем страшно интересно. Иные стоят или сидят как живые, окруженные соответствующей обстановкой. Отыскал там превосходный портрет Iwan Principe Czomodanoff ambasciatore Moscovito <посол московского царя князь Иван Чемаданов>. Как живой! Есть чудесный, тоже удивительно сохранившийся, портрет Екатерины Первой и множество других...”

8 апреля Чайковский выехал в Рим, где вскоре завершил инструментовку “Пиковой дамы”. Тогда же, весной 1890 г., накануне своего 50-летия он написал:

“Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода: первый период — все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй начался месяц тому назад...”

СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ФЛЕРОВ

312

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЛЕРОВ (литературный псевдоним — Сергей Васильев; 3.04.1841–5.04.1901) — педагог, журналист, театральный и художественный критик. После окончания историко-филологического факультета Московского университета занимался педагогической деятельностью. Был инспектором IV мужской гимназии, позже — гласным Московской городской думы и членом Московской городской управы. С 1875 г. — постоянный сотрудник “Русского вестника” и “Московских ведомостей”. Писал театральные фельетоны, отчеты о художественных выставках, музыкальные рецензии, в которых едва ли не первым угадал композиторский гений П. И. Чайковского.

В первой половине 1892 г. совершил путешествие по Италии. В апреле-мае некоторое время прожил во Флоренции в пансионе “Швейцария” на углу улиц Торнабуони и Винья-Нуова, прямо напротив палаццо Строцци. Этот пансион известен, в частности, тем, что здесь летом 1862 г. останавливались Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов.

Мемуарные очерки Флерова о Флоренции (они использованы во второй части настоящего издания) печатались в “Московских ведомостях”, а затем вошли в книгу “Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции” (М., 1894).

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ

314

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ (1.09.1855, Омск — 11.12.1909, Петербург) — поэт, драматург, переводчик, литературный критик, педагог. Окончил в 1879 г. историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, преподавал древние языки и историю в различных государственных и частных учебных заведениях; был директором Николаевской мужской гимназии в Царском Селе, затем — инспектором Петербургского учебного округа.

К моменту путешествия в Италию летом 1890 г. тридцатипятилетний Анненский (тогда еще относительно малоизвестный поэт и переводчик) преподавал в частной гимназии Бычкова, Павловском женском институте и на Высших женских (Бестужевских) курсах. Про-

ехав поездом через Варшаву и Вену, Анненский пробыл неделю в Венеции, потом — через Падую и Болонью — в конце июня 1890 г. прибыл во Флоренцию, где провел две недели. Спутником Анненского был его сослуживец по гимназии, будущий известный историк Е. Ф. Шмурло.

В письмах жене Надежде Валентиновне Анненской (в первом браке — Хмара-Барщевская) педантичный Анненский подробно писал о своей жизни во Флоренции:

315

“Все, что предполагалось, мы видим. Монументы, церкви, картины — все это обогащает ум. Я чувствую, что стал сознательнее относиться к искусству, ценить то, что прежде не понимал. Но я не чувствую полноты жизни. В этой суете нет счастья. Как несчастный, осужденный всю жизнь искать голубого цветка, я, вероятно, нигде и никогда не найду того мгновенья, которому бы можно сказать: «Остановись, ты прекрасно...». Теперь дождь. Я сижу в скверной нашей комнатюлке, а Шмурло где-то в кафе. Меня трактиры вообще мало занимают, а он ужасно их любит”.

Письмо Н. В. Анненской, 1 июля 1890 г.

“Деньги идут у меня ужасно. Здесь так заманчивы фотографии, мозаики, разные мелочи, что я просто боюсь теперь смотреть в окна магазинчиков... Здесь очень хорошая мужская мода. Пиджаки у многих без жилетов, а так как вообще итальянцы большие франты, то они заменяют жилет большим кушаком с ремнями, но при

этом непременно крахмальная грудь. Вообще тут все ходят в крахмальном, и я чувствую большое неудобство со своими пристежками: нельзя расстегнуться или надевай жилет”.

Письмо Н. В. Анненской, 4 июля 1890 г.

316

Сообщал Анненский и о том, как он с путеводителем Бедекера и записной книжкой в руках часами просиживал в галереях, церквях или окруженных колоннадами церковных дворах:

“...Посередине растет трава, кипарис, розовый куст, а по коридору шныряют жирные монахи с острыми глазами и тонзурой во всю голову, шныряют и высматривают, нельзя ли заговорить *forestier*’а и получить с него хоть чинкванту (полфранка)... Я исписал уже 4 книжки своими заметками и боюсь, что запружу ими весь чемодан...”

Подробно описывал Анненский даже свои обеды во Флоренции:

“В 1/2 4-го обед — *pranzo* по-здешнему. На первое кушанье я сегодня, например, взял *risotto con piseli*, т. е. большая тарелка чего-то вроде плова, очень жирного, с сыром и заправленного горошком. Сытно так, что второго кушанья я уже и не спрашивал. А то съешь котлетку, пьешь при этом красное вино с водой. Плодов я боюсь, кроме слив, а абрикосы и персики, говорят, хорошие”.

По вечерам Анненский любил подниматься на паровой конке к церкви Сан-Миниато и площади Мике-

ланджело, откуда открывается прекрасный вид на Флоренцию:

“Оттуда, напившись всякой газовой дряни или попробав мороженого и пропустив (невольнo заглядишься и залюбуешься) все пути сообщения, идешь пешком”.

По дороге из Флоренции в Рим Анненский посетил Перуджу и Ассизи. Потом побывал в Пизе, Генуе, Турине, Милане, Неаполе. Конечным пунктом итальянского путешествия Анненского был курорт Сорренто.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА

318

АЛЕКСАНДР Николаевич Бенуа (21.04.1870 — 9.02.1960) — живописец, график, театральный художник, искусствовед. Основатель художественного объединения “Мир искусства”. В 1918–1926 гг. — хранитель картинной галереи Эрмитажа. С 1926 г. жил в Париже.

Впервые посетил Флоренцию в ноябре 1894 г. во время свадебного путешествия. Поселился вместе с женой Анной Карловной, “Атей” (урожденной Кинд), в недорогой гостинице на Via Calzaioli, совсем рядом с собором Santa-Maria del Fiore.

Бенуа: *“Наконец мы во Флоренции! По фотографиям, гравюрам, по описаниям в книгах и по рассказам я успел изучить чудесный город задолго до того, как в нем по-*

бывал. Но сколько еще тут, на месте, оказалось неожиданного и прекраснейшего!”

Несмотря на то что в ноябрьской Флоренции было пасмурно и дождливо и в своем гостиничном номере супруги Бенуа мерзли, они с первого дня почувствовали душевное сродство с Флоренцией:

“Сочетание чего-то очень строгого, почти мрачного с чем-то необычайно ласковым — уже одно это сразу пленило... Несмотря на то что у нас во Флоренции не было ни одной души знакомой, мы уже через день стали себя чувствовать как дома. Стоило выйти на улицу Calzaioni, на которую глядели окна нашего albergo, как особая атмосфера какой-то домашности нас окутывала и не покидала нигде: ни в музеях, ни в церквях, ни в ресторане. Правда, эта «домашность» была на улице несколько шумливого сорта — особенно вечером на площади Синьории, где стоял неугомонный крик продавцов газет и спичек («Cento cerin — un sol», — выкрикивали мальчишки и старички на все голоса), однако эта толкучка нас уже здесь не коробила — очевидно, мы успели привыкнуть к таким формам южной экспансивности. Впрочем, здесь, во Флоренции, самая экспансивность носит более смягченный, более «тактичный» характер”.

319

В своих мемуарах А. Бенуа вспоминает о целой серии “чудесных неожиданностей”, испытанных в тот первый приезд во Флоренции (позже он бывал там часто). Особое впечатление произвела флорентийская скульптура, собранная в музее Барджелло:

“Нашим восторгам именно в Барджелло не было предела. Все эти бюсты, дышащие жизнью, в то же время являются верхом стильной выдержанности и пластического мастерства. Эти аристократы, ученые, политические деятели, почтенные матроны и поэтичные девушки, истлевшие пятьсот лет назад, благодаря магии Донателло, Дезидерио, Росселино, Мино продолжают жить, и начинает казаться, что сам был знаком с ними, слышал их голос, их смех... В то же время в этих скульптурных портретах нет и тени вульгарности. Каждый бюст представляет собой образец художественного благородства. Эта флорентийская скульптурная портретистика — целый мир, разнообразный, как живой мир...”

Еще одной “чудесной неожиданностью” явились для Бенуа фрески Беноццо Гоццолли (ученика Фра Беато Анжелико) в домашней капелле дворца Медичи на Via Larga (теперь Via Savour). Эта роскошная, недавно отреставрированная капелла, называемая “Капеллой волхвов”, в 1894 г. представилась Бенуа темной комнатой с одним выходящим во двор окном (в 1921 г., с проведением электричества, окно заложили), и даже в солнечные дни некоторые фрагменты фресок тонули во мраке. В последующие приезды во Флоренцию Бенуа имел возможность подробно рассмотреть фрески при электрическом освещении. Однако в 1894 г., вспоминал он, еще прибегали “к более первобытному способу”:

“У окна стояло большое зеркало (точнее, лист белой полированной жести), водруженное на штатив, и сторож



поворачивал это зеркало, освещая рефлексом то одну часть фресок, то другую. Это было не очень удобно для изучения самой живописи, зато получалось нечто детски-сказочное, что отлично вязалось с той сказкой, что рассказана здесь блестящим учеником Беато Анджелико <Беноццо Гоццолли> и что представляет славословящих ангелов и поезд трех царей-магов, отправляющихся на поклонение младенцу Христу. Чудесно выплывающие из мрака, благодаря отраженному свету, куски процессии, затем вновь погружавшиеся во мрак, напоминали представления волшебного фонаря. Да и впечатление того, что эти всадники в роскошнейших одеждах, эти пажы, воины, слуги, сокольничьи, царедворцы и прочая свита движутся, медленно подвигаются к цели, получалось благодаря такой смене одного образа другим”.

Было во Флоренции и много других потрясений. И хотя супруги Бенуа серьезно готовились к встрече с флорентийскими шедеврами, многое из увиденного превзошло все их ожидания. Ставший впоследствии историком искусства европейского масштаба, А. Н. Бенуа в своих позднейших мемуарах перечислил те флорентийские шедевры, которые его особенно потрясли во Флоренции в тот первый приезд 1894 г.:

“К совершенно выпадающим из ряда впечатлений принадлежат: «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фаббиано, «Видение св. Бернарду» Филиппино Липпи в церкви *Badia*, бронзовые двери Баптистерия Андреа Пизано и

Лоренцо Гиберти, фреска Перуджино в Santa Maddalena de Pazzi, фрески Беато Анджелико в монастыре Сан-Марко, скульптуры обоих Роббиа, мозаики в куполе Батистерия, архизнаменитые фрески Гирландайо в абсиде церкви Santa Maria Novella; чудесные фигуры полководцев и сивилл Андреа дель Кастаньо в Santa Appolonia и т. д.”

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
КУЗМИН

324

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗМИН (6.10.1872, Ярославль — 1.03.1936, Ленинград) — поэт, драматург, композитор, художественный и театральный критик.

В 1897 г. по совету друга детства, Г. В. Чичерина (по прозвищу “Юша”, будущего большевистского наркома иностранных дел), совершил путешествие в Италию. Проехав через Германию поездом, побывал проездом во Флоренции, откуда приехал в Рим, где с ним произошел неприятный случай. М. Кузмин потом вспоминал:

“Рим меня опьянил; тут я увлекся lift-boy’ем Луиджино, которого увез из Рима с согласия его родителей во Флоренцию, чтобы потом он ехал в Россию в качестве слуги.

Я очень стеснялся в деньгах, тратя их без счета... Мама в отчаянье обратилась к Чичерину. Тот неожиданно приехал во Флоренцию, Луиджино мне уже поднадоел, и я охотно дал себя спасти. Юша свел меня с каноником Мори, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением. Луиджино мы отправили в Рим, все письма диктовал мне Мори...

325

Итак, в конце апреля 1897 г. М. Кузмин поселился во Флоренции в доме каноника Мори по адресу: Borgo Santi Apostoli, №12 (рядом с набережной Арно в районе Ponte Vecchio). Обстановка в доме Мори была впоследствии описана Кузминым в рассказе “Крылья”, где история об итальянских приключениях главного героя Вани Смурова во многом носит автобиографический характер:

“Вот ваша комната! — объявил Мори, вводя Ваню в большую квадратную голубоватую комнату с белыми занавесями и пологом у кровати посередине; головатые стены с гравюрами святых и мадонны “доброго совета”, простой стол, полка с книгами наставительного содержания, на комод под стеклянным колпаком восковая, крашенная, одетая в сшитый из материи костюм enfant de cœur <мальчика из хора — фр.>, кукла св. Луиджи Гонзага, кропильница со святой водой у двери — придавали комнате характер кельи, и только пианино у балконной двери и туалетный стол у окна мешали полноте сходства”.

По существу автобиографичны (хотя и не лишены некоторой стилизации) и описания флорентийских прогулок Вани с аббатом Мори — *“коренастым и краснощеким, несмотря на свои 65 лет, веселым, упрямым и ограниченно-поучительным”*:

326

“Он всех и всё знал, и каждый угол, камень его Тосканы и милой Флоренции имел свои легенды и анекдотическую историчность. Он всюду водил Ваню с собою, пользуясь его положением как проезжего человека. Тут были и прогорающие маркизы, и графы, живущие в запущенных дворцах, играющие в карты и ссорящиеся из-за них со своими лакеями; тут были инженеры и доктора, купцы, живущие просто, по старине: экономно и замкнуто; начинающие музыканты, стремящиеся к славе Пуччини и подражающие ему безбородыми толстоватыми лицами и галстуками; персидский консул, живший под Сан-Миниато с шестью племянницами, толстый, важный и благосклонный; аптекаря; какие-то юноши на посылках; обращенные в католичество англичанки и, наконец, т-те Монье, эстетка и художница, жившая во Фьезоле с целой компанией гостей в вилле, расписанной нежными цветными аллегориями, с видом на Флоренцию и долину Арно, вечно веселая, маленького роста, щебечущая, рыжая и безобразная”.

Когда Мори не было во Флоренции, М. Кузмин гостил у его знакомой, маркизы Эспинати-Марати (“40 лет, но с видом 28”), в ее доме в San Agathe в пригороде Флоренции. По описаниям Кузмина, это был дом, построенный



Панорама Флоренции с высот Фьезоле (фото начала XX в.).

еще в XIII в., — “с колодцем в столовой второго этажа на случай осады, с очагом, в котором могла бы поместиться пастушья лачуга, с библиотекой, портретами и капеллой”.

Вместе с маркизой Кузмин совершал ежедневные конные прогулки:

“Здесь у маркизы я как маленький принц; это считается самым красивым и цветущим местом Апеннин — Мугелло. И прогулки на вершины, откуда видны Средиземное и Адриатическое море, — прелестны...”

Часто отправлялись они на лошадях и во Фьезоле. В 1900-х гг. в петербургских артистических салонах стала популярной кузминская “флорентийская песенка”, начинавшаяся словами:



Вид на холмы Фьезоле со стороны Сан-Доменико
(фото начала XX в.).

*Если завтра будет солнце,
Мы во Фьезоле поедем...*

Проведя во Флоренции весь май и часть июня, Кузмин через Венецию и Вену вернулся в Петербург. Биограф и исследователь творчества Кузмина Н. А. Богомолов писал:

“Для человека того времени и того круга Кузмин путешествовал чрезвычайно мало, но интенсивность переживаний оказалась столь велика, что и тридцать лет спустя он мог мысленно отправиться в путешествие по Италии, представляя его во всех подробностях”.

В апреле 1921 г. М. Кузмин написал стихотворение о Флоренции.

УТРО ВО ФЛОРЕНЦИИ

*Or San Michele,
Мимоз гора!
К беспечной цели
Ведет игра.
Веточку, только веточку
В петлицу вдень —
Проходишь весело
С ней целый день.
В большой столовой
Звенит хрусталь,
Улыбки новой
Сладка печаль!
Какой-то особенный,
Легкий миг:
Блестят соломенно
Обложки книг.
В каком Апреле
Проснулись мы?
На самом деле
Нет тюрьмы?
Свежо и приторно...
Одеколон?
Тележка подана,
Открой балкон!*

ВАЛЕРИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
БРЮСОВ

330

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ (13.12.1873, Москва — 9.10.1924, Москва) — поэт, прозаик, литературовед, переводчик. С ранних лет стал поклонником итальянской литературы — Данте, Петрарки, Боккаччо. Писал стихи на итальянские сюжеты.



Гостиница “Roma” на площади Santa-Maria Novella.

ФЛОРЕНЦИЯ ДЕКАМЕРОНА

(21 июля 1900 г.)

*Вы, флорентинки прошлых дней! — о вас
Так ясно я мечтал в обманах лунных,
О быстром блеске ваших крупных глаз.
Сады любви в тиши оград чугунных,
Певучий говор и жемчужный смех,
Рассказы с перебоем песен струнных.
Принцессы, горожанки — здесь у всех
Веселость, острый ум, и взор лукавый,
И жажда ненасытная утех.
Красавца видя, все полны отравой,
И долго жадный взор его следит.
Для вас любовь всегда была забавой!
Вам было непонятно слово «стыд»!
Среди земных красот, земных величий
Мне флорентинки близок лживый вид,
И сладостно мне имя Беатриче.*

331

Впервые В. Я. Брюсов побывал во Флоренции во время итальянского путешествия с женой Иоанной Матвеевной (урожденной Рунт) и сестрой Надеждой Яковлевной в июне-июле 1902 г. Брюсовы тогда оказались во Флоренции дважды (после падения венецианской башни Сан-Марко они на несколько дней снова съездили в Венецию) и жили сначала в пансионе

на Via Nazionale, а затем в гостинице “Roma” на площади Santa-Maria Novella. В конце июня 1902 г. в одном из писем из Флоренции Брюсов сравнивал её с ранее любившейся ему Венецией:

“Венеция прекрасна своей ненужностью, своей бесполезностью — она безумие, она бессмыслица, и за это прощаешь ей всю ее театральность и ее грабительство. А Флоренция — город живой, европейский, живущий собственной жизнью. В Венеции главная красота — она сама, жизнь ее каналов, ее женщины в черных шалях и столь же черные гондолы. Во Флоренции красота запрятана в музеях. Зато сила былой жизни в этих флорентийских музеях поразительная. Святой и умиленный Боттичелли и совершенный Рафаэль, ангельский Джотто, неземной Перуджино — всё это можно постичь лишь здесь...”

В том же 1902 году В. Брюсов опубликовал в “Русском листке” (под псевдонимом “Аврелий”) очерк о Флоренции, который использован во второй части данной книги.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ

333

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ (20.04.1856, Ветлуга Костромской губ. — 5.02.1919, Сергиев Посад) — философ, литератор. Заграница мало интересовала Розанова; он выезжал туда всего три раза — в 1901, 1905 и 1910 гг. Позднее в “Опавших листьях” Розанов признавался:

“Кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен”.

Весной 1901 г. Розанов вместе с женой Варварой Дмитриевной и падчерицей А. Бутягиной предпринял путешествие по Италии. О своем настроении перед этим путешествием Розанов позднее написал:

“В Европу можно ехать с пустым сердцем: тогда в ней ничего не увидишь... Я поехал туда с другим намерением: посмотреть усталым взглядом усталых людей. Мне хотелось взглянуть на Европу как на место чудо-



“Casa Nardini” на площади Дуомо. Здесь останавливались В. В. Розанов, И. М. Гревс и другие русские путешественники.

вишней исторической энергии, где отложились слои великого труда, подвигов, замыслов, гения, надежд и разочарований”.

По дороге из Венеции в Рим Розановы провели несколько дней во Флоренции, где остановились в популярном среди русских путешественников пансионе Нардини на площади Дуомо, №7; окна их комнат выходили прямо на собор Санта-Мария дель Фьоре.

Возвратившись в Россию, В. Розанов написал ряд “итальянских очерков” — о Риме, Неаполе, Венеции, Флоренции. Очерк о Флоренции (фрагменты которого цитируются во второй части настоящего издания) был впервые опубликован в седьмом номере журнала “Мир искусства” за 1902 г. с иллюстрациями Льва Бакста. Впоследствии очерк вошел в книгу Розанова “Итальянские впечатления” (СПб., 1909).

Очень точно охарактеризовал розановскую книгу об Италии П. П. Муратов:

“В этой странной и такой чисто русской книге не слишком много Италии. Ее автор, чувствующий с единственной в своем роде глубиной уклад русской жизни, даже и в Италии всегда как бы повернут лицом к России. Не только его мысли, но даже и взоры обращены домой. Он не был свободным странником; есть что-то похожее на “отпуск” в его досуге и на “отлучку” в его путешествии. Но слеп будет тот, кто не заметит и в этих страницах “Впечатлений”... алмазов чистой воды и гениального воображения”.

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГРЕВС

336

ИВАН Михайлович Гревс (17.05.1860, с. Лутвиново Бирючинского уезда Воронежской губ. — 16.05.1941, Ленинград) — историк, культуролог, педагог. Особой заслугой И. М. Гревса является воспитание целой группы талантливых учеников, прославивших российскую науку и культуру, — таких, как Л. П. Карсавин, Г. П. Федотов, Н. П. Оттокар, О. А. Добиаш-Рожественская и др.

И. М. Гревс родился в семье военного (потомка выходца из Англии, еще при Петре I поступившего на русскую службу), участника Крымской войны 1854-1855 гг., героя обороны Севастополя, вышедшего в отставку в чине поручика. Окончил историческое отделение Санкт-Петербургского университета (по курсу академика В. Г. Васильевского). Приват-доцент, затем профес-

сор Петербургского университета и Высших женских (Бестужевских) курсов. Специалист по истории Римской империи и итальянского средневековья.

Первый раз побывал в Италии осенью-зимой 1890-1891 гг. Позднее он вспоминал, как впервые въехал во Флоренцию “ненастным сентябрьским вечером”, после того как только что перед тем “перебрался пешком через Сен-Готард, пробыл день на Комском озере и целое утро провел под сводами и на крыше Миланского собора...”

337

Приехав во Флоренцию в сентябре 1890 г., И. М. Гревс вместе с женой Марией Сергеевной (урожденной Зарудной) поселился сначала в отеле “Cavour” на Via del Proconsolo, а на следующий день переселился в недорогой пансион рядом с Porto San Niccolo.

И. М. Гревс имел с собой рекомендательные письма от М. П. Драгоманова к профессору А. де Губернатису и от живущего в Лозанне А. А. Герцена (сына А. И. Герцена) к профессору П. Виллари. Ежедневно к девяти утра отправлялся в Национальную библиотеку, которая тогда располагалась в здании Уффици (со входом со стороны галереи) и, проходя через мост *alle Grazie*, всегда останавливался, чтобы полюбоваться видом Флоренции. Занимался в библиотеке до часу-двух; завтракать ходил обыкновенно домой (“*во Флоренции все рядом*”) или, как сам вспоминал, “*съедал булку с сыром или ветчиной под Loggia dei Lanzi*” (на площади Синьории, рядом со Старым дворцом). Во второй половине дня совершал с женой прогулки по *Viale dei Colli*, в *Bellosquardo*, в парк



Вид на Ponte alle Grazie со стороны Уффици
(фото конца XIX в.).

Cascine или более дальние — во Fiesole или Certoza. Любимым занятием Гревса во Флоренции стали так называемые “монументальные прогулки” (его собственный термин), связанные с изучением истории города и его главных архитектурных памятников; результатами этих исследований Гревс потом щедро делился со своими учениками во время неоднократных совместных поездок во Флоренцию.

В первый приезд (осень 1890 г.) Флоренция настолько увлекла Гревса, что он задержался там гораздо дольше запланированного:

“Первоначальный план пробыть во Флоренции туристическим образом дней десять расширился: мы остались там целый месяц — я втянулся в историческую работу, в библиотеке и на памятниках, и незаметным образом же намерение как можно тщательнее подготовиться к Риму, которое осуществлялось во Флоренции, привязало меня к ней самой”.

339

Во Флоренции Гревсы застали торжества по случаю открытия памятника королю Виктору Эммануилу в центре столицы.

Гревс: *“Чтобы создать площадь, достойную короля-объединителя, флорентийцы решились разрушить великолепные остатки давнего средневекового прошлого, целую сеть улиц, переулков, типичных дворцов и приходов, множество неподражаемых домов, целый квартал древнего еврейского гетто. Разрушили драгоценности, создали банальщину, но отпраздновали с большой помпой, чуждой, однако, всякой оригинальности. Приезжал король с королевой и наследником, со всем кабинетом Криспи, был военный парад, были гражданские речи, банкет, пущен был с высоты Сан-Миниато блистательный фейерверк. Но все страдало холодностью и шаблоном. Старая Флоренция как бы мстила за посягательство на ее неприкосновенность... Но это был ничтожный диссонанс в общем светлом созвучии нашего первого пребывания во Флоренции”.*

С тех пор И. М. Гревс бывал во Флоренции еще десять раз. Был он там с женою и маленькими дочерьми Екате-

риной и Александрой летом 1900 г.; бывал с отдельными учениками, с двумя экскурсионными группами (в 1907 и 1912 гг.) — в общей сложности, по его собственным подсчетам, он прожил во Флоренции не меньше полугода.

340 В 1902 г. И. М. Гревс написал книгу “Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры” (издана в Москве в 1903 г.), во введении к которой обосновал необходимость для каждого молодого историка много путешествовать:

“Кому удалось в юношеские годы хорошо путешествовать, тот вступает в жизнь с незаменимым запасом таких знаний, умственных навыков и душевных сил, каких он не мог бы почерпнуть ни из какого источника: годы учения должны быть на самом деле и годами «странствий». Без этого трудно поддерживается прогресс в жизни духа... От книг к памятникам, из кабинета — на реальную сцену истории, и с вольного исторического воздуха опять в библиотеку и архив”.

При этом Гревс полагал, что Италия как объект путешествий стоит особняком среди других стран, ибо является “лучшей школой гуманности”, и туда непременно должен отправиться всякий, кто действительно хочет, чтобы “все человеческое было ему не чуждо”.

Однако путешествие в Италию, по мнению Гревса, принесет пользу неизмеримо большую, если станет результатом специальной предварительной подготовки, будет тесно увязано с изучением итальянской истории и культуры. Ученик Гревса, Н. П. Анциферов, впослед-

ствии известный культуролог и историк, вспоминал о “домашних семинарах”, которые Гревс организовывал в своей квартире для университетских студентов и слушательниц Высших женских курсов:

*“Семинарий по Данте студентов университета и курсисток Бестужевских курсов Иван Михайлович собирал в столовой своей квартиры на углу Матвеевской и Большой Пушкарской. На темном и ровном фоне обоев — большой портрет Данте с фрески Джотто. Мраморный бюст Данте на письменном столе кабинета. Рядом с фреской Джотто — панорама Флоренции. Мы, ученики нашего padre, сидели за длинным столом. Перед каждым лежали тетради и книги «De Monarchia» <«Монархия»>, «Convito» <«Пир»>, «Vita nuova» <«Новая жизнь»> и три части «Божественной комедии». В центре для общего пользования — три тома «Enziclopedia dantesca» Скартаццини. Основной труд, над которым мы работали, — «De Monarchia» — трактат, написанный Данте с целью содействия объединению Италии и установлению вечного мира. Каждый из участников семинария по очереди разбирал главу этого трактата. Основные понятия, заключенные в данной главе, тщательно комментировались: *pace* <мир>, *carita* <милосердие>, *justizia* <справедливость> и т. д. Занятия по Данте были прелюдией нашей подготовки к путешествию по Италии... Помимо этого Иван Михайлович прочел нам краткий курс истории Флоренции. Вместо Данте и *Enziclopedia dantesca* на столе его появились карты, планы и многочисленные*

виды Италии. Особенно тщательно Иван Михайлович ознакомил нас с планом Флоренции, выросшей из римского лагеря, с его перекрещивающимися линиями: limes cardo и limes decumanus <межи с севера на юг и с запада на восток>, сходящимися под прямым углом у Форума, где теперь Santa Maria del Fiore”.

342

Дважды, в 1907 и 1912 гг., Гревс руководил “научными прогулками” в Италию групп своих студентов и магистрантов. Маршрут начинался в Венеции; потом — Падуя, Равенна, не меньше десяти дней во Флоренции (здесь экскурсанты останавливались в пансионе Нардини на площади Дуомо, №7, рядом с собором), Прато, Пистойя, Сиена, Лукка, Пиза; переезд в Умбрию (Перуджа, Ассизи) и — в заключение — Рим. Одна из участниц этих поездок, Е. Ч. Скржинская, вспоминала:

“Иван Михайлович очень серьезно ставил задачу путешествия, основную часть которого он торжественно именовал «тоскано-умбрийским пелеринажем» <паломничеством>. Ни в коей мере не отдых и наслаждение красивой страной, а работу должно было оно осуществить. Ему предшествовала тщательная подготовка; профессор предварительно ездил в Италию с целью изучения ближайшим образом всего, что он собирался показать ученикам; студенты проходили соответствующие семинарии (по средневековым итальянским городам, по Флоренции особенно, по Данте)... Гвоздем и вершиной экскурсий была Флоренция, город, к которому неизменно обращалась любовь Гревса-историка. Он продумывал



Башня Palazzo Vecchio. Внизу вдали — Duomo
(фото конца XIX в.).

каждый шаг знакомства с замечательным центром человеческой культуры, начиная осмотр с общей панорамы с высоты джоттовской башни-колокольни, откуда открывался план постепенно выраставшего города — римского, до-дантовского, дантовского. Он интереснейшим образом строил показ трудовой ремесленной Флоренции, противопоставляя ей блестящий город Возрождения, переполненный памятниками мировой известности. В лекциях на арене самой истории сказывалось все преклонение И. М. перед светом человеческого гения и культуры, к приобщению к которой он не уставая призывал своих учеников”.

Сам И. М. Гревс считал, что успех экспедиции во многом зависит от тщательного подбора состава экскурсионной группы.

Гревс: “Соединение в одном научном предприятии юношей и девушек, идейно и идеалистически настроенных, всегда благотворно: и те, и другие вносят в общий труд особенности своего духовного склада, приемов мысли, оценок, вкусов и интересов. Кроме того, женщины придают внутренней обстановке теплоту и уют, развивают особое рвение и впечатлительную подвижность. Мужская половина, так сказать, нравственно подбирается, и товарищеское внимание ее членов приобретает рыцарственный оттенок. В русской хорошей учащейся молодежи сопутствие лиц обоего пола не родит, обыкновенно, ничего фривольного, а только поднимает веселость и бодрость, вы-

зывая благородное соревнование, приподнимая волю и энергию. Такое сочетание дает группе своеобразную живую гармонию”.

В 1911 г. было отмечено 25-летие ученой и педагогической деятельности И. М. Гревса. К этому юбилею ученики (любовно-уважительно называвшие Гревса “padre sereno” — “добрым отцом”) подготовили специальный научный сборник. В Посвящении к книге, созданной, к слову сказать, в очень непростые для научной интеллигенции годы, говорилось:

345

“Тем большую потребность испытываем мы сплотиться теснее вокруг Вас в идейном союзе и общем труде. Жизнь не ждет. Она зовет нас на непрерывную работу; и Вы, наш духовный вождь и учитель, хотя и подавленный тяжелыми ударами судьбы <незадолго перед этим у Гревса умерла дочь>, снова и снова, как в старые годы, подаете нам пример бодрого и радостного служения жизненному делу, вменяя как в долг то благоговейно-бережное отношение ко всякому чистому духовному пламени, ко всякому внутреннему свету, которое, как признано всей мировой ассоциацией божьих трубадуров, было и остается лучшим Вашим свойством как учителя и человека”.

После большевистской революции И. М. Гревс остался в России. Работал сотрудником Центрального бюро краеведения, организовывал путешествия молодежи по Волге, по Орловской и Курской областям, по северному озерному краю... В 1934 г., после издания Постановления

о преподавании истории и возрождении исторических факультетов, вернулся в Ленинградский университет.

16 мая 1941 г., не дожив одного дня до своего 81-летия, И. М. Гревс скончался в Ленинграде, в своем рабочем кабинете, где висели портреты рано умершей младшей дочери и молодого Данте, а также широкая панорама Флоренции среди тосканских холмов. Жена Гревса и вторая дочь умерли спустя несколько месяцев в голодную блокадную зиму.

ЛЕВ
ПЛАТОНОВИЧ
КАРСАВИН

347

ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ КАРСАВИН (13.12.1882, Петербург — 20.07.1952, концлагерь Абезь, Коми) — историк-медиевист, философ, богослов. В 1906 г. окончил историко-филологический факультет университета, где учился у таких знатоков Италии, как И. М. Гревс и Д. В. Айналов. Летом 1906 г. был командирован в Италию. Вместе с женой Лидией Николаевной Кузнецовой побывал в Венеции, Падуе, Флоренции, Ареццо, Лукке.

Карсавины приехали во Флоренцию в конце июня 1906 г. и поселились на левом берегу Арно, недалеко от дворца Питти по адресу: Via Romana, №30, второй этаж. Уже в начале июля Карсавин писал своему учителю И. М. Гревсу о том, что “сроднился с Флоренцией” и теперь знает ее гораздо лучше, чем Петербург:

“Сейчас только страшно усталый вернулся с прогулки: второй день хожу по окрестностям Флоренции; вчера ходил пешком почти до Gallazo к церкви S. Felice, сегодня за виллу Bellosquadro... С удивлением смотришь на все знакомое и близкое, и приятно называть по именам церкви и palazzi. При незначительности размеров улиц и площадей в городе, вид с окрестных гор дает даже больше чем панораму — он позволяет охватить глазом те здания, целое которых вблизи исчезает... Несмотря на каменные стены, как-то особенно приятно и интимно гулять по этим узким улицам и кое-где в просветах смотреть на Флоренцию. И в этих прогулках-дорогах в самом городе есть какая-то интимность и близость, какая-то неопределимая, не ослепляющая, но полная красота...”

Вернувшись в Петербург, Карсавин стал преподавать историю в гимназии “Императорского человеколюбивого общества” и в частной женской гимназии Прокофьевой на Гороховой улице. Его научные занятия того времени связаны с изучением текста и подготовкой перевода “Хроники” Дино Компаньи в связи с историей флорентийской знати.

Летом 1907 г. вместе с группой магистрантов и студентов под руководством профессора И. М. Гревса совершил поездку по Германии и Италии и снова побывал во Флоренции, помогая Гревсу в ознакомлении молодых эккурсантов с историей и культурой Флоренции.

Весной 1910 г., успешно сдав экзамены на степень магистра всеобщей истории, Карсавин был направлен на



Дом на Via Romana, где Л. П. Карсавин жил в 1906 г.
(современное фото).



Дом на Via Tripoli, где Л. П. Карсавин жил в 1911-1912 гг.
(современное фото).

два года за границу для работы над диссертацией — в Париж, Рим и Флоренцию. В ноябре 1910 г. Карсавины вместе с маленькой дочерью Ириной снимали во Флоренции квартиру по адресу: Corso dei Tintori, №71, третий этаж. Достоинством жилища была непосредственная близость к Национальной библиотеке, где Карсавин ежедневно занимался вместе с другим русским учеником И. М. Гревса — Николаем Петровичем Оттокаром (с 1925 г. — профессор Флорентийского университета). В те дни Карсавин писал:

351

“Теперь во Флоренции погода чудная: тепло, светло и красиво. И сам город необыкновенной своей гармонией успокаивает и радует. Все красиво. Даже современные здания не мешают, потому что и в них переживает себя старая Флоренция. И нет той тяжести, которая так давит в Риме, как давит его барокко. Из окна видим Santa Croce, купол Дуото и верхние части Кампаниллы на бледно-голубом небе”.

Письмо И. М. Гревсу, 2 ноября 1910 г.

7 мая 1911 г. в Риме родилась вторая дочь Карсавиных — Марианна. Проведя лето в курортном городке Портофино, Карсавины 1 октября 1911 г. снова приехали во Флоренцию и прожили там до лета 1912 г. Новую квартиру помог найти Оттокар — в уже знакомом районе, на Via Tripoli, №31, третий этаж (Карсавин: “вид из квартиры на Lungarno и Piazzale Michelangelo с Давидом”).

После возвращения в Россию в конце лета 1912 г. Карсавин преподавал на Высших женских (Бестужевских) курсах и в Петербургском университете. 12 мая 1913 г. состоялась защита его магистерской диссертации “Очерки религиозной жизни Италии в XII–XIII вв.”. А в 1915 г. была напечатана его докторская диссертация “Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв., преимущественно в Италии”, которую он 27 марта 1916 г. защитил на публичном диспуте.

Впоследствии Л. П. Карсавин постепенно отошел от исторической проблематики, став одним из самых значительных русских религиозно-философских мыслителей. В августе 1922 г. был арестован ГПУ и в ноябре выслан из страны. С конца 20-х годов работал в Литве (сначала независимой, потом советской). В июле 1949 г. был снова арестован, приговорен к 10 годам строгого режима и этапирован в воркутинские лагеря. 12 июля 1952 г. скончался в лагере Абезь (Коми) от туберкулеза. В 1990 г. на месте захоронения Л. П. Карсавина и еще 11 тысяч погибших в Абези был установлен памятный камень. На нем только одно слово, повторенное по-русски, литовски, коми и английски, — *“Невернувшимся”*...

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ОТТОКАР

353

Николай Петрович Оттокар (25.03.1884, Санкт-Петербург — 18.09.1957, Флоренция). Выходец из зажиточной семьи немцев-лютеран. После окончания гимназии поступил на исторический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил с отличием. Учился в Дантовском семинаре И. М. Гревса вместе с Л. П. Карсавиным.

В 1906 г. впервые побывал во Флоренции, а в 1912 г. обосновался здесь надолго, получив стипендию от Министерства народного просвещения. Вместе с приехавшей из России матерью, снимал квартиру на Лунгарно делле Грации, неподалеку от Национальной библиотеки. Встретивший Оттокара во Флоренции весной 1912 г. юный В. В. Вейдле рисует такой портрет:

“Широк в плечах он был, но не мускулист. Темные волосы, небольшие усы. Матовое белое лицо, порой розовевшее очень нежно. Прекрасные глаза, лоб, также и руки, а нижняя часть лица менее удалась; позже в России он похорошел, когда отпустил себе бородку Henri IV. Похож в целом больше на итальянца, чем на русского...”

Летом 1912 г. Н. П. Оттокар принял участие в качестве преподавателя в очередных “итальянских экскурсиях” группы русских студентов из петербургского семинара И. М. Гревса. По воспоминаниям участников, он блистательно водил экскурсии по Флоренции, Сьене, Сан-Джиминьяно, Ассизи. Один из участников поездки 1912 г., ученик Гревса Н. П. Анциферов (впоследствии тоже известный историк), вспоминал о встречах с Оттокаром во Флоренции:

“Я не ожидал таким увидеть ученика профессора Гревса. Он был одет «с иголочки». Великолепная панамма, серый костюм со всеми складочками (словно его только что утюжили заботливые руки), галстук бабочкой, сверкающие туфли — могли заменить зеркало. На руках необыкновенного цвета перчатки (помнится, сиреневого). Гладко выбритый, крепкий подбородок, черные холеные усики, несколько оттопыренные губы (зубы слегка выдавались) и глубоко сидевшие, яркие, блестящие глаза. «Какой же он чужой», — подумал я, и мне было как-то не по себе из-за того интереса, который проявляли к нему девушки...”



В мае 1914 г. Н. П. Оттокар женился во Флоренции на Софии-Антуанетте (Антуанетте Эмильевне) Бергман, американке норвежского происхождения. После начала первой мировой войны вернулся в Россию. Преподавал в Петроградском, а затем в Пермском университетах.

356

В 1919 г. Оттокар снова отправился в Италию в научную командировку от Наркомата просвещения и Академии наук, из которой в Россию не вернулся. В 1923 г. он перешел на положение эмигранта и стал профессором Флорентийском университета. В 1926 г. во Флоренции вышла его книга “Коммуна Флоренции в конце тринадцатого века”, которая затем не раз переиздавалась.

В 1930 г. женился вторично — на итальянке Корнелии Ронделли и вскоре перешел в католичество: восприемником при крещении стал друг Оттокара — профессор Флорентийского университета Джорджо Ла Пира, будущий мэр Флоренции и крупнейший общественный деятель.

Тем не менее, Н. П. Оттокар продолжал поддерживать тесные связи с православной общиной Флоренции, был завсегдатаем “Русской чайной” на Via dei Servi, которую содержала его друг Анна Владимировна Харкевич-Левицкая — дочь настоятеля Христорождественского православного храма В. И. Левицкого и жена регента хора А. К. Харкевича.

В 1940-е гг. Н. П. Оттокар издал две новые, получившие известность книги: “Флоренция: очерк флорентийской истории и культуры” и “Сиена: очерк сиенской

истории и культуры”. Во Флоренции он жил многие годы около Piazza Donatello в доме с дровяным отоплением: однажды, работая до поздней ночи, он отравился угарным газом от неправильно топленной печки, после чего долго болел.

Н. П. Оттокар скончался во Флоренции в ночь на 18 сентября 1957 г. и был похоронен на кладбище “Аллогри”. На его надгробии высечена надпись по-итальянски: “Русский по происхождению, флорентиец по выбору...”

357

Николай Петрович Оттокар — почетный гражданин Флоренции; его именем названа одна из новых улиц города, который он считал “своей второй родиной”.



Кладбище Allori во Флоренции.

Приложение II

Н. ОТТОКАР

Флоренция — “город камней”

358

Флоренцию часто — и не вполне справедливо — называют городом цветов (*Città dei fiori*). В действительности же, цветов во Флоренции весьма немного, и они никак не являются основной характеристикой этого города. Если и есть нужда в прозвании, и в прозвании точном, то это, скорее, — “город камней”. В самом деле, именно камень — один из наиважнейших элементов внешнего вида Флоренции и одна из главных составляющих ее духа. Речь идет, естественно, не о суровости камня, а о его твердости, весомости, силе. Твердый, основательный, крепкий и, прежде всего, здравый — таков дух Флоренции, запечатленный и в ее жителях. Здесь вы не найдете сентиментальную расслабленность, романтическую экспансивность или стремления к бесконечному, не встретите и повествовательной любви к деталям, путь и изысканной, но одновременно и инфантильной, натуралистической. Подобные качества, к примеру, свойственны готическому духу Сиены, в то время как Флоренция — это сама размеренность, порядок, выдержанность и наполненность — все то, что называется классикой.

Флорентийское искусство не ищет потустороннего, а утверждается в себе самом и утверждается совершеннейшим образом. Если искусство готическое устремляется к запредельному, божественному, то искусство флорентийское, по сути дела классическое, само себя полагает проявлением божественного — оно усваивает совершенство, а не стремится к нему. Вот почему флорентийский менталитет явным образом отстраняется от тенденций готики, у которой он чувствует удаленность от ценностей самодостаточных, то есть от классического настроя внутреннего совершенства. Для натуры флорентийцев показательно бросающееся в глаза отсутствие готической архитектуры. Местное зодчество — всегда классично, а в периоды, когда мода требует дани готике, Флоренция поступает лишь несколькими малозначительными декоративными фрагментами, ничего не меняя в классической сущности.

N. ОТТОКАР. Firenze. Cenni di storia e di cultura fiorentine.
Firenze, 1940. *Пер. с итал.* М.Г. Талалая

ФЕДОР
АВГУСТОВИЧ
СТЕПУН

360

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН (18.02.1884, Москва — 23.02.1965, Мюнхен) — философ, писатель, мемуарист. После окончания московского реального училища св. Михаила и отбытия воинской повинности в качестве вольноопределяющегося отправился изучать философию в Германию. В 1909 г. 25-летний выпускник Гейдельбергского университета Степун поехал в Италию для организации итальянского издания задуманного им Международного журнала по философии культуры “Логос”, что, как он позднее признал, *“было верхом чисто футуристической храбрости, чтобы не сказать — дерзости. Не зная ни слова по-итальянски, я решил, что обойдусь скромным знанием французского языка и выразительной итальянской жестикуляцией”*.

Степун воспользовался формальным приглашением в Италию графа Кальдерони, с которым познакомился в Гейдельберге на 3-м Международном философском конгрессе 1908 г. (его председателем был учитель Степуна Вильгельм Виндельбанд): *“Приглашение было, конечно, только любезною фразой — я решил принять ее всерьез”*. Деньги на поездку дал знакомый по Гейдельбергу и Фрайбургу, сын богатого бессарабского помещика, поклонник Монтеня, Паскаля и Гегеля, свободно говоривший на нескольких европейских языках, Михаил Иванович Катарджи.

361

Однако, как заметил Степун, *“храбрость почти всегда побеждает в содружестве со счастливой случайностью”*, и успех его *“научно-издательской миссии”* в Италии был бы абсолютно невозможен, если бы, приехав во Флоренцию, он *“поселился в каком-нибудь заштатном итальянском альберго”*. Однако гейдельбергский товарищ Степуна, выходец из флорентийской семьи и будущий известный филолог и историк Леонардо Ольшки, рекомендовал ему популярный в европейской профессорской и писательской среде частный пансион на Via Montebello, 50. Хозяйкой пансиона, в котором останавливались многие светила европейской науки и культуры (например, философы Георг Зиммель и Эдмунд Гуссерль) была тридцатисемилетняя русская, Лидия Александровна Висковатова, урожденная Митькова, жившая во Флоренции с дочерью Еленой. В мемуарах *“Бывшее и несбывшееся”* Степун позднее вспоминал:

“Лидия Александровна Висковатова оказалась на редкость милой и высококультурной русской женщиной. Покинув еще девочкой Россию, она горячо привязалась к своей второй родине. Человек малопрактичный и совершенно не ценящий материальных благ, Лидия Александровна смотрела на свой пансион не как на коммерческое предприятие, а скорее как на институт по изучению культуры и природы Тосканы...”

В своем “романе в письмах” “Николай Переслегин”, который носит отчетливо автобиографический характер, Степун, по выражению его биографов, “создал флорентийскому пансиону литературный памятник”; его русскую хозяйку он вывел под вымышленным именем, а в остальном наверняка абсолютно точен:

“Живу я здесь в маленьком пансионе; в нем останавливаются почти исключительно ученые и художники. Содержит его не очень молодая, странная, милая и, кажется, глубоко несчастная русская барыня, Екатерина Львовна Скопина. Говорит она почти всегда по-французски, жестикулирует по-итальянски, но зато молчит в своем большом оренбургском платке за маленьким медным самоваром как-то глубоко по-русски. Так молчат на Руси старые каменные столбы при въездах в заброшенные усадьбы. У нее восковое, изнуренное лицо, большие прекрасные глаза, цвета зеленых вод Перуджиновских озер и прелестная, черноглазая, семилетняя дочь итальянка, которая рисует изощренно, как Сомов, и со дня на день все больше и больше привязывается ко мне...”



Картезианский Монастырь под Флоренцией.

Попасть в пансион m-me Висковатовой, имевший репутацию “богемного”, было непросто: все комнаты были расписаны надолго вперед. Однако появление молодого ученого из России обрадовало гостеприимную хозяйку:

“Несмотря на свою любовь к Италии, она, словно мелодию, которую внутренне слышишь, но спеть уже не можешь, носила в себе живую тоску по России. Так как все комнаты были заняты, Лидия Александровна уступила

мне свой будуар и с радостью принялась помогать мне в дорогом ее сердцу деле сближения России и Италии... Нельзя же было идти к профессорам и писателям тосканской столицы с теми скудными, отвлеченными сведениями, которые я вынес из университета и случайного чтения..."

364

Висковатова взяла на себя опеку над новичком. Поскольку лично сопровождать гостя в походах по галереям и церквям она не могла, она ежедневно за утренним кофе направляла изучение Степуном Флоренции, а вечером подробно расспрашивала о впечатлениях:

"Этим критическим вопросам и попутным замечаниям я в некоторых отношениях обязан больше, чем книгам Бургхардта, Вельфлина и других знаменитостей, по которым я готовился к своей итальянской поездке и которые перечитывал по вечерам..."

Первые ощущения от своего опыта "вживания во Флоренцию" Степун описал в "Николае Переслегине":

"Я помню свой первый приезд во Флоренцию, помню, как целыми днями бродил по площадям и музеям, как ночами простаивал у залитых лунным светом стен, среди закутанных в свои черные плащи кипарисов, блаженно освобожденный прекрасною прозрачной четкостью Италии от мучительной бесформенности и невучей мечтательности моих русских настроений. В мой первый приезд я страстно полюбил Италию... Вчера весь день провел в Чертозе (картезианском монастыре недалеко от Флоренции — А. К.). На обратном пути долго сидел на белой стене и ел фиги. Небо было изумительно ясно. Внизу в си-

неющем тумане мерцала Флоренция, кругом серебрились оливы и краснел лист виноградников. Где-то тихо звонили колокола. У меня было так хорошо на душе, как уж давно не было...

Со временем Степун по достоинству оценил не только художественное наставничество Висковатовой, прекрасно разбиравшейся во флорентийском искусстве, но и ее знание и тонкое понимание природы Тосканы:

365

“Ее бесхитростные, в техническом отношении почти беспомощные акварели охотно покупались людьми, влюбленными в окрестности Флоренции. Они ценили тишину, отрешенность и мудрость этих небольших листков, внушенных Лидии Александровне кистью Беато Анжелико и молитвами Франциска Ассизского... Рассматривая акварели Лидии Александровны, я горячо доказывал ей, что в ее работах больше России, чем Италии, больше трепета нестеровских березок, чем четкой торжественности кипарисов. Волнуясь моей неспособностью отрешиться от типичного для всех туристов поверхностного восприятия Италии, она с большим терпением учила меня слушать божественно-нежную музыку тосканской природы. Я старался, но малоуспешно. Окрестности Флоренции: колоннады кипарисов, стесненные каменными оградами дороги, амфитеатры виноградников — все это казалось мне скорее прекрасно исполненными театральными декорациями, чем тою живою природою, к которой я с детства привык прислушиваться с закрытыми от полноты чувств глазами. «Нет, — твердил я

своему милому гиду, — с этою замкнутою в себе, немою и строгою композицией мне никогда не слить своей души. Под пиниями и кипарисами я легко могу себе представить свою надгробную плиту, но я не представляю себе, чтобы я, подобно Вертеру, разрыдался под ними или, еще того невозможнее, бросился бы, как Алеша Карамазов, целовать итальянскую землю. Для меня в ней нету тоски по бесконечности»...

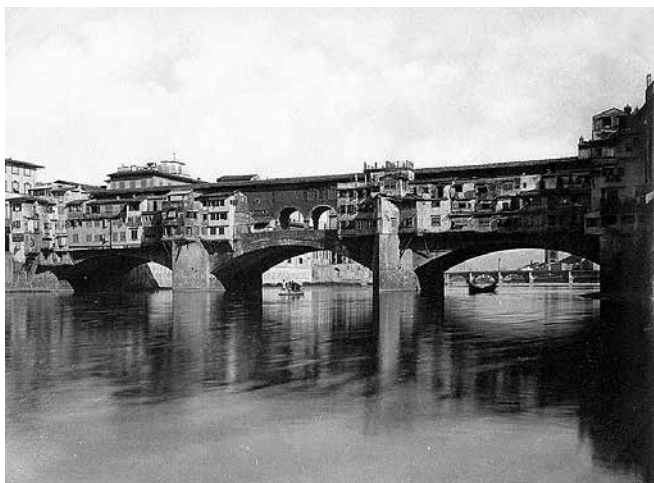
Этот свой молодой скепсис в отношении тосканской природы Степун выразил и в “Николае Переслегине”:

“Странно, но мне совершенно чужды окрестности Флоренции. Они очень красивы, но в них совершенно нет живой природы. Я хочу сказать, что в тосканской природе нет того, что из-за каждого плетня смотрит на Вас со скудных русских полей, — живой человеческой души. Тосканский пейзаж совсем не собеседник, а в себе замкнутая немая композиция. Всего только “очей очарование”, он не проливается в душу, но противостоит душе. Всякая человеческая душа — порыв в бесконечность, а тосканский пейзаж, законченностью своих форм, весь устремлен к кругу. Но убегающую в бесконечность прямую нельзя слить с кругом. Закон их общения — всего только закон касания. Точкою соприкосновения моей души и тосканской природы было, вероятно, лишь то, в сущности поверхностное, наслаждение, которое мне доставляла декоративная прелесть флорентийского вида. Сейчас дар такого наслаждения притуплен во мне, и я часто возвращаюсь с прогулок к себе в комнату и сажусь

читать Чехова или Достоевского. Если бы Вы знали, как иной раз хочется выйти на родной калужский тракт, взглянуть на бурый откос над Окой, на серые нахохлившиеся избы, затканные косыми нитями беспросветного осеннего дождя”.

В реальных, длившихся иногда за полночь, спорах Степуна с Висковатовой часто принимал участие еще один обитатель пансиона — молодой (всего на три года старше Степуна), но уже известный флорентийский писатель Джованни Папини, спустя несколько лет прославившийся своим автобиографическим романом “Конченный человек” (“Uomo finito”). Эту книгу Степун увидел лишь в 1922 г. “в мрачном, нищем, пореволюционном Берлине”:

“Углубившись в нее, я живо вспомнил 1909 год, пансион на Via Savour и самого автора, бывшего в наших спорах с Лидией Александровной почти всегда на ее стороне. Дойдя в седьмой главе до описания флорентийской деревни, я почувствовал, что он каждым своим словом описывает не только тосканскую, но и подмосковную деревню: «все, что во мне есть поэтического, меланхолического, я получил от своей деревни, где я научился дышать и мыслить, деревни голой, бедной, серой, чуждой пышности, роскоши красок, запахов, но интимной, близкой сердцу, требующей тонкой чувствительности и возбуждающей иллюзию бесконечности». Я закрыл книжку и задумался. Мне страшно захотелось во Флоренцию, чтобы папиниевским, итальянским глазом посмотреть еще раз на Италию...”



Понте Веккьо (нач. XX в.)

С немецкоязычными обитателями пансиона Федор Степун быстро наладил доверительные отношения: выросший в культурной русско-немецкой семье, он владел языком в совершенстве. Профессор Базельского университета Карл Йозль, известный в европейских научных кругах философ-идеалист, с первых же дней общения подпал под обаяние молодого россиянина и вскоре стал одним из авторов “Логоса” (уже во втором номере русскоязычной версии журнала был опубликован перевод его получившей широкое признание статьи “Опасность современного мышления”).

Высоко ценил Степун и свое близкое общение с другим европейским интеллектуалом, австрийским литератором Францем Блеем — как его аттестовал Степун, *“ценителем и переводчиком французов, утонченнейшим эссеистом, злым сатириком, актером-любителем и профессиональным донжуаном”*. Блей в то время был увлечен написанием книги, принесшей ему мировую славу, — “Великий литературный зверинец”, где сатирически уподоблял мэтров мировой литературы рыбам, птицам, земноводным, большим и мелким млекопитающим и пр. Один из его “героев”, Франц Кафка, удостоившийся сравнения с “птицей, питающейся горькими корнями”, с восторгом оценил книгу Блея как блестящую панораму, где “мировая литература дефилирует перед нами в подштанниках”, а самого Блея — как “человека огромного ума и остроумия, восточного рассказчика историй и анекдотов, по ошибке попавшего в Германию”.

Из Флоренции Степун (также в целях налаживания контактов с итальянскими философами) на полтора месяца съездил в Рим:

“Рим произвел на меня очень большое впечатление, но никаких своих слов, достаточно точных и живых для передачи этого впечатления, в моем распоряжении нет по принципиальной невозможности описать “вечность”... С Римом встречаешься как-то иначе: не как с новым событием в своей жизни, а как с вечным бытием истории. Сказать о Риме, хотя бы только о его внешнем облике, об его античных, христианских, возрожденческих

камнях нечто точное, верное можно, как мне кажется, только в форме искусством углубленного раздумья над судьбами человечества..."

370 Возвратившись во Флоренцию, в ставший уже родным "русский пансион", Степун, иногда в сопровождении Висковатовой, продолжил свои флорентийские прогулки и знакомства:

"Сближало Россию и Италию, по крайней мере, русскую и итальянскую интеллигенцию, во-первых, естественная простота общения, а во-вторых, обилие свободного времени. Не помню, у кого мы несколько раз бывали с Лидией Александровной, но вспоминаю какие-то небольшие, лишь самую необходимую мебелью обставленные комнаты, обилие красного вина, клубы табачного дыма и шумные «московские» беседы, с тою только разницею, что итальянки не принимали в них никакого участия".

Из новых знакомых особенно запомнился Степуну англичанин Гордон Крэг, режиссер-новатор, долгое время живший и работавший во Флоренции, — в квартире на Lungarno Acciaoli, № 2, рядом с Ponte Vecchio, и на вилле Santucchio на Via San Leonardo на левом берегу Арно. Англичанина, в свою очередь, не мог не заинтересовать молодой русский — тоже театрал и сам не лишенный актерских способностей. Крэг в ту пору был занят совместной постановкой с К. С. Станиславским "Гамлета" в Московском художественном театре: он был сценографом, автором декораций и костюмов. При том, что он пе-



риодически ездил в Москву и находился в постоянной переписке со Станиславским и О. Л. Книппер-Чеховой (игравшей в “Гамлете” королеву), работа над спектаклем велась фактически параллельно — в Москве и Флоренции. Премьера “Гамлета” с Василием Качаловым в главной роли (Крэг долго, но в итоге безуспешно, настаивал, чтобы Гамлета играл сам Станиславский), состоялась в Москве 23 декабря 1911 г.

Общение во Флоренции с Гордоном Крэгом в 1909 г., несомненно, наложило свой отпечаток на дальнейшую судьбу Степуна. В первые годы после большевистского переворота, он, не будучи в состоянии по причине фронтowego ранения быть снова призванным в армию, пытался найти себя в театральной режиссуре. Как и Гордон Крэг (и в некоторой художественной полемике с ним), Степун, захваченный революцией, но понимавший ее “совсем не по-марксистски”, выступил со своей идеей “нового театра”:

“В дни, когда, очевидно, навсегда отходит в прошлое веками слагавшийся быт России и меняется народная психология, мы не можем удовлетворяться ни утонченным психологизмом Художественного, ни бытовым натурализмом Малого, ни западничеством артистизма Камерного театров. В момент, когда на исторической сцене действуют не отдельные люди, а Бог, дьявол и народы, необходимо создать костюмно-героический театр, театр больших идей и пламенных страстей, театр возвышенного жеста и трубного судного гласа...”

Степун сумел добиться тогда у народного комиссара просвещения А. В. Луначарского (большого италофила, замеченного в особой любви именно к Флоренции) назначения “в мобилизационном порядке” на должность “идейного руководителя” московского Показательно-го театра. Сформировав труппу, он начал репетиции “Меры за меру” Шекспира — еще одно неслучайное совпадение с новаторскими исканиями Гордона Крэга!

373

Как известно, сюжет своей пьесы “Measure for measure” Шекспир заимствовал из одной средневековой итальянской хроники, но перенес действие в Вену. Впоследствии А. С. Пушкин в поэме “Анджело” (1833), являющейся, в свою очередь, переложением пьесы Шекспира, вернул действие в Италию, причем не куда-нибудь, а во Флоренцию: городом, где происходит действие, у него правит “предобрый старый Дук”. А оппонентом “доброго Герцога” является коварный наместник Анджело, в образе которого пушкиноведы единодушно признают воплощение аморального “Государя” из трактата еще одного флорентийца — Николо Макиавелли...

Как бы там ни было, московский спектакль Степуна имел большой успех у публики, состоявшей в основном из “революционной демократии”. Сам он вспоминал в эмиграции:

“Особенно живо рабочие и солдаты реагировали на диалоги палача с шутом: может быть, они чувствовали современность этих образов...”

Руководство Степуном “Показательным театром” продлилось, однако, недолго:

“Мои старания зайти в тыл пролетарской культуре и создать не театр марксистской агитации, а «театр трагического действия» увенчаться успехом, конечно, не могли... Так и не успев расцвести, была оборвана моя театральная деятельность”.

...В 1909 г. Ф. А. Степун прожил во Флоренции более четырех месяцев. Свою основную задачу — организовать итальянское издание журнала “Логос” — он успешно выполнил: всего через несколько месяцев первый итальянский “Логос” вышел из печати; во главе его встали такие звезды европейской философии, как Бернардино Вариско и Бенедетто Кроче...

“Вот и последняя ночь в милом пансионе. Наутро сердечное и даже взволнованное прощание со всеми его обитателями. В вагоне скорбное раздумье над целящей властью времени: да, ничего не забыв, так же нельзя жить, как нельзя жить, всё предавая забвению. Вся мудрость жизни, как личной, так и исторической, в том, чтобы не разрушать прошлого будущим, а строить свой завтрашний день на вчерашнем...”

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

375

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (28.11.1880, Петербург — 7.08.1921, Петроград) — поэт, драматург, эссеист. Первый раз побывал во Флоренции еще в детском возрасте во время путешествия в Италию с осени 1883 по май 1884 г. вместе с матерью и бабушкой.

В ранней лирике Блока 1901–1902 гг., составившей цикл стихов о Прекрасной Даме, отчетливо сказываются мотивы “Новой жизни” Данте и “Сонетов” Петрарки. А книга стихов “Из посвящений”, изданная в 1903 г., была оформлена репродукциями итальянских художников Возрождения: три “Благовещения” Леонардо да Винчи (из галереи Уффици) и фреска Фра Беато Анджелико из флорентийского монастыря Сан-Марко.

А. Блок снова посетил Флоренцию во время большого заграничного путешествия вместе с женой Любовью Дмитриевной по Италии и Германии весной 1909 г. По-

сетив сначала Венецию, потом Равенну и могилу Данте, Блок вместе с женой 13 мая приехал во Флоренцию. В тот же день он писал матери:

376

“Флоренция — совсем столица после Равенны. Трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают. Я пишу из хорошего отеля, где мы уже взяли ванны. Может быть, потом переселимся подешевле, но вообще — довольно дешево все. Во Флоренции надо засесть подольше, недели на две. Мы были уже у Porta Romana и у рынка, я очень смутно помню направления только и, пожалуй, Арно, а все остальное — ничего не напоминает”.

Не пройдет и двух недель — и впечатления Блока от Флоренции радикально сменились:

“...Здесь уже нестерпимо жарко и москиты кусают беспощадно. Но Флоренцию я проклинаю не только за жару и москитов, а за то, что она сама себя предала европейской гнили, стала трескучим городом и изуродовала почти все свои дома и улицы. Остаются только несколько дворцов, церквей и музеев да некоторые далекие окрестности, да Боболи — остальной прах я отрясаю от своих ног и желаю ему подвергнуться участи Мессины... У меня страшно укоротился нос, большую часть съели москиты. Папиросы мои вышли, а здесь каждая стоит около тысячи лир, так что я курю только десяток в день... Арно высохло, так что вместо воды мы умываемся черным кофеом, а мороженое привозят только раз в месяц из Стокгольма”.

Письмо матери, 25 мая 1909 г.

Уже в конце итальянского путешествия Блок в письме из Милана подвел итог своим итальянским впечатлениям:

“Надо признаться, что эта поездка оказалась совсем не отдохновительной. Напротив, мы оба страшно устали и изнервничались до последней степени. Милан — уже 13-й город, а мы смотрим везде почти все. Правда, что я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь — ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, вообще — вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа... Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться, и как будто некуда вернуться: на таможенные обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, — цензура не пропустит того, что я написал... Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать — вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная помойная яма... Подозреваю, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели: чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей. Всех дороже мне Равенна, признаю Милан, как Берлин, проклинаю Флоренцию, люблю Сполето... Очень близко мне все древнее — особенно могилы этрусков, их сырость, тишина, мрак, простые узоры на гробницах, короткие над-





писи. Всегда и всюду мне близок и дорог, как родной, искалеченный итальянцами латинский язык... Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет...”

Письмо матери, 19 июня 1909 г.

Позднее в очерке “Немые свидетели” из незаконченной книги “Молнии искусства” (октябрь 1909), посвященной Италии, Блок писал:

“Путешествие по стране, богатой прошлым и бедной настоящим, подобно нисхождению в дантовский ад. Из глубины обнаженных ущелий истории возникают бесконечно бледные образы, и языки синего пламени обжигают лицо. Хорошо, если носишь с собою в душе своего Вергилия, который говорит: “Не бойся, в конце пути ты увидишь Ту, Которая послала тебя”. История поражает и угнетает”.

Знаменитый цикл итальянских стихов Блока был написан им во время и сразу после путешествия (к которому из них он потом снова возвращался).

На предыдущем развороте: церковь Санта-Тринита.

Ф Л О Р Е Н Ц И Я

(1909)

*Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!*

381

*О, Bella, смейся над собою,
Уж не прекрасна больше ты!
Гнилой морищиной гробовою
Искажены твои черты!*

*Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!*

*Звонят в пыли велосипеды
Там, где святой монах сожжен,
Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!*

*Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!*

*Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах —
Весь груз тоски многоэтажный —
Сгинь в очистительных веках!*

382

(В черновиках этого стихотворения были также такие строки:

*В Palazzo Vecchio впуская
Своих чиновников стада,
Ты, словно девка площадная,
Вся обнажилась без стыда!*

*Ты ставишь, как она, в хоромы
Свою зловонную постель,
Пред пышным, многоцветным Диото
Внося публичный дом — отель!)*

Ф Л О Р Е Н Ц И Я

(1909)

*Голубоватым дымом
Вечерний зной возносится,
Долин тосканских царь...*

*Он мимо, мимо, мимо
Летучей мышью бросится
Под уличный фонарь...*

*И вот уже в долинах
Несметный сонм огней,
И вот уже в витринах
Ответный блеск камней,
И город скрыли горы
В свой сумрак голубой,
И тешатся синьоры
Канцоной площадной.*

383

*Дымится пыльный ирис
И легкой пеной пенится
Бокал Христовых Слез...*

*Пляши и пой на пире,
Флоренция, изменница,
В венке спаленных роз!..*

*Сведи с ума канцоной
О преданной любви,
И сделай ночь бессонной,
И струны оборви,
И бей в свой бубен гулкий,
Рыдания тая!
В пустынном переулке
Скорбит душа твоя...*

6 мая 1921 г. А. Блок в последний раз публично читал в Москве свои “итальянские стихи”. Сначала — без особого

успеха в Союзе писателей на Тверском бульваре. Потом ему была устроена подлинная обструкция в Коммунистическом Доме печати, где футуристы и пролеткультовцы встретили поэта криками: “Мертвец! Долой!” И наконец, с огромным успехом — в италофильском объединении “Studio Italiano” среди друзей-литераторов — Павла Муратова, Бориса Зайцева, Михаила Осоргина. Последний вспоминал:

“Пайковая селетка, дымящаяся печурка, валенки... — и вдруг счастливо украденное время для заседания в италофильском нашем кружке «Студио итальяно», где холод не мешал возрождать любимые образы и делиться тем, что дала нам близость общей любовницы Италии. Все в сборе — Муратов, Грифцов, Дживелегов, покойный ныне Миша Хусид, в публике — толпа итальянских воздыхателей. Дорогим визитером приехал А. Блок прочесть свои итальянские стихи — лишь за несколько месяцев до смерти. Так в дни холода и голода мы грелись солнцем воспоминаний о стране солнца”.

МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ОСОРГИН

385

Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия — Ильин; 19.10.1878, Пермь — 27.11.1942, Шабри, Франция) — прозаик, журналист, переводчик. После учебы на юридическом факультете Московского университета, которую совмещал с работой репортером в либеральных “Московских новостях”, занимался адвокатской практикой. Вступил в партию эсеров, примыкал к ее максималистскому крылу. Был арестован, полгода провел в Таганской тюрьме, приговорен к ссылке. Выпущенный под залог, с группой других беглецов из России тайно переправился в Финляндию, а оттуда через Данию, Германию, Швейцарию приехал в Италию. О своем тогдашнем путешествии через всю Европу Осоргин в 1942 г. вспоминал:

“Какое нагромождение прекрасных безделушек на нашем пути!.. Мы обращали на себя внимание и внешним видом, и громким говором: это так естественно — возвышать голос в Киеве, чтобы слышно было в Москве и чтобы откликнулись в Иркутске и Владивостоке. Мы не привыкли к миниатюрам. Я живу в Европе тридцать лет, ее масштабы давно мне знакомы, — но до сих пор иногда ощущаю себя слоном в игрушечной лавке... Громадна наша страна, и я понимаю европейцев, которые называют Сибирь русской колонией: им завидно, а Сибирь — самая подлинная Россия, ее не оторвешь. И мы — люди большого роста, крепкие и здоровые, равно привыкшие к жаре и морозу. Если бы Россия не была из века в век деревянной и горючей, она задавила бы мир архитектурой и историей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди, и старым я хвастаю только так, для сведения счетов с мурашиками, называющими нас «нежелательными иностранцами»; я не сержусь на этих мурашей, зная, что они все равно мне поклонятся, а я, по природному нашему великодушию, протяну им не два пальца, а всю пятерню: мы народ отходчивый... Я люблю в Европе северян. Мы родня. Возможно, что есть во мне и татарин, но, во всяком случае, есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одинаково молимся и лешему, и водяному. Князья и викинги, мы равно землепашцы, охотники, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без кичения голубыми кровями, без поклонения

герbam, — природные демократы... Из сердец наших — ударь кинжалом — брызнет кровь, а не немецкое пиво, не французский сидр и не патока с примесью курортных вод”.

В декабре 1906 г. прибыл в Сори (недалеко от Генуи), а в октябре 1908 г. переехал в Рим, где стал корреспондентом “Русских ведомостей”, “Вестника Европы” и других либерально-демократических российских изданий. В своем “Автобиографическом повествовании”, написанном в 1942 г. во Франции незадолго до смерти, М. Осоргин вспоминал о своем приезде в Италию:

387

*“На мне был легкомысленный серый летний костюмчик, купленный в Генуе на базаре за шесть франков, — была зима. Багаж состоял из чемодана с бельем и пишущей машинки, сохранившейся с адвокатских времен... Для моих хозяев я был «*sor avvocato*» <синьор адвокат>, для самого себя — писателем, не написавшим ничего путного, но готовым начать карьеру. Мне было ровно тридцать лет: еще вполне мыслимое начало новой жизни. И новая жизнь началась”.*

Годы спустя в своей мемуарной книге “Мои современники” писатель Борис Зайцев обрисовал свое впечатление от Осоргина в Италии:

“Изящный, художавый блондин. Нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо... Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень

с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости, позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души”.

За несколько лет журналистской работы в Италии М. Осоргин, написавший более четырехсот итальянских корреспонденций, приобрел большую популярность у читателя в России. Проживая главным образом в Риме, Осоргин много путешествовал по Италии: в одной Флоренции он, по его подсчетам, побывал не менее двадцати раз:

“Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак пиццу, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой... Для здоровых ног был одинаково легок и подъем и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли запутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся западная Европа — не резная ли табакерка, уместающаяся в кармане?”

В те годы он написал несколько эссе об итальянских городах (в том числе о Флоренции), которые затем вошли в книгу “Очерки современной Италии”, вышедшую в Москве в 1913 г.

Осоргин: *“Книга эта — плод незаконной любви к стране одного из ее загостившихся поклонников. Любви незаконной, так как она не была любовью сынов-*

ней, — слишком славянин душой, он не мог и не может забыть о другой, родной по крови матери, не такой прекрасной и не такой — ох! — далеко не такой ласковой и приветливой”.

С 1909 г. М. Осоргин работал итальянским представителем Фонда графини В. Бобринской, организующего экскурсии русских земских учителей в Европу. К 1914 г. число “туристов” из России превысило 3 тысячи человек. Друг Осоргина и тоже знаток Италии — писатель Б. Зайцев писал о том времени:

“Лучшего водителя по городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать: он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неутомимостью. Живописно ерошил волосы свои. Несомненно, некие курсистки влюблялись в него на неделю, учителя почтительно слушали. Народ простецкий, мало знающий, но жаждущий. (Около Боттичелли в Уффици один учитель спросил: «Это до Рождества Христова или после?»)”

В 1916 г. М. Осоргин полулегально, опять кружным путем через Скандинавию, возвратился в Петроград.

Осоргин: *“Когда в 1916 году я возвращался в Россию, со мной в ручном чемоданчике были две миниатюрные книги: «Божественная комедия» Данте и «Размышления» Марка Аврелия. Таможенный чиновник, изображавший одновременно и цензора, повертел в руках один томик, не понял, осведомился и вернул мне; понадеялся, что книжки не страшные, не запрещенные; обе были в пергаменте и похожи на молитвенники”.*

Пришедшее к власти Временное правительство предложило ему пост российского посла в Италии, однако Осоргин, приветствовавший Февральскую революцию, но твердо решивший не занимать никаких государственных должностей, отклонил это почетное предложение.

390

Большевистский переворот Осоргин не поддержал, хотя считал его закономерным. Отношение Осоргина к большевистскому режиму хорошо демонстрируют строки из эссе “Усталость” (июль 1919):

“И вот, в храме жизни, в святая святых, под солнышком и на святом лоне земли пять оболтусов и две чертовых куклы развели на кофейной гуще программную канитель, сушат мозг недозрелый, мажут кровью заборы и силком лезут в историю — и влезли! Лучшие их знаю, в чем доля их правды, и пуще их правду эту люблю. Но Боже — почему своим орудием человечности Ты избрал обезьяну, плоскоума с красным седалищем? И без красы и красоты учишь мир новым словам, коих святость опоганена ядом убогой и обильной болтовни? Это скучно, Господи! Это бесталанно, Господи!.. Как березовая доска — занозисто, но плоско. Как длинный, размазанный по безответной бумаге роман, ловко начатый, бездарно затянутый: конец ясен с середины, а конца нет, и несут свою унылую галиматью опостылевшие герои. Видно, стар и слаб Творец мира, создавший небо и землю, слона и мотылька, кипарис и крапиву, а теперь уже не способный черкнуть по олигархии пустых голов цензорским карандашом: не

поганьте пресными щами соли мудрости моего мироздания! Ибо пущей скуки нельзя измыслить. Конкурс бездария выигран нашими днями... Сердце мое, зачем ты выжило все это, зачем ты не умерло много раньше, в чужом краю или здесь на родине — но только ранней весной, в светлый праздник первой народной победы, радостной и бескровной?"

391

В сентябре 1918 г. Осоргин вместе с группой московских литераторов основал кооперативную книжную лавку, *"чтобы быть около книги и, не закабалая себя службой, иметь лишний шанс не погибнуть от голода"*. Б. Зайцев вспоминал:

"Книжная Лавка Писателей. Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Дживелегов и я — не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то: хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, но в лавке нашей покупатели чувствовали себя неплохо... Осоргин вечно что-то клеил, мастерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: за отменую книгопечатания (для нас, по крайней мере) мы писали от руки небольшие творения, сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали... Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть ли не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама Лавка, отсюда и коллекция Осоргина. Помещалась она у нас же, под стеклом..."

Сам М. Осоргин также оставил воспоминания о тех временах:





“С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали... Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждений, помогали любителям составить коллекции... Дома я разбирал пожелтевшие листки, забывая тухлую конину, морковный чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадуя друзей, рассказав им о своих открытиях. Лично я собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, преимущественно путешествий, от времен Шереметева до наших дней. По моем отъезде она осталась на хранении в одном из иностранных посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равно: да будет благословенна книга, давшая в жизни так много утешений и радости! Но и горя немало дает утрата любовно собранных сокровищ. Все, что было собрано в России, погибло, как позже погибло, украдено культурными бандитами накопленное мною в Париже”.

Пока было возможно, Осоргин продолжал активно печататься в ряде тогда еще свободных периодических изданий и, имея высокий авторитет в литературной среде, был избран первым председателем Всероссийского союза журналистов, а также товарищем (заместителем)

На предыдущем развороте: Вид на юго-восточную часть исторического центра с Кампаниллы Джотто.

председателя Союза писателей. Активно участвовал он и в работе “Studio Italiano” — независимого италofilmского кружка (вместе с П. Муратовым, Б. Зайцевым, А. Дживелеговым, Б. Грифцовым, М. Хусидом и др.).

В 1917–1919 гг. Осоргин написал серию новелл, вошедших в сборник “Из маленького домика”, — многие из них навеяны итальянскими воспоминаниями. В новелле “Любовь” он писал:

395

“Почему-то лучшее из пережитого мною вставлено в рамку чужих стран, чаще всего той страны, которая мне стала не совсем чужой, совсем не чужой, совсем, совсем не чужой... Хотя все это для меня было обычным, почти обывательским, но я так люблю Италию, что, живя в ней и вспоминая о ней, — пьян ею. Люблю ее за то, что вся она святая, драгоценная и светлая”.

В другой новелле — “Фотографии” — он, рассматривая висевшие в его комнате фотографии с любимыми видами Италии, размышлял о природе большевистского режима:

“Жертвы вивисекции, мы толкаемся в социальной лаборатории, как в трамвае, спеша если не занять место, то хоть прицепиться к грохочущему и в пропасть несущемуся вагону жизни... И, ставши в очередь, один в затылок другому, мы любуемся на Млечный Путь, мы чтим поэзию и воблу, целуя сахаринные уста, смеясь по карточке, рыдая по декрету. Если бы можно было засунуть голову под крыло — и спать, спать, спать. И спим. И тяжелы наши сны! И страшно наше пробуждение!”

Вскоре М. Осоргин, как активный член Комиссии помощи голодающим и как редактор печатного органа “Помгола”, был арестован, находился в Лубянской тюрьме, был приговорен к расстрелу, замененному ссылкой в Казань.

396

В 1922 г. М. А. Осоргин, в числе многих других представителей русской интеллигенции, был выслан за границу. В те первые месяцы новой эмиграции он снова посетил Италию. Заключительную неделю он провел во Флоренции, которая, по его словам, безусловно входила в список *“святых мест, дорогих воспоминанию, которые нужно посетить”*:

“За то ли, что и сейчас я верен себе, — но только случается чудо: Флоренция чарует прежним очарованием”.

Свой последний день во Флоренции Осоргин провел во Фьезоле — одном из своих любимых мест в Италии, откуда, по его словам, открывается *“лучший вид на глубочайший и одухотвореннейший город Италии”*. На закате в монастыре св. Франциска, при органных звуках Ave Maria, он, всегда считавший себя атеистом, даже помолился:

“Я молюсь звукам, их бессловесному разуму, их могучей силе уносить с собою ввысь и вширь, очищать помыслы и покоить философским покоем. Так ново и так странно молиться: земля сливается с небом и прошлое с будущим. Как счастливы те, кто умеют молиться! Как им просто жить! Я благодарен глубоко Флоренции за это последнее Ave Maria! Не растопив льда — оно согрело душу”.

В самом конце 1923 г. М. Осоргин, резко отрицательно воспринявший приход к власти фашистов в Италии, переехал в Париж. В 20–40-е годы он стал одним из самых значительных писателей русского зарубежья (его роман “Сивцев Вражек”, к примеру, был издан беспрецедентным для эмиграции тиражом в 40 тысяч экземпляров и переведен на все основные европейские языки).

Во время Второй мировой войны, после капитуляции Франции, М. Осоргин вместе с женой Татьяной Алексеевной (урожденной Бакуниной) уехал из оккупированного немцами Парижа в местечко Шабри на юге Франции. Оттуда он, уже тяжело больной, с риском для жизни переправлял в Америку и нейтральные страны Европы статьи, разоблачающие фашистский режим. Михаил Андреевич Осоргин скончался в Шабри 27 ноября 1942 г. и был похоронен на местном кладбище.

БОРИС
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЗАЙЦЕВ

398

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ (10.02.1881, Орел — 21.01.1972, Париж) — прозаик, мемуарист, переводчик, общественный деятель. В 1902 г. писатель Л. Андреев ввел молодого Зайцева, поступившего в тот год на юридический факультет Московского университета, в литературный кружок “Среда”. С тех пор Зайцев близко сошелся с участниками “сред”: Иваном и Юлием Буниными, Н. Телешовым, В. Вересаевым, С. Глаголем (Голоушевым), М. Горьким, К. Бальмонтом, В. Брюсовым. В предвоенные годы Б. Зайцев стал одним из самых известных русских прозаиков; много печатался в журналах “Новый путь”, “Вопросы жизни”, “Золотое руно”, “Перевал”, “Современный мир”, издал несколько сборников рассказов. Близко знавшая его в те годы М. Новикова-Принц писала:

“Он был среднего роста, темный шатен с бородкой и небольшими усами. Продолговатое, несколько иконописное лицо, зеленовато-серые глаза, темные, как выписанные, брови, изумительно розовый девичий цвет лица. Лицо сияло добротой, приветливой улыбкой. Порой наплывала задумчивость, шла невидимая работа... В Борисе Константиновиче было полное отсутствие приземленности. Движения неторопливые, во всем облике мягкость, тонкость. Писатель-поэт до мозга костей. Голос тихий. Порой добрая шутка. В одежде никакой небрежности — всегда подтянут, аккуратен”.

399

В 1904 г. состоялась поездка Зайцева и его жены Веры Алексеевны Смирновой (дочери А. В. Орешникова, хранителя Исторического музея) во Францию и Италию: тогда они впервые посетили Флоренцию, объездили маленькие городки Тосканы. Уже на склоне лет Зайцев вспоминал о той поездке:

“Весна в Париже, а там май, через Швейцарию, мимо Лаго Маджоре, скатываемся в благословенную Италию, сияющую и светозарную Флоренцию, залитую золотистым, голубоватым, реющим и волшебным...”

Во Флоренции Зайцевы остановились в отеле “Corona d'Italia” на пересечении Via Nazionale и Via del Ariento (эта гостиница, находящаяся в районе центрального рынка и церкви Сан-Лоренцо, существует и сегодня). Их соседями оказались знакомые по России Анатолий Васильевич Луначарский (будущий большевистский нарком) и его жена, Анна Александровна. Вместе ходили

смотреть фрески Фра Беато Анджелико и Кастаньо в монастыре Сан-Марко, любовались Боттичелли в галерее Уффици; вместе обедали в ресторанчиках “Magengo” на Via Nazionale или “Fenice” на Via dei Russi. Потом Зайцевы на неделю уезжали на море в Виареджио, затем снова на несколько дней вернулись во Флоренцию, а когда июньская жара стала нестерпимой, отправились домой в Россию, посетив по дороге могилу Данте в Равенне.

В жизни Б. К. Зайцева, как он потом признавался, это первое посещение Флоренции сыграло огромную роль:

“Началось с Флоренции 1904 года, первой встречи с Италией. Собственно, я тогда почти ничего не знал о ней. Но как город этот сразу ударил и овладел, так и семисотлетний его гражданин Данте Алигьери Флорентинец. Не могу точно вспомнить, но наверное знаю, что он поразил сразу — профилем ли, своей легендой, неким веянием над городом. Началась болезнь, называемая любовью к Италии, несколько позже и к самому Данте...”

С тех пор Зайцевы были во Флоренции почти ежегодно: в 1907, 1908, 1910, 1911–1912 гг. и всегда останавливались в том же отеле — “Corona d’Italia”, рекомендуя его и всем своим знакомым:

“С нашей легкой руки, стада русских оживляют скромные коридоры с красными половичками скромного albergo”.

В 1907 г. Б. Зайцев написал свое первое из целого ряда замечательных эссе о Флоренции, где описания досто-



Гостиница “Итальянская Корона” на углу Via Nazionale и Via del Ariento. Здесь останавливались Б. К. Зайцев, П. П. Муратов, А. В. Луначарский.

примечательностей города органично перемежаются с изящными бытовыми зарисовками:

“Но устала голова, и отказываешься воспринимать: куда тебе, бедному скифу, которого дома ждут хляби и мрак, вынести сразу всю роскошь! Пей хоть глотками. И скиф идет на отдых, в ristorante. Это опять в простонародной части города, но тут премило. Зная десять итальянских слов, можно с азартом уничтожить тасарони и biftecca con patate. Этот бифштекс они жарят на вертеле, как древние; он отличен, и в стакане золотится vino toscano bianco. И голова туманеет солнечным опьянени-

ем. Вокруг галдят *habitués* <завсегдатаи — фр.>, черненький Джиованни шмыгает с блюдами, острит, перешучивается со всеми; толстый доктор в углу разсолодел от кьянти и храпит полулежа; примеряют друг другу шляпы, гогочут, — и все они Нои, упившиеся виноградным соком. Здесь, в стране с золотым виноградом, колонами, возделывающими те же участки, что столетия назад кормили Данте и этрусков, римлян, — здесь неплохо было бы лечь всем этим итальянцам в отрогах тех гор голубых, в тени яблонь, обвитых гирляндами, — и пусть Беноццо Гоццоли пишет «Уборку винограда», солнце целует и дух бессмертия и вечной красоты царит...»

В 1908 г. Зайцев привлек к итальянским путешествиям своего друга, писателя Павла Павловича Муратова, который впоследствии посвятит Зайцеву свои знаменитые «Образы Италии» (первые два тома были изданы в 1911 г.). Сам Зайцев позднее так написал об Италии и той роли, которую она сыграла в жизни его, Муратова и других людей их круга:

“Мы любили свет, красоту, поэзию и простоту этой страны, детскость ее народа, ее великую и благодатную роль в культуре. То, что давала она в искусстве и в поэзии, означало, что «есть» высший мир. Через Италию шло откровение творчества”.

В 1915 г. Зайцев издает свой роман “Дальний край”, в котором Италия, и в первую очередь Флоренция, является не просто фоном, а важным содержательным элементом действия. Вот, к примеру, фрагмент, когда главные

герои, Петр и Лизавета, впервые приезжают поездом во Флоренцию:

“Петя отворил окно, и в бархатной ночи, в звездах над горами, в сонной перекличке служащих на станции — и особенно в щелканье соловья из кустов — он почувствовал такое дорогое и родное, что захотелось плакать. Всё здесь его, казалось ему; всё ему принадлежит. Его сердце принимает в себя весь этот новый, так мало еще известный, но уже очаровательный мир. <...> Лишь только они слезли во Флоренции, увидели S. Maria Novella с острой колоколенкой, увидели флорентийцев, флорентийские дома с зелеными ставнями, услышали крики ослов и звон флорентийских кампанилл, — оба сразу поняли, что это их город. Они приехали наконец куда надо. <...> Кто не знает радости майского утра во Флоренции, когда, отдохнув два часа, человек выходит на залитую солнцем улочку и у него над ухом хлопает бичом погонщик мулов, везущих на огромной двухколеске камень; когда кругом выкликают газеты, хохочут, торгуются на базаре; когда он сразу окунется в кипучую, веселую и бессмертную жизнь юга, простых людей, простых чувств и его ждут сокровища искусств и природы, — кто этого не знает, тот не испытал прекраснейших минут жизни. <...> Монахи, торговцы, уличные ораторы, запахи овощей на рынке, серый камень дворцов, лоджия Орканьи, где спят среди статуй флорентийцы, щелканье бича, рубиновое вино, бессмертные искусства — это Флоренция, это принадлежало им...”

В разгар Первой мировой войны Зайцев по совету Муратова начал работу над ритмическим переводом “Ада” из “Божественной комедии” Данте. К этому переводу он будет возвращаться в самые тяжелые годы своей жизни и окончательно завершит работу только в глубокой старости:

404

“Дважды приходилось бросать все, скрываться на время, но на столе все стоял белый гипсовый Данте, все смотрел безучастно-сурово, с профилем своим знаменитым, во флорентийском колпаке, на возню дальнего потомка русского вокруг его текста...”

Летом 1916 г. тридцатипятилетний Б. Зайцев (“ратник ополчения второго разряда”) был призван в армию, а в декабре стал юнкером ускоренного выпуска Александровского военного училища. В июле 1917 г. артиллерийский прапорщик Зайцев, тяжело заболевший пневмонией, получил отпуск и вернулся в имение отца Притыкино (Каширского уезда Тульской губернии). Именно там он с опозданием узнал об Октябрьском перевороте.

Зайцев: *“Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых”.*

Однако уже в ноябре 1917 г. Зайцев, один из самых авторитетных русских писателей, активно включился в общественную и литературную жизнь Москвы. В те дни он писал в газете Клуба московских писателей:

“Гнет душит свободное слово. Старая, старая история... Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему.

Некого нам бояться — служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя”.

16 ноября 1917 г. Б. Зайцев публикует ставшее широко известным “Открытое письмо Луначарскому”, своему старому флорентийскому приятелю:

405

“Милостивый государь Анатолий Васильевич! В мае 1907 г. во Флоренции нам приходилось встречаться довольно часто, вместе бродить по городу, который Вы любили, беседовать об итальянских художниках, делить маленькие жизненные невзгоды и быть в тех добрых отношениях, которые естественны между писателями, имеющими если не все, то некоторые общие устремления. Прошло десять лет. Ныне, игрой фатальных общественных обстоятельств, Вы сделали «министром»... Вы не протестовали против цензуры социалистических газет, против принятого центральным комитетом Вашей партии решения о закрытии всех «буржуазных» газет — Вы, русский писатель!.. Остается предположить, что в Вас есть черты, которых я не замечал, прискорбные черты нравственной одичалости. Всякой снисходительности пределы есть. Нельзя быть писателем и дружить с полицейскими. Сколь ни печально и ни тяжело это, все же должен признать, что с такими «литераторами», как Вы, мы, настоящие русские писатели, годами работающие под стягом искусства, просвещения, поэзии, — общего ничего иметь не можем...”

Революционные и первые послереволюционные годы были драматическими для Зайцева. В Февральскую революцию был растерзан революционной толпой его племянник Юрий Буйневич — офицер Измайловского гвардейского полка. Через два года умер отец. Чекистами был арестован и расстрелян его пасынок Алексей Буйнов. В первые послереволюционные годы ушли из жизни друзья Зайцева: Л. Андреев, С. Глаголь, Ю. Бунин, В. Розанов, А. Блок. Зайцев вспоминал о том времени:

“Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус, «пшенка» без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко. Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том «Canzonieri» в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы, а Джованни делле Банде Нере сидит на своем монументе и смотрит, сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же, в это же время мы по-богемски жили в “Corona d’Italia”, нули кьянти и рассуждали о Боттичелли? Да, но тогда времена были в некотором смысле младенческие...”

В апреле 1918 г. в Москве был создан Институт итальянской культуры — “Studio Italiano”, основателями которого были итальянец Одоардо Кампо (живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея) и писатель Павел Муратов. Зайцев с первых же

дней стал активным участником институтских сессий и неоднократно выступал там с докладами на итальянские темы. О подготовке к одной из таких лекций — посвященной Данте — Зайцев вспоминал:

“Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною. Ну, читаем и без манжет...”

407

В сентябре 1918 г. Зайцев (вместе с М. Осоргиным, Н. Бердяевым, Б. Грифцовым, В. Ходасевичем и др.) организовал кооперативную книжную лавку, где московские писатели спасались от голода тем, что собирали и продавали книги.

Зайцев: *“Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас... Мы, «купцы», жили между собою дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль...”*

Бывало, что литераторы-компаньоны переписывали собственные сочинения от руки, переплетали и даже сами иллюстрировали обложки — Зайцев вспоминал, что за изготовленный им таким способом рукописный





сборничек итальянских эссе он получил “аж 15 тысяч рублей (фунт масла)”...

Наблюдения над большевистской повседневностью, размышления о драматической судьбе России снова и снова выводили мысли Зайцева к теме любимого им Данте:

410

“Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и т. п. Удивила бы открытость и развязность богохульства. Но борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание. Флоренция его века знала *porro grasso* (буржуазия) и *porro minuto* (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли... Профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего «*Corona d'Italia*», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал: «В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов...» Было это во время так называемого «восстания Чиомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня. Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Виши, мешочки, мерзлый картофель, слякоть... И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица... Данте был флорентийский дворянин... Он ненавидел «подлое», плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких «царьков» Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы

На предыдущем развороте: Вид на церковь
Санто-Спирито от Палаццо Питти.

пришлось ему увидеть нового «царя» скифской земли — с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрянца и сумасшедшего? Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения...

Летом 1920 г. в газете “Возрождение” были опубликованы “Флорентийские очерки” Б. Зайцева (они использованы во второй части настоящего издания), которые впоследствии вошли в его книгу “Италия”, изданную в Берлине в 1923 г.

411

В 1921 г. Зайцев был избран председателем московского Союза писателей (заместителями — М. Осоргин и Н. Бердяев). Летом того же года он вошел во Всероссийскую комиссию помощи голодающим (“Помгол”). Через несколько недель был арестован по обвинению в “антисоветской деятельности” (вместе с М. Осоргиным, П. Муратовым и др.), но вскоре выпущен. Для развлечения себя и других Зайцев и другие заключенные читали в лубянской камере друг другу лекции на темы литературы и искусства. В мемуарной новелле “Веселые дни 1920–1921 гг.” Зайцев вспоминал:

“Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить... Правда, я не хотел играть под Архимеда. Вообще ни о чем не думал. Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение «постороннего тела», да еще грубоватого,

прерывающего меня, я ответил почти недовольно: «Ну да, да, вот кончу сперва лекцию...» Все захохотали, и я смутился. Улыбнулся даже чекист: «Успеете на свободе кончить»».

412

Весной 1922 г. Б. Зайцев тяжело заболел в Москве сыпным тифом; двенадцать суток находился без сознания — врачи считали положение безнадежным. Дочь Зайцевых — Наталья Зайцева-Соллогуб впоследствии писала:

“Мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку св. Николая Чудотворца, которого особенно читла, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание...”

Летом того же года Б. К. Зайцев с женой и дочерью выехал для лечения за границу — как оказалось, навсегда. В мемуарном очерке “Москва сегодняшняя” Зайцев вспоминал:

“Март двадцать второго года — тяжелая болезнь, едва не уложившая. Бритая голова, аппетит, выздоровление, — апрель. Май — пыль на московских улицах, бесконечные обивания порогов в комиссариатах — накопление «валюты» для отъезда (гонорар из Дальневосточной республики: золотой империал, фунт чаю, материя жене на юбку). Помог и Гувер <будущий президент США>, продовольственной посылкой. Ее продали, кажется, миллионов за девяносто. И так далее. Скопилась сумма могучая — на билеты до Берлина и там прожить с неделю... Стараемся держаться крепко, бо-

дро: уезжаем на год, самое большое на полтора. Дела в России идут лучше, НЭП приведет всё к «естественному состоянию»; одолеют свобода и здравый смысл. Мы и вернемся: подлечимся, побываем в Италии, да и домой... Разгромленная комната, где я умирал, чемоданы, извозчики, медленная езда через всю Москву, на Виндавский вокзал... В этот день судят эсеров. Толпа перед бывшим Дворянским Собранием. Манифестации ходят по улицам — требуют кровушки. Печально покидаем мы Москву..."

413

После лечения в Германии Б. Зайцев осенью 1923 г. провел четыре месяца в Италии: группа русских лекторов-эмигрантов (в нее помимо Зайцева входили также Н. Бердяев, П. Муратов, М. Осоргин, С. Франк, Б. Вышеславцев и др.) была приглашена Институтом Восточной Европы в Риме и его руководителем, славистом Этторе Ло Гатто.

Зайцев: *"Чтения в Риме происходили в ноябре <1923 г.>, но мы, Зайцевы, оказались в Италии уже в сентябре — ненадолго в Вероне, потом в Венеции, Флоренции и, наконец, осели в лигурийском побережье, в очаровательном местечке Кави-ди-Лаванья, — там провели остаток осени, оттуда ездил я в Рим читать..."*

Слушателями лекций были по преимуществу римские студенты (Зайцев и Осоргин читали на итальянском, Бердяев, Франк, Вышеславцев — на французском).

Зайцев: *"Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них фантастична.*

Голод и холод, чтения в шубах об Италии (Studio Italiano Муратова), торговля наша в лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка, — все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Веллизарии...

Ситуация в России не позволила Зайцевым вернуться в Россию. Не реализовались и их планы обосноваться в любимой ими Италии — помешала муссолиниевская диктатура. Вспоминая Италию 1923 г., Зайцев в очерке «Латинское небо» написал об итальянских фашистах:

“На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только навыворот...”

30 декабря 1923 г. Б. Зайцев покинул Италию и уехал в Париж, чтобы подыскать квартиру и перевезти туда семью. В середине января 1924 г. Зайцевы поселились в Париже — сначала у Осоргиных, затем сняли квартиру. И в годы эмиграции они продолжали много путешествовать: Зайцев посетил Афон (1927), вдвоем съездили на Валаам (1935), принадлежавший тогда Финляндии, откуда в последний раз взглянули на Россию...

Эмиграция оказалась плодотворной в творческом отношении: Зайцев написал несколько романов, беллетризованные биографии Жуковского, И. Тургенева, Чехова, большое количество рассказов и мемуарных очерков. В годы Второй мировой войны Б. Зайцев снова возвращается в Париже к переводу “Ада” Данте. Во время



англо-американских бомбежек летом 1943 г. он всякий раз брал драгоценные рукописи в бомбоубежище:

416

“Когда сирены начинают выть, рукопись забирается, сходит вниз, в подвалы... Ну что же, «Ад» в ад и опускается, это естественно. Минотавров, Харонов здесь нет, но подземелье, глухие взрывы, сотрясение дома и ряды грешников, ожидающих участи своей, — все как полагается. С правой руки жена, в левой «Божественная комедия», и опять тот, невидимый, многовековой и гигантский, спускается с нами в бездны, ему знакомые. Но он держит... Все это видел, прошел и вышел...”

В 1949 г. (Борису Константиновичу было тогда уже шестьдесят восемь) Зайцевы снова оказались в Италии — при обстоятельствах достаточно курьезных.

Зайцев: “В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, конквистадор и по жизни своей «Казанова», неожиданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию: «У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку. Но вывезти не могу — проживем их вместе...» Началось наше блиц-турне. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции... Во Флоренции оказалось, что денег в обрез...”

Тем не менее Зайцевы добрались-таки до Рима, где провели один-единственный день и повстречались с живущим там Вячеславом Ивановичем Ивановым (спустя несколько недель Иванов скончался).

В 1957 г. супругу Зайцева, Веру Алексеевну, разбил паралич. Духовной опорой их в те годы во Франции были воспоминания о совместных поездках в Италию. Сам Зайцев в те годы часто думал о Флоренции:

“Я Петербурга никогда не любил. Не мой это город. Моя — Москва и Флоренция”.

Из письма Л. Н. Назаровой, 17 мая 1962 г.

“Если бы я верил в перевоплощение, то утверждал бы, что во Флоренции когда-то жил и Данте был чуть ли не моим соседом”.

Из письма Л. Н. Назаровой, 8 сентября 1964 г.

В. А. Зайцева скончалась в Париже в 1965 г. Там же 28 января 1972 г. в возрасте девяноста лет скончался Борис Константинович Зайцев, в течение последних двадцати пяти лет своей жизни бывший бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом. Его отпевали в парижском соборе Св. Александра Невского и похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Незадолго до смерти Б. Зайцев еще раз признался:

“«Мой» город был всегда Флоренция...”

ПАВЕЛ
ПАВЛОВИЧ
МУРАТОВ

418

ПАВЕЛ ПAVЛОВИЧ МУРАТОВ (март 1881, Бобров Воронежской губ. — 5.02.1950, Уотерфорд, Ирландия) — писатель, искусствовед, переводчик. Сын военного врача, среднее образование получил в кадетском корпусе. В 1903 г., окончив Санкт-Петербургский институт путей сообщения и получив диплом инженера, переехал в Москву. Служил библиотекарем Московского университета, потом хранителем отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея.

Писатель Борис Константинович Зайцев, с которым Муратов был знаком с 1903 г. (именно Зайцеву впоследствии будут посвящены знаменитые муратовские “Образы Италии”), в своих мемуарах писал о Муратове:

“Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» — так до старости и осталось)... — с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно... Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось. При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться — в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные... С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никогда не приходилось его упрекать за «середину», «золотую»: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать”.

419

Первые искусствоведческие работы Муратова явились результатом его поездок в Европу, где он серьезно занимался изучением французского постимпрессионизма. Б. Зайцев писал о том времени:

“Помню весну 1906 года, московский журнальчик «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме”.

В 1908 г. П. П. Муратов впервые побывал во Флоренции вместе с первой женой, Евгенией Владимировной. Во Флоренции они поселились вместе с Борисом Константиновичем и Верой Алексеевной Зайцевыми в “Albergo Corona d’Italia”, который Зайцевы открыли для себя еще в 1904 г. (Эта гостиница, находящаяся на соединении улиц Via Nazionale и Via del Ariento, существует и сегодня.)

С ноября 1911 по август 1912 г. П. П. Муратов вместе со второй женой, Екатериной Сергеевной, находился в новой командировке в Италии от Румянцевского музея для написания двухтомника “Новеллы Итальянского Возрождения” (вышел в Москве в 1912 г.) и снова был во Флоренции. Очерки Муратова на итальянские темы публиковались в “Русских ведомостях”, “Зорях”, “Аполлоне”, “Золотом руне”, “Старых годах” и составили впоследствии большую книгу “Образы Италии”. По словам писателя Б. Зайцева, успех “Образов” был “большой и непререкаемый”:

“В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изящности исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке» выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го”.

В предисловии к “Образам Италии” П. П. Муратов писал:

“Эта книга является опытом изображения Италии: ее городов и пейзажей, ее исторического и художественного гения. Удержанные здесь образы Италии можно назвать также воспоминаниями. Италия с особенной силой пробуждает в душе каждого способность воспоминаний. Дни, прожитые там, не исчезают бесследно, и прошлое отдельного существования выступает отчетливее на фоне неумирающего прошлого. Прошлое Италии представляет главную тему этой книги. В нем больше жизни, настоящей вечной жизни, чем в итальянской современности. Она не внушает вражды, мешающей верить в будущее итальянского народа, сохранившего многие прекрасные черты. Но, думается, душа этого народа полнее и вернее выражена в его старом искусстве, в судьбе его исторических героев и в религиозной древней связи с картинами окружающей природы. Италия принадлежит к великим темам, не устающим привлекать мысль и воображение различных людей и сменяющихся поколений. Это целый мир, и каждый, кто вступает в него, проходит в нем отдельной дорогой”.

421

Очерки, посвященные Флоренции, вошли в первый том муратовских “Образов Италии” (они широко использованы во втором разделе нашего издания); среди них: “От Сан-Миниато”, “Кватроченто”, “Судьба Боттичелли”, “Пленный дух”, “Бронзино и его время”. В своих флорентийских “образах” (многие справедливо считают, что наряду с флорентийскими эссе Б. Зайцева это лучшее, что написано в русской литературе о Флорен-

ции) Муратов соединяет блестящие описания города с не менее интересными рассуждениями об истории и быте Флоренции:

422

“Кто полную свою душу несет сюда, — не один только интерес ума или глаза, но все свои чувства и силы, все, что было в жизни, ее правду, ее обманы, ее радости и ее боль и ее сны, — тот не уйдет отсюда без внутренних наитий. Ближе всего к Флоренции тот, кто любит. Для пилигримов любви она священна; в ее светлом воздухе легче и чище сгорает сердце. Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее. На этом древнем кладбище любви слишком много сожжено великих душ и слишком много пролито драгоценных слез, чтобы не верить здесь в искупление. Все, что здесь создано, создано любовью. Храм и картина, фреска и барельеф — это все кенотафии ее долгого сна, не смерти, а только сна. Старое каждый миг оживает здесь, сливается с новым и снова в нем живет. Так, вечное благоухание роз в здешних монастырях приносит новому пришельцу вместе с раздумьем о прошлом весть о его любви...”

“Флоренция жива, и ее душа еще не вся в ее картинах и дворцах. Она говорит с каждым на языке простом и понятном, как язык родины. И для русского путешественника, может быть, особенно дорого, что здесь всегда чувствуется близость деревни. Смены года, оборот сельского труда и сельского житья здесь всегда заметны, заметны праздники в базарные дни: тогдалюднее на улицах, и в маленьких тратториях тогда готовят к обеду

лишнее блюдо. Тогда на площади перед Сан-Лоренцо любители искусства, которые спешат на поклон к гробницам Микельанджело, смешиваются с толпой загорелых крестьян, только что сваливших на соседнем рынке возы овощей и теперь покупающих всякую всячину на торге вокруг мраморного Джованни делле Банде Нере...

В 1914 г. Муратов начал издавать журнал “София”, в котором сотрудничали и его друзья-италофилы Б. Зайцев, М. Осоргин, Б. Грифцов, М. Хусид и др. В мае-июле того же года Муратов предпринимает новую поездку по Италии. Оттуда он морским путем возвратился в Россию и сразу был призван в действующую армию, служил офицером в гаубичной батарее на Австрийском фронте, затем был переведен на Кавказ. С весны 1915 г. отвечал за воздушную оборону Севастополя, военным комендантом которого был его брат. В Севастополе в свободное время Муратов занимался переводами, в частности, известной книги Б. Бернсона “Флорентийские живописцы” (издана в Москве в 1923 г.).

После большевистской революции, весной 1918 г., П. Муратов стал одним из организаторов (с 1921 г. председателем) Института итальянской культуры — “Studio Italiano”, который просуществовал в Москве около пяти лет. В Институте помимо самого Муратова и таких уже известных литераторов, как М. Осоргин и Б. Зайцев, работали молодые преподаватели университета и сотрудники Музея изобразительных искусств: А. Габричевский, Б. Виппер, Н. Романов, А. Сидоров, М. Хусид,

С. Шервинский. Лекции Института итальянской культуры проводились в аудиториях Университета Шанявского, во 2-м Московском государственном университете (бывших Высших женских курсах в Мерзляковском переулке, д.1/5), в Российской академии истории материальной культуры на Малой Никитской, 12.

424

Впоследствии Б. Зайцев вспоминал о своих встречах с Муратовым в России в первые послереволюционные годы:

“В эти страшные годы мы виделись часто, и оба старались, уходя в литературу, совсем отстраненную от современности, уходить и от проклятой этой современности”.

В те же годы П. Муратов вместе с В. Ходасевичем, М. Осоргиным, Б. Зайцевым, Н. Бердяевым учредил кооперативную книжную лавку (она располагалась сначала в Леонтьевском переулке, затем переехала на Большую Никитскую), которая стала важным интеллектуальным центром Москвы.

Просветительская и общественная деятельность Муратова привлекла внимание властей — в августе 1921 г. он был арестован за участие в Комиссии помощи голодающим. Зайцев вспоминал об аресте членов “Помгола”:

“Помню, — в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десятков кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул: «Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие

арестованы!»... Еще помню, что через несколько минут через ту же прихожую пробирался к нам несколько неуклюже и как бы конфузливо П. П. Муратов. — «Ты зачем тут? Эх-х, ты...» — Павел Павлович был тоже членом Комитета. Он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест... — «Ну и чего же ты не повернул?» — «Да уж так, вместе заседали, вместе и отвечать...»

Во внутренней тюрьме Лубянки (так называемой “конторе Аванесова”) Муратов оказался в одной камере с Осоргиным и Зайцевым; вскоре он был выпущен.

14 сентября 1921 г. П. Муратов председательствовал в Москве на торжественном заседании по случаю 600-летия со дня смерти Данте. А в начале 1922 г., как сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства Наркомата просвещения, Муратов вместе с семьей выехал в заграничную командировку в Германию, из которой в Россию не вернулся. До 1927 г. Муратов жил в Риме, потом поселился в Париже, побывал в Японии и Америке, а незадолго до Второй мировой войны перебрался в Англию, где пережил налеты германской авиации на Лондон. Умер П. П. Муратов в 1950 г. в имении друзей в Ирландии.

МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ ДОБУЖИНСКИЙ

426

МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ Добужинский (15.08.1875, Новгород — 20.11.1957, Нью-Йорк) — живописец, график, иллюстратор, театральный художник. В 1924 г. уехал за границу. Жил в Литве, Франции, Англии, Италии и США. Многократно бывал в Италии.

В 1911 г. совершил большое путешествие по Италии вместе с женой Елизаветой Осиповной (урожденной Волькенштейн), дочерью и двумя сыновьями. И использованные во второй части настоящей книги мемуары о той поездке (в том числе во Флоренцию) вошли в книгу М. Добужинского “Воспоминания об Италии”, изданную в Петрограде в издательстве “Аквилон” в 1923 г. Эти мемуары писались в начале 20-х годов в Петрограде и

Холомках, в так называемой “колонии Дома искусств”, куда, по свидетельству одного из ее руководителей, Корнея Чуковского, “с весны съезжалось много народа; там мы все спасались от голода — в эти годы прожить в Петербурге было трудно”. “Воспоминания об Италии” М. Добужинский посвятил дочери Вере, умершей летом 1919 г. от истощения. Во введении к книге он написал:

427

“Мои воспоминания — дорогой лишь мне одному засушенный цветок, хранимый среди страниц книги моей личной жизни... Некогда путешествуя по Италии, я бегло записывал свои впечатления. Через несколько лет после этого в Петербурге, в страшную зиму 1919–1920 гг., я перечитал эти отрывочные заметки и снова пережил далекие воспоминания. Тогда и написаны были эти страницы...”

Запомнилась Добужинскому и поездка во Флоренцию в 1914 г. В мемуарах художника-графика Владимира Милашевского содержится рассказ Добужинского об одной истории, случившейся с ним 30 августа 1914 г. в галерее Уффици:

“Когда я был во Флоренции, я стал копировать «Венеру» Боттичелли, не всю картину, а только голову и плечи. Я хотел иметь ее у себя. Я почувствовал, что кто-то уже долго стоит у меня за спиной и смотрит на мою работу. Когда я захотел сделать перерыв, ко мне подошел сзади стоящий человек и сказал, что он восхищен одухотворенностью моей копии, и представился: Эмиль Верхарн. Вы, конечно, представляете, как я был польщен!”



Иностранные художники в галерее Уффици.

Милашевский вспоминал, что эту историю Добужинский рассказал ему в Советской России, летом 1921 г., в переполненном вагоне поезда:

“На скамьях лежали, сидели, спали обитатели планеты Россия с мешками, с сундуками, с узелками и ящиками. Мы продолжили было свою беседу. А собственники мешков и сундуков, услышав «непонятные» слова, стали к нам подозрительно присматриваться. Разговор вскоре увял, заглох от духоты, от антисдобных запахов и ядовитой махорки...”

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БЕРДЯЕВ
И
ЕВГЕНИЯ
КАЗИМИРОВНА
ГЕРЦЫК

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ (18.03.1874, Киев — 23.03.1948, Кламар под Парижем) — философ, литератор, общественный деятель. С 1922 г. — в эмиграции.

ЕВГЕНИЯ КАЗИМИРОВНА ГЕРЦЫК (30.09.1878, г. Александров, Владимирской губ. — февраль 1944, Медведенский р-н, Курской обл.) — литератор, мемуаристка. Окончила историко-филологический факультет Высших женских курсов В. И. Герье (ее учителями были А. Н. Веселовский, И. В. Цветаев,

В. О. Ключевский, П. И. Новгородцев). Была дружна со многими крупнейшими деятелями русского “Серебряного века” — Вяч. И. Ивановым, Л. И. Шестовым, М. О. Гершензоном, А. Белым, М. А. Волошиным, М. А. Кузминым.

Н. А. Бердяев в автобиографической книге “Самопознание” писал о Е. К. Герцык:

431

“Для меня имела значение дружба с Евгенией Казимировной Герцык, которую я считаю одной из самых замечательных женщин начала XX века, утонченно-культурной, проникнутой веяниями ренессансной эпохи... Русский ренессанс, по существу романтический, отразился в одаренной женской душе...”

Во второй половине 1911 г. Бердяев, по воспоминаниям Е. Герцык, “строит планы поездки на зиму на родину творчества, в Италию, добывает деньги, закабальет себя в издательстве, зовет ехать с ними — с женой и ее сестрой... Конечно, с ними в Италию! Но поехать мне удалось только в феврале 1912 г...”



Пансион “Луккези” на правом берегу Арно.

Во Флоренции Бердяев с женой Лидией Юдифовной Трушевой (через несколько лет она примет католичество) поселился в пансионе “Луккези” на Лунгарно делле Грацие с видом на возвышающийся на другом берегу Арно монастырь Сан-Миниато. (Сейчас скромный некогда пансион “Луккези” превратился в фешенебельный отель). О своих восторженных впечатлениях от Флоренции Бердяев в те дни писал философу В. Ф. Эрну, живущему в то время с семьей в Риме:

“Мы полны Италией, Флоренцией и красотой, блаженствуем, насколько это можно для русских людей, всегда о чем-то беспокоящихся. Много отдаем времени осматриванию и изучению Флоренции, но я, кроме того, довольно много работаю... Флоренция лечит душевные раны. Перед нашими окнами Сан-Миниато...” (8 декабря 1911 г.); *“Во Флоренцию я влюблен”* (16 декабря 1911 г.).

В самом конце года Бердяевы отправились в Рим, где их и застала Е. К. Герцык, которая писала в мемуарах о настроении Бердяева:

“Я застала их в Риме — перед этим они долго прожили во Флоренции. Объехали маленькие городки. В первый же наш вечер они повезли меня на Яникул... Праздника наслаждения Италией с другом — нет. Я опоздала. Два три месяца он переживал, впитывал ее с ему одному свойственной стремительностью, потом щелкнул внутренний затвор. Отбрасывая впечатления извне, рука потянулась к перу — писать, писать... Мы шли и говорили о творчестве. Он: «Весь Ренессанс — неудача, ве-

ликая неудача. Тем и велик он, что неудача: величайший в истории творческий порыв рухнул, не удался, потому что задача всякого творчества — мир пересоздать. А здесь остались только фрески, фронтоны, барельефы — каменный хлам! А где же новый мир?»... И потом он не любит Рима — «вашего Рима» — мне с вызовом. Мертвенная скука мраморов Ватикана с напыщенным Аполлоном Бельведерским, грузные ангелы, нависшие над алтарями барочных церквей... Душа его во Флоренции, Флоренция была ему откровением, он то и дело вспоминает ее...

433

Из Рима Бердяев и Герцык вдвоем снова отправились во Флоренцию:

«И вот мы вдвоем в поезде на несколько дней во Флоренцию: он хочет мне ее показать так, как увидел сам. Флоренция! Не знаю, люблю ли ее. Благоуханного нет в ней для меня. Как неверно, что Флоренция для влюбленных! Но постепенно проникаюсь едким вирусом ее. Неутоленность, тоска, порыв. «Но сперва вам надо понять, откуда, из каких корней это...» Он ведет меня в дома-крепости, купеческие замки, разделенные один от другого проулочком в два метра шириной, бойница в бойницу. А в тесных хоромах только всё сундуки, рундуки расписанные: казна, деньги — вот их дворянские грамоты. Одни — скопидомы, другие — расточители. Все — стяжатели...» Судя по описанию флорентийских «купеческих хором», Бердяев водил Герцык в Палаццо Даванзатти с сохранившимися от флорентийского

средневековых интерьерами, где как раз в самом начале 1911 г. новые хозяева дворца организовали платное посещение — популярный аттракцион для гостей города.

Далее Е. К. Герцык рассказывает в мемуарах о совместном посещении с Бердяевым Палаццо Веккьо и Уффици:

434

“Потом синьория — народоправство. Все трезво, жестко, без мечтательности. И — расцвет искусств и ремесел. Как понять, что в такой полный час истории, в такой корыстной и упоенно-творческой Флоренции все высшие достижения говорят о том, что нельзя жить на свете, тянутся прочь? Таков Боттичелли. Как и вся Флоренция, он — дерзновение творчества, создания не бывшего. Потому впервые и сюжеты у него свои, не одни традиционные Мадонны, и тоска одиночества потому. Молча стоим вдвоем над «Весною», этой бессолнечной, призрачной весною, за которой не будет лета, не будет жатвы. В Уффици, минуя залы, картины, Николай Александрович быстро ведёт меня к одной, им отмеченной. Поллайоло: три странника, трехразных возрастов, три скорбно-задумчивые головы. О чем скорбь? Куда их путь? А вот эта его же на высоком цоколе Prudentia: руки и ноги аристократически утончены, широко расставленные глаза с холодным, невыразимо сложным выражением? Каким? Оглядываюсь на друга. Впился пальцами (аж побелели они) в портсигар, давая исход молчаливому волнению. Как же властно над ним искусство! Флоренция мне ключ к нему. Он — к Флоренции. Но я изнемогла от



Палаццо Даванзатти.



усталости, от впечатлений. Домой! Еще десять минут, упрасивает он. Сердится он и влечет меня прочь из Уффици узкими улочками, где едва разминуться с медленно пробирающимся трамваем, в церковь, в Бадию; не давая мне окинуть ее взглядом, к одной, одной только филиппиниевской фреске: явление Богоматери св. Бернарду. Женский хрупкий профиль. Но он торопит меня смотреть на ее руку: так глубоко прорезаны пальцы, так тонки, что кажется, сохраняя всю красоту земной формы, рука эта уж один дух, уже не плоть. И восторг в глазах Бердяева выдает мне его тайну — ненависть к плоти, надежду, что она рассыплется вся (аминь, аминь, рассыпья...) Беру его под руку, чтобы умерить, затормозить его бег. «Ну да, конечно, вы Рима любите, понять не можете...» Додумала это в мои одинокие блуждания по Риму. Если Флоренция вся порыв, напряжение воли, преувеличение творческих возможностей человека, то Рим — покой завершенности. Созидался-то и он жестокой волей Империи, корыстью и грехами пап, замешан на крови и зле, но время, что ли, покрыло всё золото — тусклой патиной, не видно в нем напряжения мускулов, восстания духа, невыразимая всеохватная тишь. Земля — к земле вернулась...»

Именно итальянским путешествием 1911–1912 гг. была навеяна одна из самых известных книг Н. А. Бердяева — «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916). Позднее, в своей работе «Самопознание. Опыт философской автобиографии» (1940) Бердяев вспоминал:



Поллайоло. Алтарь с тремя святыми
(XV в.). Уффици.

*“Книга «Смысл творчества» была книгой периода *Sturm und Drang* <штурма и натиска — нем.> моей жизни. Писание этой книги, которое связано было с большим подъемом моих жизненных сил, сопровождалось изменением в складе моей жизни. Это был период реакции против московской православной среды. Я ушел из религиозно-философского общества, перестал посещать его собрания. Отошел также от издательства «Путь». Я ушел в творческое уединение. С этим совпало моё пу-*



Филиппино Липпи. Явление Богоматери св. Бернарду
(XV в.). Церковь Бадиа.

тешествоие на целую зиму в Италию. Мы жили во Флоренции и Риме. На обратном пути в Россию, вызванные болезнью матери, посетили Ассизи. Италию я пережил очень сильно и остро. Там я написал часть книги «Смысл творчества». У меня родилось много мыслей о творчестве Ренессанса. Я считал это творчество неудачей, но неудачей великой. Эта неудача связана с трагедией творчества вообще. Но вся атмосфера Италии, не современной Италии, а Италии прошлого, вдохновляла меня к

писанию моей книги. Я пережил в Италии минуты большой радости. Особенно любил я ранний, средневековый еще, Ренессанс и флорентийский Ренессанс Quattrocento. Очень любил Боттичелли и видел огромный смысл в пережитой им драме творчества. Менее всего любил высокое римское Возрождение XVI века. Очень не любил собор св. Петра. Никак не мог полюбить Рафаэля. Непосредственные вкусы мои были скорее прерафаэлистские. Но меня всегда очень волновал Леонардо... Я с грустью покинул Италию. Вернулся я уже в совсем другую, фашистскую Италию..."

В отличие от Н. А. Бердяева, Е. К. Герцык была и так и осталась поклонницей "великого Рима" — в этом она была близка Вячеславу Иванову, с которым много встречалась в Риме и часто переписывалась. Во Флоренции она в предвоенные годы тоже бывала неоднократно, но всегда ее оценки были в пользу "Вечного города":

"Я до сих пор после Ассизи не могу примириться с тем, какая мирская Флоренция, и вспоминаю с несказанной любовью благородный, единственный Рим и всю землю вокруг него, тучную смертью и красотой"

Письмо Вяч. Иванову 17 мая 1923 г. из Флоренции.

"О Флоренции, дорогой, мне хотелось бы рассказать Вам, как почувствовала я... ее тонкий яд, и так поразительно то, что все высшие творения этой жадной, богатой, мирской Флоренции, все, как стебли тянущиеся, говорят о том, что жить на земле нельзя, и поют, как

сирены, уводящие прочь. И это в самый полный, насыщенный час Истории! И как тянет отсюда опять к всемирному Риму!”

Письмо Вяч. Иванову 24 мая 1913 г. из Флоренции.

В сентябре 1922 г. Н. А. Бердяев был выслан из Советской России в числе других пассажиров печально известного “философского парохода”. Осенью 1923 г. он приезжал в Италию из Германии для чтения лекций в римском Институте Восточной Европы (вместе с Б. К. Зайцевым, М. А. Осоргиным, П. П. Муратовым и др.). По дороге в Рим он вместе с женой побывал во Флоренции. Лидия Юдифовна Бердяева писала тогда оставшейся в Советской России Евгении Герцык:

441

“Начну с Италии... На этот раз видела ее в необычайном одеянии фашизма... Мы приехали в разгар фашистских празднеств и были оглушены шумом, суетой... Если ты бывала на карнавалах, то нечто подобное, но в военном стиле происходило на тихих улицах Флоренции, на строгих площадях Рима... Итоги Рима и Италии — жажда уйти в тишину, в себе, в свое...”

После большевистской революции Е. К. Герцык жила в Крыму. В 1921 г. многие из ее родных были арестованы. Спустя некоторое время скончалась ее сестра, известная поэтесса Аделаида Герцык. В те годы между Герцык и Бердяевым продолжалась переписка. Вот одно из писем, без даты, но относящееся, скорее всего, к лету 1924 г.:

“Я оторвалась от своей домашней жизни и странничала: с котомкой за плечами прошла пешком совсем одна верст сто. Такая свобода и полное отсутствие страха. Особенно хорошо в весеннем лесу. Побывала два дня в горном и лесном монастыре, напоминающем итальянские, францисканские. Теперь пробужденная жизнь, готовность «пострадать», все глубокие старики...”

В 1927 г. Е. Герцык вместе с братом, опасаясь ареста, переехала на Северный Кавказ. А в 1936–1938 гг. в русском эмигрантском журнале “Современные записки” под общим названием “Оттуда” были опубликованы (без указания имени автора) письма Е. К. Герцык к одной из ее парижских знакомых. Эти письма, написанные в форме автобиографических эссе, явились для эмиграции редким и важным документом происходящего в большевистской России и породили целую дискуссию. Редактор “Современных записок” В. Руднев писал тогда:

“Первое, что поражает в рассказах госпожи «Х» о России, это прежде всего она сама и ее собственный, особый путь примирения с современностью. Пожилая уже женщина, она сумела пронести через испытания этих двадцати лет нетронутой свою способность жить напряженной духовной жизнью, твердо верить в конечное торжество добра, без отчаяния смотреть не только в будущее России, но и в ее смутное настоящее. Г-жа «Х» стоит в стороне от политики и общественной активности. Она не боец, а созерцатель, склонный к религиозно-мистическому восприятию мира человеческих

отношений. Мрачную советскую действительность она приняла прежде всего как «крест, на всех нас возложенный», от несения которого никто не вправе уклоняться. В этом, по-видимому, основной источник ее особого, все еще не примиренного, но свободного от ожесточенности отношения к советской действительности...»

В 1938 г., в разгар новых репрессий, брат Евгении Герцык сумел устроиться лесничим в одном из заповедников под Курском. Там они пережили немецкую оккупацию, дождались освобождения. Но сил уже не оставалось, и в феврале 1944 г. Евгения Казимировна Герцык скончалась в глухой деревушке Медведенского района Курской области и была похоронена на степном кладбище.

Николай Александрович Бердяев в эмиграции подтвердил свою славу одного из самых выдающихся философов XX столетия. 23 марта 1948 г. он умер за своим письменным столом в местечке Кламар под Парижем.

Приложение

Н. БЕРДЯЕВ

Чувство Италии

444

Для многих русских, как и англичан, Италия была мечтой. Италия для нас была образом красоты и радости жизни. Безрадостность русской жизни, отсутствие в ней пластической красоты доводит нашу влюблённость в Италию до крайней напряжённости. Путешествие в Италию для многих — настоящее паломничество к святыням воплощённой красоты, к божественной радости. Трудно выразить то душевное волнение, сладостное до болезненности, которое охватывает душу от одного названия иных итальянских городов или итальянских художников. Италия для нас не географическое, не национально-государственное понятие. Италия — вечный элемент духа, вечное царство человеческого творчества... Нигде русский человек не чувствует себя так хорошо, как в Италии. Только в Италии не чувствует он давления и гнёта враждебной и мещанской цивилизации Западной Европы, не чувствует на себе самодовольного презрения людей, лучше устроившихся и навязывающих свои нормы жизни, — презрения, столь отравляющего нам жизнь в других странах Европы. В Италии русскому вольно дышится. Русский характер и родствен,

и глубоко противоположен итальянскому характеру. В итальянском характере нет свойств, вытесняющих нас, русских, какие есть в характере германском. Но любим мы у итальянцев то, что не похоже на нас, что нас дополняет. Мы любим в итальянцах дар переживания радости жизни, которого мы, русские, почти лишены. Мы — тяжёлые, всегда ощущающие время жизни и мировую ответственность — любим легкость итальянцев. Мы — люди севера — любим близость итальянцев к солнцу. Так тяжела была наша история и так труден характер нашей расы, что мы почти не знаем свободной игры творческих сил человека. И нас пленяет в итальянском народе этот избыток свободных творческих сил. Русская душа не дерзает вольно творить красоту, ощущает как грех, творческую избыточность, и она любит творчество красоты, творческую избыточность солнечной страны Италии. Русская душа ищет пленительного дополнения в пластичности итальянской культуры, которой так недостаёт в культуре русской. Вспомним, как любил Италию Гоголь, как стремился к ней, какую ей воздал хвалу. А ведь сам Гоголь очень тяжело переживал жизнь, всегда чувствовал бремя мировой ответственности; мучения нравственной совести всегда стояли на путях его творчества. В этом он был очень русским и по-русски любил Италию, как дополнение, как мечту, как то, чего в нём самом не было. Русская тоска по Италии — творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия

должна стать вечным элементом русской души. Италией лечим мы раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех и за всё. Не только от уныния русской жизни, но и от величия её, от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим отдыхом. Исключительная этичность русской души ищет себе дополнение в исключительной эстетичности души итальянской. Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия.

Н.А. БЕРДЯЕВ. Чувство Италии // Биржевые ведомости, СПб., 1915, 2 июля, № 14039. С. 2.

АННА
АНДРЕЕВНА
АХМАТОВА
И
НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ
ГУМИЛЕВ

447

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА (настоящая фамилия — Горенко; 23.06.1889, под Одессой — 5.03.1966, Домодедово, под Москвой) — поэтесса, переводчик, литературовед.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ (3.04.1886, Кронштадт — расстрелян под Петроградом в 1921 г.) — поэт, драматург, путешественник-исследователь, кавалер двух солдатских Георгиевских крестов.

16 апреля 1912 г. А. А. Ахматова и Н. С. Гумилев (женатые с весны 1910 г.) покинули Царское Село, где проводи-

ли зиму, и отправились в путешествие по Швейцарии и Италии. В своей автобиографии “Коротко о себе” Ахматова позднее писала:

448

“В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помню всю жизнь...”

Во Флоренции, по-видимому, произошла размолвка: в переписке Ахматовой и Гумилева можно встретить упоминания о ее причине — некоем “флорентийском сне” Гумилева. По возвращении из Италии, отправив жену в Петербург перед родами, Николай Степанович вспоминал об этой размолвке в одном из писем и написал известное стихотворение “Сон”.

“Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю... Я написал одно стихотворение вопреки твоему предупреждению не писать о снах, о том моем итальянском сне во Флоренции, помнишь. Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное...”

С О Н

(1912)

*Застонал я от сна дурного
И проснулся, тяжело скорбя:
Снилось мне — ты любишь другого
И что он обидел тебя.*

*Я бежал от моей постели,
Как убийца от плахи своей,
И смотрел, как тускло блестели
Фонари глазами зверей.*

*Ах, наверно, таким бездомным
Не блуждал ни один человек
В эту ночь по улицам темным,
Как по руслам высохших рек.*

449

*Вот стою перед дверью твою,
Не дано мне иного пути,
Хоть и знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.*

*Он обидел тебя, я знаю,
Хоть и было это лишь сном,
Но я все-таки умираю
Пред твоим закрытым окном.*

Как бы там ни было, в мае 1912 г. Гумилев один, без Ахматовой, выезжал из Флоренции в Рим и Неаполь, а беременная Ахматова оставалась в курортном городке под Генуей — Оспедалетти. (1 октября в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова у Ахматовой родился сын Лев Гумилев, будущий знаменитый историк и этнолог.)

Именно в те дни в Оспедалетти Ахматова сочинила поэтические строки:

450

*Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет,
И непорочны помыслы мои.*

*Ушла к другим бессонница-сиделка,
Я не томлюсь над серою золой,
И башенных часов кривая стрелка
Смертельной мне не кажется стрелой.*

*Как прошлое над сердцем власть теряет!
Освобожденье близко. Все прощу,
Следя, как луч взбегает и сбегает
По влажному весеннему плющу.*

Тяжелое настроение Ахматовой передает еще одно стихотворение, написанное в мае 1912 г. во Флоренции:

*Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.*

*И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,*

*Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.*

*В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.*

451

*Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?*

Близкая подруга Ахматовой Валерия Срезневская (в девичестве Тюльпанова) попыталась в мемуарных очерках “Дафнис и Хлоя” объяснить сложные взаимоотношения Ахматовой и Гумилева:

“Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны — для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны — желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собой, независимым и властным над этой вечно, увы, ускользящей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому”.

По возвращении Гумилева во Флоренцию они уже вместе посетили Болонью, Падую, Венецию, откуда по-

ездом, через Вену и Краков, вернулись в Россию. В том же 1912 г. Гумилев посвятил Флоренции стихотворение, которое было напечатано в журнале “Гиперборей” — ежемесячнике акмеистского объединения “Цех поэтов”:

Ф Л О Р Е Н Ц И Я

452

(1912)

*О, сердце, ты неблагодарно!
Тебе — и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно,
И запах трав, и в блеске даль.*

*Но, тайновидец дней минувших,
Твой взор мучительно следит
Ряды в бездонном потонувших,
Тебе завещанных обид.*

*Тебе нужны слова иные,
Иная, страшная пора,
Вот грозно встала Синьория
И перед нею два костра.*

*Один — как шкура леопарда,
Разнообразен, вечно нов.
Там гибнет “Леда” Леонардо
Средь благовоний и шелков.*

На Ponte Vecchio (фото 1898 г.).



*Другой, зловещий и тяжелый,
Как подобрившийся дракон,
Шипит: “Вотще Савонаролой
Мой дом державный потрясен”.*

*Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бедный, Алигьери
Стопой неспешной сходит в ад.*

Там же, в “Гиперборее”, было опубликовано другое флорентийское стихотворение Гумилева, посвященное наиболее потрясшему Гумилева в Италии (особенно во Флоренции) художнику.

Ф Р А Б Е А Т О А Н Д Ж Е Л И К О

(1912)

*В стране, где гиппогриф веселый льва
Крылатого зовет играть в лазури,
Где выпускает ночь из рукава
Хрустальных нимф и венценосных фурий;*

*В стране, где тихи гробы мертвецов,
Но где жива их воля, власть и сила,
Средь многих знаменитых мастеров,
Ах, одного лишь сердце полюбило.*

*Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал, Буонарроти,
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.*

*Но Рафаэль не греет, а слепит,
В Буонарроти страшно совершенство,
И хмель да Винчи душу замутит,
Ту душу, что поверила в блаженство*

455

*На Фьезоле, средь тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке.*

*На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не все умел он рисовать,
Но то, что рисовал он, — совершенно.*

*Вот скалы, рощи, рыцарь на коне, —
Куда он едет, в церковь иль к невесте?
Горит заря на городской стене,
Идут стада по улицам предместий;*

*Мария держит Сына Своего,
Кудрявого, с румянцем благородным,
Такие дети в ночь под Рождество,
Наверно, снятся женищинам бесплодным;*

*И так нестрашен связанным святым
Палач, в рубашку синюю одетый,
Им хорошо под нимбом золотым,
И здесь есть свет, и там — иные светы.*

*А краски, краски — яркие и чисты,
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.*

*И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал, и состязался с ним
В его искусстве дивном... но напрасно.*

*Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.*

В апреле 1918 г. произошел развод Гумилева и Ахматовой. В 1921 г. Николай Степанович Гумилев был расстрелян большевиками под Петроградом по обвинению в участии в антисоветском заговоре.

Память о Гумилеве и память о Флоренции, тема Данте — поэта-изгнанника — навсегда переплелись воедино в творчестве А. А. Ахматовой. В августе 1936 г., в год 50-летия со дня рождения Гумилева, Ахматова написала стихотворение “Данте”.

ДАНТЕ

(1936)

*Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянувшись,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятие,
За порогом дикий вопль судьбы.*

457

*Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...*

Ахматова, как известно, хорошо знала итальянский язык, читала Данте в подлиннике, помнила многие терцины “Божественной комедии” наизусть. В годы войны, во время эвакуации в Ташкенте, она любила читать друзьям Данте по-итальянски.

Когда в декабре 1964 г. Анне Андреевне Ахматовой вручали в Италии (в Таормине на Сицилии) литературную премию, среди других подарков ей преподнесли шикарное издание “Божественной комедии” Данте с иллюстрациями Боттичелли. В ответ Ахматова прочла стихотворение “Муза”, написанное в Ленинграде в 1924 г.:

*Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?" Отвечает: "Я".*

Последним публичным выступлением А. А. Ахматовой было ее "Слово о Данте", произнесенное в Большом театре 19 октября 1965 г.:

"Я счастлива, что сегодня в торжественный день могу и должна засвидетельствовать, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого гения человечества — Шекспира на знамени, под которым началась моя дорога, и вопрос, который я посмела задать Музе, тоже содержит это великое имя — Данте... И для тех, кто был тогда со мною рядом, величайшим и недосягаемым Учителем был суровый Алигьери, и между двух флорентийских костров Гумилев видит, как:

*Изгнанник бедный Алигьери
Стопой неспешной сходит в ад.*

А другой мой друг и товарищ, Осип Мандельштам, проживший годы на изучение Данте, пишет в стихах и прозе замечательный трактат «Разговор о Данте»...

Именно в тот октябрьский вечер, когда Ахматова произнесла вслух имена двух по сути запрещенных на родине поэтов, Гумилева и Мандельштама, у нее снова начались сердечные боли, приведшие к последнему инфаркту, от которого она уже не оправилась.

Анна Андреевна Ахматова скончалась 5 марта 1966 г. в подмосковном санатории “Домодедово”. После отпевания в соборе Николы Морского в Ленинграде ее похоронили на кладбище в Комарове.

ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИЛЬИН
И
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА
ИЛЬИНА-ВОКАЧ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ Ильин (28.03.1882, Москва — 21.12.1954, Цолликон, Швейцария) — философ, писатель, публицист, последовательный критик большевизма, идеолог Белого движения. Выходец из дворянской семьи: отец — присяжный поверенный и земский деятель; мать — немка, перешедшая из лютеранства в православие. После окончания (с золотой медалью) классической гимназии с отличием окончил юридический факультет Московского университета. В 1918 г. защитил докторскую диссертацию. Осенью 1922 г., в числе других деятелей русской науки и культуры, был выслан из Советской России “философским пароходом”.

Наталия Николаевна Ильина (Вокач) (1882, Москва — 30.3.1963, Цолликон, Швейцария) — историк, искусствовед. Из московской семьи дворян-интеллигентов. Племянница (по матери) Председателя I Думы С. А. Муромцева. Окончила историческое отделение Московских Высших женских курсов (курсов В. И. Герье).

461

Иван Александрович и Наталья Николаевна Ильины венчались 27 августа 1906 г. в церкви Рождества Христова в селе Быково. Быт молодой семьи отличался скромностью. Е. К. Герцык, родственница Н. Н. Ильиной-Вокач, вспоминала:

“Двоюродная сестра не была нам близка, но — умная и молчаливая — она всю жизнь делила симпатии мужа, немного ироническая к его горячности. Он же благоговел перед ее мудрым спокойствием. Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой — все строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц потратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный театр. Квартирка — две маленькие комнаты — блистала чистотой...”

В конце 1909 г. И. А. Ильин вместе с женой уехал в длительную научную командировку в Германию, Францию, Италию. В 1911 г. они впервые побывали во Флоренции, которая произвела на них сильнейшее впе-





чатление, о чем Ильин доверительно писал своей родственнице и другу, тоже яркой поклоннице Флоренции, Любови Гуревич:

464

“Целые гнезда выжжены во мне тем, что я видел, главное во Флоренции. И, возвращаясь к этим гнездам, я сам невольно удерживаю дыхание и умолкаю, чтобы не коснуться недостойно этих мест. Что-то постарело за этот месяц во мне, что-то свернулось и ушло в себя. Знание не только радость и боль, знание — старость и молчание. Что-то медленно, но тяжело и бесповоротно переливается во мне, и говорить об этом невозможно. Какие-то опоры вышли из равновесия перед тем, как уложиться окончательно и по-новому...”

И.А. Ильин — Л.Я. Гуревич 14 мая 1911 г. из Геттингена.

“Не удивляйся моему молчанию из Италии — и не кори за него. Я убежден, что тебе лишь «потом», позднее стали терпимы и нужны слова. Вероятно, что и со мной так будет. Но «тогда» и там их не хотелось и не нужно было. Ни самому говорить, ни слышать. Я и теперь говорю о том, что я там видел (хочется сказать: «что там было»), с трудом и иногда с болью. Если другой пережил то же, что я, или сходно, — то это радостно и тогда без слов все ясно; если же он нашел другое — нередко обратное, — то говорить абсолютно не хочется, ибо мои слова профанирующие, а его грубые, как конская скребница по языку. Я уверен, что если бы мы с тобой увиделись, то ограничились бы такими восклицаниями: «А помнишь

На предыдущем развороте: Площадь
и церковь Santo-Spirito (фото конца XIX в.).

это?! А знаешь это?! А еще это?» Но ведь в письме этого не напишешь: выйдет глупо... А с течением времени, позднее, когда захочется слов и выжженные в душе места обрастут обыкновенной кожей, — мы с тобой увидимся и наговоримся о Флоренции...

И.А. Ильин — Л.Я. Гуревич 31 июля 1911 г. из Бретани.

465

Во время этого путешествия Наталья Николаевна Ильина-Вокач на всю жизнь увлеклась творчеством великого флорентийского художника Сандро Боттичелли (1445-1510) и по возвращении в Россию написала фило-софско-искусствоведческий труд “Боттичелли. Опыт по философии искусства”, сделавший ее имя известным в профессиональных кругах (см.: Приложение).

Следующее посещение Ильиными Флоренции состоялось уже после высылки из России. В 1923 г. И. А. Ильин заболел в Берлине (где они тогда жили) гриппом, болезнь затянулась, и к весне 1924 г. врачи установили катар верхних дыхательных путей. Ильины должны были уехать из Германии на юг: побывали на курортах Австрии (Фельден и Кетчах), а затем переехали в итальянский Тироль, где несколько месяцев жили в Сиузи и Мерано.

В октябре 1924 г. Ильины приехали во Флоренцию и поселились в пансионе “Fiorenza” на Via del Presto di St. Martino. Окна их комнат выходили на самую знаменитую флорентийскую церковь на левом берегу Арно — Santo-Spirito, построенную в XV в. по проекту Бруннелески.

Во Флоренции Ильин продолжил работу над книгой “О сопротивлении злу силою”, занимаясь в основном в библиотеке галереи Уффици. Параллельно он увлекается новейшими течениями политической жизни Италии, в частности, учением Муссолини и других теоретиков итальянского фашизма, уже более года находившихся в Италии у власти.

В те месяцы Ильин ведет активную переписку с другим лидером Белого движения, Петром Бернгардовичем Струве, издающим в Париже право-эмигрантскую газету “Возрождение”. Ильин предлагал Струве стать корреспондентом газеты и регулярно писать на итальянские темы:

“Вы знаете, что я проделал целую работу по вопросу о фашизме: я овладел итальянским языком, я завел знакомства, я был допущен к библиотекам фашистов, я многое выписал, прочел и художественно выносил. Всё это я лояльно и вернопреданно предоставил «Возрождению». И прямо скажу, что я знаю о фашизме то, что немногим известно. О корреспонденциях моих знают в Италии; о них говорят здесь все читатели “Возрождения”. В последней корреспонденции я обещал биографию Муссолини — «осветить весь его жизненный путь». Редакция поторопилась сделать эту работу ненужной... (опубликовав достаточно поверхностную биографию Муссолини некоего г-на Нордова — А. К.)”.

И. А. Ильин — П. Б. Струве в Париж 27 декабря 1925 г. из Флоренции.



Церковь Санто Спирито. Главный алтарь.

Активно пишет И. А. Ильин из Флоренции и другому своему другу — лидеру Белого движения, генералу Петру Николаевичу Врангелю, обсуждая, например, эмигрантскую деятельность бывшего председателя Временного правительства А. Ф. Керенского:

“Я считаю правильным писать мимо людишек даже тогда, когда приходится этих людишек сечь... Я и так восемь лет морщусь оттого, что русская история так неудачно и безвкусно уснастилась именами этих, истинно ничтожных пакостников...”

И. А. Ильин — П. Н. Врангелю в Сремски-Карловцы 15 октября 1925 г. из Флоренции.



Церковь Ognissanti.

П. Н. Врангель тогда ответил Ильину: *“Я о Керенском невысокого мнения...”*

...С особым наслаждением прогуливались Ильины в те месяцы на другой берег Арно, где, совсем недалеко от их пансиона, расположена знаменитая францисканская церковь Ognissanti (Всех святых), расписанная в XV в. фресками Боттичелли и Гирландайо. Здесь же находится и могила столь любимого Ильиными Сандро Боттичелли, с которой, как они знали, связана удивительная история.

469

Постоянной моделью Боттичелли была первая красавица Флоренции Симонетта Веспуччи — жена дальнего родственника открывшего Америку путешественника Америго Веспуччи. Почти на всех полотнах Боттичелли мы видим рыжеволосую Симонетту: она у него — и Венера, и Весна, и Паллада... Боттичелли, как и очень многие, был страстно влюблен в Симонетту, но она — увы — была возлюбленной Джулиано Медичи. В возрасте двадцати трех лет Симонетта Веспуччи умерла от чахотки: в день похорон ее в открытом гробу пронесли по всей Флоренции и похоронили в церкви Онъиссанти. Безутешный Боттичелли завещал похоронить себя у ног прекрасной Симонетты — и его завещание было исполнено.

...В октябре 2005 г. останки Ивана Александровича и Наталии Николаевны Ильиных были перевезены из Швейцарии в Москву и перезахоронены в Донском монастыре.

Приложение

Н. Вокач

Боттичелли

470

Связь Боттичелли с культурой Возрождения очень велика и очень определена. История установила общую зависимость между творчеством художника и той духовной жизнью, которою жила Флоренция второй половины XV века, и указала на те влияния, которые воспринимало чуткое и разностороннее дарование Боттичелли. Современная ему живопись, эстетические воззрения Альберти, классическое искусство и классическая литература, преломленная новой итальянской поэзией, наконец, религиозно-философские искания Платоновой академии и проповедь Савонаролы — все это находило свое отражение в его образах и определяло его художественное дело. В результате этих сопоставлений искусство Боттичелли стало рассматриваться как отблеск золотого века итальянской истории, и в этих далях исторической перспективы развевалась та высшая самобытность в нем, которая сделала его носителем метафизического откровения. А между тем смысл и значение этого откровения не подчинены ни времени, ни месту, ни той индивидуальной душе, которая приняла его как свое благословение или свое проклятие...



471

Боттичелли. Паллада и Кентавр. Уффици.

В искусстве Боттичелли красота расцветает, как чудо, там, где еще не уготовлено для нее место, где все враждебно ей и мешает ее появлению. Прекрасное всегда причастно покою завершенности, в котором обретают мир противоборствующие начала и дается свобода от неразрешимости религиозных заданий. Между тем образы Боттичелли полны той смущенности духа, которая возникает в нем тогда, когда он видит правду, но не хочет пути к ней, когда он не смеет осудить до конца, но хочет и не хочет устранить уже приговоренное им изначально злое. Здесь все — раздвоенность и борьба. И когда эта безнадежность озаряется красотой, то эта красота приходит не как осуществленная реальность, но как мечта о далеком последнем примирении, как предчувствие блаженного конца... При том обостренном ощущении греха в его изначальности и неискупимости, при той интенсивности осуждения, в котором живет дух Боттичелли, трудности нового морально-религиозного пути оказываются непреодолимыми. Каждый образ, созданный художником, ставит проблему и решает ее, но в самом решении утверждает вновь и вновь ее неразрешенность. Все творчество Боттичелли разворачивается как непрерывное, безнадежное искание святости, искание Бога, который есть лишь там, где нет зла, и бытие которого есть знак того, что в мире все благо и все свято.

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЕЙДЛЕ

473

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ (13.03.1895, Санкт-Петербург — 5.08.1979, Париж) — поэт, искусствовед, историк-медиевист.

Свою первую поездку в Италию семнадцатилетний Владимир Вейдле совершил с матерью и школьным другом Шурой Куренковым весной 1912 г., после окончания немецкого реформатского училища в Петербурге и перед поступлением на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В своих мемуарах, написанных уже на закате жизни, умудренный В. В. Вейдле подробно описал это путешествие, предпослав соответствующей главе искренний и характерный заголовок: “Сто дней счастья, или Моя первая Италия”.

“Обетованная земля! Ничего более решающего для всего дальнейшего в жизни моей не было, и никогда, за всю жизнь, не был я так безмятежно, длительно и невинно счастлив, как на ее заре в эти итальянские сто дней... Здесь, на обетованной земле, отрочество мое в юность перешло. Что ж, влюбился я там впервые по-настоящему, что ли? Вот, вот, но соперниц у нее не было: в одну Италию. Сто дней этих прожил без вожделенья, как и без телячьего влюбленья; ни до того, ни до другого, на удивление потомству, я еще тогда и не дорос. Любвью любил...”

И далее Вейдле сформулировал определяющую роль своей юношеской влюбленности в Италию для всей последующей жизни:

“Первая она была и основная, воспитательница всех любовей, узанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я, быть может, никогда — к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловечении этом истории. Эрос такого рода захирел и выветривается теперь, но многим был свойствен в прошлом веке и в начале нашего века. Ему научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не встретил, не стал бы я тем, кем я стал...”

Планируя весеннее путешествие 1912 г., семья Вейдле обстоятельно продумала маршрут (многое, судя по всему, было подсказано оставшимся в Петербурге отцом — состоятельным предпринимателем и почетным гражданином Вильгельмом Вейдле): решено было ехать сразу,

без особых остановок, на итальянский юг, а уже затем, по мере наступления весны, “подниматься” на север. Так, в марте путешественники осмотрели побережье Неаполитанского залива, были в Помпеях, на Везувии, съездили на остров Капри, совершили редкую по тем временам поездку к греческим храмам в Пестуме. Затем прожили почти весь апрель в Риме, посетили умбрийские городки Орвьето, Перуджу и Ассизи, а в начале мая достигли, наконец, Тосканы, поселившись во Флоренции в частном пансионе Бенуа на набережной Серристоры на левом берегу реки Арно, рядом с Piazza Demidoff.

Вейдле позднее вспоминал их пансион на Lungarno Serristori (его через несколько лет снесли при расчистке квартала):

“Историческая Флоренция возле нас кончалась, но мы как раз еще оставались в ней. Трехэтажный наш дом не старинный был, но старенький: во Флоренции чуть ли не до семидесятых годов прошлого (т.е. XIX-го. — А. К.) века продолжали строить дома безо всякого удобства и к тому же очень флорентийские”.

За домом начиналась улочка, почти тропинка (ею любил ходить еще великий Данте Алигьери), по которой можно кратчайшим путем дойти до высившегося на холме старого монастыря Сан-Миниато, откуда открывается захватывающий вид на Флоренцию. Эта панорама, многократно описанная в том числе и русскими путешественниками, на всю жизнь отпечаталась в сознании Владимира Вейдле:

“Гляди и гляди, никогда не устанешь глядеть: вся Флоренция перед тобой, и от одних ее черепичных крыш, от изгиба реки, от единственной в мире, над Фьезоле, линии холмов — будет тебе хорошо, так хорошо, что и немножечко грустно”.

И далее в мемуарах следует пассаж о сравнении “идеи Флоренции” и “идеи Рима”, не раз варьировавшийся затем в историсофских и искусствovedческих сочинениях Вейдле.

“«Смерть родилась в Риме» (Шатобриан). Надо в Риме умереть, чтобы не пришлось ей гнаться за тобой из Рима. А Флоренцию надо увидеть молодым, потому что нет моложе ее города на свете. Самым большим счастьем путешествия нашего считаю, что увидел я ее, полюбил, к сердцу прижал в семнадцать лет. И что весна тогда была — май, оттого, что город этот поистине весенний...”

Спустя несколько десятилетий, В. В. Вейдле вернулся к этой теме в специальном “флорентийском очерке”:

“Надо видеть Флоренцию в ранней юности, да и не по-нять ее, пожалуй, никогда, если не взглянуть на нее юношескими глазами. Так много в ней навсегда исчезло, кончилось, прошло, но и самую смерть нельзя помыслить тут старухой. Если и встретишь ее, бродя среди жизне-радостно-многогоречивых могильных плит, то не в образе скелета с разящею косою, а в виде отрока, опрокинувшего факел, — такой, как после греков, в первые века христианства видели ее: знамением, преддверием бессмертия”.

Юноша Вейдле делает тогда однозначный выбор между уже виденным им Римом и Флоренцией — в пользу последней: *“Юности нетрудно понять юность. Я Рим забыл (до поры до времени забыл). Я изменил ему, влюбившись во Флоренцию”*. Спустя многие годы уже немолодой В. В. Вейдле писал о Флоренции: *“Стоит мне подумать о ней, пусть даже и теперь, — и я молодею. Всем дерзостям сочувствую, разрыв с преданием хвалю...”*

477

Тогда, в мае 1912 г., юному Владимиру Вейдле очень повезло: опеку над ним в узнавании Флоренции взял Николай Петрович Оттокар, талантливый ученик петербургского медиевиста Ивана Михайловича Гревса (у которого позднее будет учиться сам Вейдле), тоже выходец из русско-немецкой семьи, командированный Петербургским университетом во Флоренцию для написания диссертации.

Н. П. Оттокар в 1912 г. жил вместе с матерью Цецилией Яковлевной на другой стороне Арно, на Lungarno delle Grazie, прямо напротив пансиона Бенуа. Вейдле позднее вспоминал:

“Я не считал возможным много времени у него отнимать, но сговорено было, что, когда он захочет нас увидеть, он вывесит с утра полотенце на подоконнике своей комнаты, а мы, в знак согласия, ответим тем же, после чего в два часа зайдем за ним и он хоть часок погуляет с нами по городу. В последнюю неделю вывешивал он полотенце каждый день, да и у нас в пансионе бывал, обедал со



Кладбище монастыря Сан-Миниато.

своей милой матерью и со всеми нами... Увижу ли еще раз Флоренцию, не знаю. Но когда вижу ее, во сне или в мечте, все того полотенца ищу, на Лунгарно делле Грации”.

В своих многочисленных характеристиках Флоренции В.В. Вейдле чаще всего употребляет две — “умная” и “строгая”:

“Твердый стержень Флоренция сама дарует любой не слишком растрепанной душе. Дарует, прежде всего,

четким обликом своим — привольным, живым, но всегда этой четкостью обузданным... Поглядим еще раз, с холма Сан-Миниато, на черепичные крыши умнейшего в мире города. Как девически изящны и стройны колокольни Бадии и Санта-Мария Новелла!"

Видел Владимир Вейдле города (а также отдельные шедевры искусства) и покрасивее, и понаряднее, но сердце его всегда оставалось со "скромной" Флоренцией:

479

"Палаццо Публико Съены гостеприимней, краше и веселей; Палаццо Веккио флорентийской синьории внушительней, собранней и строже... Среди всех великих живописцев Джотто и Мазаччо наименее нарядны, и Микельанджело презренью ко всякому «реквизиту» учился именно у них... Изо всех великих зодчих последготической Европы Брунеллески (автор флорентийского собора Санта-Мария дель Фьоре — А. К.) наименее велеречив... Почтенью учит нас ребрастый купол Брунеллески, самый боевой, в своем крутом подъеме, среди всех на свете куполов..."

Отпущенный для осмотра Флоренции май месяц 1912 г. пролетел очень быстро:

"Месяц для Флоренции — только-только... Остальное увижу — мечталось мне, — когда вернусь во Флоренцию через два-три года. Ни на миг мне в голову не приходило, что приеду я сюда — в гости к Николаю Петровичу — из Парижа через двадцать лет..."

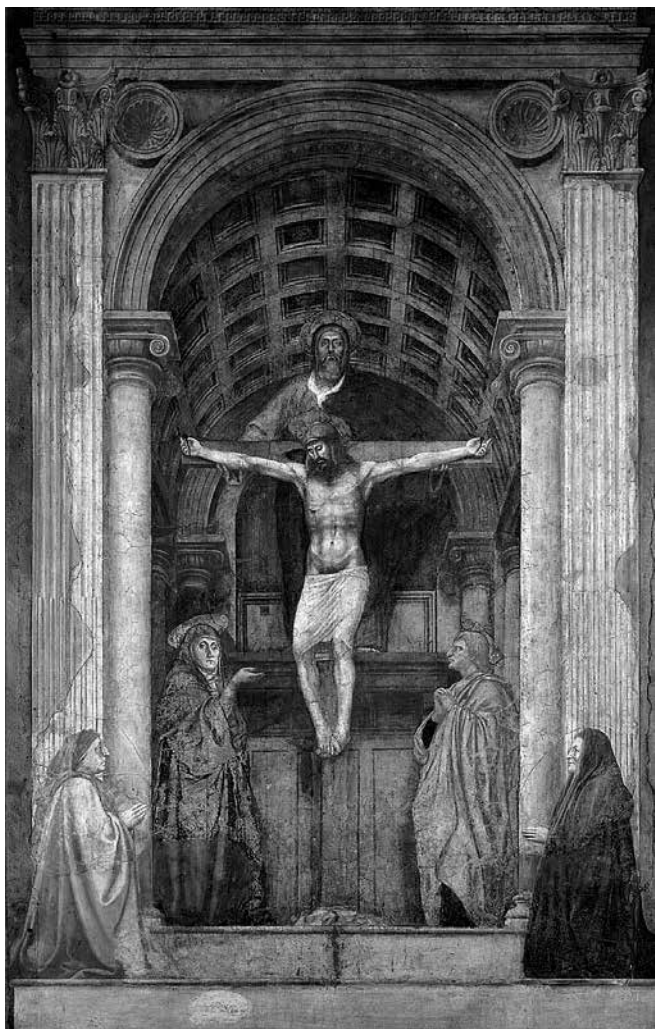
А тогда, в 1912 г., ободренный поддержкой Оттокара, Владимир Вейдле поступил на историко-филологиче-

ский факультет Санкт-Петербургского университета, где учился в том числе у крупнейших итальянистов И. М. Гревса и Д. В. Айналова. После большевистской революции Вейдле — профессор Пермского университета, где он преподавал вместе с Оттокарсом — деканом местного истфака, а затем и ректором университета. В длинных пермских разговорах с другом речь не раз заходила о далекой Италии:

“Поговорим с Николаем Петровичем о Флоренции и осоловеем немного от этого разговора, а потом опомнимся: она ведь за тридевять земель. Попадем ли мы еще туда? Верим, верим, или, по русской формуле, с резиныцей, «будем верить», что попадем. Будем верить. Не останемся же на всю жизнь без нее!”

В 1924 г. В. В. Вейдле эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни. Осенью 1932 г. ему, профессору истории христианского искусства парижского Богословского института, удалось приехать из эмигрантского Парижа в любимую Флоренцию (увы, муссолиниевскую) — впервые после 1912 г. После второй мировой войны Вейдле, живя в основном в Париже, преподавал историю христианского искусства в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка.

Неоднократно бывал он и во Флоренции — например в сентябре 1967 г. на торжественных празднествах в честь 700-летия Джотто, где сделал доклад “Джотто и Византия”.



Мазаччо. Троица. Церковь Санта-Мария Новелла.

И всякий раз, приезжая во Флоренцию, Вейдле соблюдал один и тот же ритуал: шел в церковь Санта-Мария Новелла или в капеллу Бранкаччи при церкви Санта-Мария дель Кармине смотреть фрески великого Мазаччо:

482

“А Мазаччо? Какой высший образ Богочеловека сумел он увидеть и явить в капелле Бранкаччи! Но фундаментальней, быть может, для обновления религиозного воображения, неразрывного с обновлением искусства, надгробная фреска его же в Санта-Мария Новелла — Распятие с Марией, Иоанном и молящимися мужем и женой у подножия креста; Распятие и одновременно Троица: голубь, летящий к терновому венцу, и во весь рост Отец в глубокой сводчатой нише, держащий в руках поперечную доску креста, на которой распят Распятый. Фреску эту за последнюю четверть века никогда не забывал я благоговейно навещать, в начале и в конце каждой новой встречи моей с Флоренцией”.

Наблюдая толпы туристов в городах Италии, Вейдле полагал это “итальянское паломничество” и естественным, и благотворным. Поэтому он был уверен, что и традиция русских путешествий в Италию — это ни много ни мало “залог европейского бытия России, ибо нет в Европе страны, где не было бы собственной вереницы итальянских путешествий и своего, одной этой стране присущего вида любви к Италии...”

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУССКИЕ
О
ФЛОРЕНЦИИ

ВСТРЕЧА С ФЛОРЕНЦИЕЙ

487

В. ЯКОВЛЕВ

1847

В девять часов утра, которое было ясно и жарко, мы увидели Флоренцию. В глубокой обширной долине, обставленной зеленеющими холмами, белеется целое море домов и палаццов; над ними встают изящные колокольни и огромные куполы, крытые черепицей. Все это уменьшено далью — и удивительно картинно. Множество вилл и монастырей со всех сторон отделились от города и бегут по холмам; некоторые уже взобрались на вершины, другие прячутся в зелени или под тенью кипарисов... Наконец, я в Афинах Италии, в великом царстве искусства, в отечестве Данта и Микеля Анджело. Благословенная земля эта древняя Этрурия; благородный город Флоренция.

В. ЯКОВЛЕВ. *Италия в 1847 году*. СПб., 2012. С. 433–434.

А. БЕНУА

1894

488

Наконец мы во Флоренции! По фотографиям, гравюрам, по описаниям в книгах и по рассказам я успел изучить чудесный город задолго до того, что в нем побывал, но сколько еще тут, на месте, оказалось неожиданного и прекраснейшего! Самое это сочетание чего-то очень строгого, почти мрачного с чем-то необычайно ласковым — уже одно это сразу пленило... Мы уже через день стали себя чувствовать как дома. Стоило выйти на улицу Calzaioni, на которую глядели окна нашего albergo, как особая атмосфера какой-то домашности нас окутывала и не покидала нигде: ни в музеях, ни в церквях, ни в ресторане.

А. БЕНУА. *Мои воспоминания*
(1894). М., 1990, кн. IV, с. 35-36.

И. ГРЕВС

1890

489

Живо помню я то, что испытал, когда в первый раз еще в юности попал в чудный город, куда хотел бы теперь направить всех желающих понимать, чувствовать и любить историческую красоту... Я въехал во Флоренцию ненастным сентябрьским вечером с сердцем, переполненным восторга от впервые пережитых в Италии впечатлений: я только что перед тем перебрался пешком через Сен-Готард, пробыл день на Комском озере и целое утро провел под сводами и на крыше Миланского собора... Теперь, спрятавшись под кожаный верх извозчичьего фаэтона от потоков падавшей с неба воды, я спешил на ночлег, утомленный волнениями новизны. На мгновение сквозь капли дождя при колеблющемся свете уличных фонарей перед глазами предстал грандиозный образ собора. Вновь поднялись от промелькнувшего силуэта незнакомого великолепного памятника улегшиеся было под влиянием усталости чувства: “Неужели я здесь? — думалось. — Какое очарование!” Но все скрылось за поворотом; мы въехали в узкую улицу: освещенный подъезд отеля, лестница, покрытая ковром, симпатичная комната, чистая постель и давно ожидаемый отдых... Скоро, однако, меня разбудили музыкаль-

ные звуки, раздававшиеся с улицы: отличный, казалось, мужской теноровый голос пел народный романс, пел вдохновенно, артистически. Тотчас вострепнулась душа, вспомнилось, что здесь — страна художников, ярко представилась первая сцена “Трех встреч” Тургенева... Я открыл окно и выглянул наружу: прояснилось; луна освещала только наполовину, не проникая лучами до мостовой, улицу, обстроенную высокими домами. Напротив поднимался старый дворец, похожий на крепость, с зубчатой башней; на ней часы пробили двенадцать ударов. Справа на площади, в которую впадала улица, виднелась удаляющаяся группа людей в плащах; один из них продолжал громко петь, другие вторили и, посмеиваясь, болтали. Тревога ожидания чего-то необычайно хорошего поднялась в душе от этого неожиданного эпизода. Все кругом чувствовалось невыразимо прекрасным; как бы совсем реально ощущалась вокруг огромная историческая глубина; она оживляла воображение, к ней влеклось испытующее внимание... Флоренция была первым итальянским городом, с которым мне удалось сродниться: она научила любить Италию, она подготовила к изучению и пониманию Рима. К ней на-

правляется благодарное чувство... Думаю, что всякий ум, жаждущий правды, всякая душа, восприимчивая к человечности, получит от Флоренции нечто единственное и незаменимое, без чего личность его останется в некоторых отношениях недоконченной.

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 12-13.

Б. ЗАЙЦЕВ

1907

492

Уже за Сен-Готтардом, пока летишь еще Швейцарией, начинается это играние в груди: скоро уже, скоро она. И все ниже, ниже, в долины Ломбардии! Вечер. Тучно во-круг, дышишь пшеницей и садами плодовыми, а вдали все та же звезда: чудный город Флоренция. Но надо помучиться еще ночью от Болоньи, в тихеньком местном поезде; впрочем, стоит он на станциях долго, и так тихо и черно ночью, так звезды весенние играют и соловьи заливаются: флорентийские уже соловьи! А утром, на раннем рассвете, спускаетесь вы с Апеннин и мчитесь в розовато-дымную долину: там Арно, Пистойя, Флоренция, и Данте, и другие. С гор стекает свежесть; облака курятся — и она ждет вас — светлая, розовая, божественная Флоренция, Киприда Боттичелли с гениями ветров и золотыми волосами. Восходящее солнце, надежды, вокзал, сутолока <...> — и сразу вы в самом сердце ее. И прямо перед вами Санта-Мария Новелла. Легкие, светлые улочки вокруг, с веселыми ослиами, продавцами, крестьянами тосканскими; рынки с запахами овощей — и Божий воздух, изумительная легкость духа, колокольни, монастыри в цветах — вечное опьянение сердца. Надо отыскать альберго, стащить туда вещи, выпасться сном

пламенным, помолодеть — и начать жить райской флорентийской жизнью. Эти дни будут особенные — предстоит блаженное процветание в свете, художестве, нерассказываемой прелести. Не позабудешь их.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Молодость* (1907) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 27-28.

ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФЛОРЕНЦИИ

494

С. ФЛЕРОВ

1882

Знаете ли вы, что такое Флоренция? Здесь все как-то светло и радостно, как-то гармонично, приветливо, прекрасно. Весь окруженный зелеными холмами, мирно покоится среди них белый, мраморный город, залитый зеленью и цветами, овеваемый удивительно мягким, душистым, благоухающим воздухом. Легко и свободно дышится в bella Firenze. Ничто не смущает чувства, ничто не наводит трепета. Вы также беседуете здесь с прошедшим, но это прошедшее говорит вам: смотри, как хорошо под этим голубым небом, среди цветов и теплого воздуха! Смотри, как прекрасна жизнь, как

она облагорожена искусством! Смотри, какой удобный, прелестный уголок создан здесь, уголок, весь залитый цветами, весь украшенный мозаикой, дворцами, садами, статуями, картинами; смотри, как хороша красавица Флоренция! Слыхали вы, как “ахают” дети, когда они увидят что-нибудь хорошее? Во всем свете не найдется ничего, что было бы милее, симпатичнее, радостнее детского восторга; звуки этого милого детского “ах!” вы различите среди тысяч голосов и шумов, и в то мгновение, когда он коснется вашего слуха, в душе вашей непременно сверкнет, как солнечный луч, теплое, светлое чувство... Мы с вами не дети, мы не ахаем, мы не можем так ахать, как они. Но, кажется мне, единственное, что сохранили мы еще общего с удивительной чистотой и правдивостью детского возраста, это единственное состоит в той светлой радости, которая внезапно озаряет нашу душу при виде какого-нибудь чудного произведения искусства. Такое радостное, светлое чувство испытываете вы во Флоренции.

С.ВАСИЛЬЕВ <С.В.ФЛЕРОВ>. *Картинки Италии.*
Письма из Рима и Флоренции. М., 1894, с. 309–312.

И. АННЕНСКИЙ

1890

496

Флоренция преинтересный город. Странное впечатление производят узкие улицы, вымощенные, как тротуар. Толпа мало ходит по тротуару, а все посреди улицы. Тяжелые omnibusы кажутся еще выше и огромнее оттого, что кучер сидит высоко, почти на самой крыше вагона. Он вооружен огромным бичом, которым то и дело хлопает. Это и вместо нашего “берегись”, и для острастки лошадям. Им от этих бичей, вероятно, так же мало больно, как клоунам от плюх в цирке. Загадка положительно, как разъезжаются здесь omnibusы, экипажи. Вот на мосту слышится какой-то дикий крик — сначала он меня очень удивлял: это ослик в красной уздечке или с торбой под мордой запрягился, а не то испугался. Еще диче, кажется, кричат разносчики разной дрянью: специальным продуктом здешним — восковыми спичками, с водой, со свежими газетами. Вот среди улицы торжественно движется коляска: на подножках стоят какие-то болваны в красных фесках и раздают направо и налево программы сегодняшнего вечера в кафешантане. Заезжий цирк выставил афиши, которые можно прочесть за версту. Оперетка высылает свои афиши на длинных лучинах — их носят мальчишки среди улицы. Несмотря на живость итальянцев, толпа на улице

чрезвычайно сдержанная. Я никогда еще не увидел ни одного скандала, хотя шатался Бог знает по каким закоулкам, я не встретил даже ни одного пьяного. Жандармы в своих фраках с серебряными пуговицами, башмаках и треуголках, ремень от которых держится на подбородке, ходят, кажется, больше для красоты, чем для порядка. В толпе взгляды, мои, по крайней мере, невольно как-то падают на женщин, ах, как хороши здесь женщины, девушки особенно: любимый цвет летнего платья — крем. Из-под белой или бледно-палевой шляпки выглядывают глаза, на которые где-нибудь на Морской стали бы смотреть как на диковинку. Газ на шляпе, иногда простой цветок, тоненькая талия, загорелая ручка в митенке или голая, черный веер и эти чудные завитки волос на лбу и на стройной шейке — вот молодая итальянка. Почти никогда не увидишь плаксивого или надутого лица. В поступи какая-то самоуверенность, турнюра нет, нога в ажурном башмаке. Еще выделяется из толпы итальянский офицер. В своем широком пиджаке, в оттянутых серых с красными лампасами рейтузах, в маленькой кепи, бритый, с щегольскими усами и той особенно красивой и изысканной вежливостью, которая дается одним итальянцам...

Письмо Н. В. Анненской, 4 июля 1890 г.

И. ГРЕВС

1902

498

Во Флоренции нет поражающих обширностью площадей, как в Риме; нет таких грандиозных проспектов, как в Париже и Вене; нет роскошных новых общественных сооружений и частных домов, как в нынешнем Берлине... Вообще же флорентийские площади загромождены, улицы узки, нередко грязны; рядом с громадными, роскошными домами иногда до сих пор попадаются в непосредственной близости к самым фешенебельным частям города почти лачуги, выцветшие, проеденные плесенью. Общая картина первоначально покажется даже, может быть, несколько мрачной, вид домов чересчур однообразным; среди зданий много недоконченного, но много уже разваливающегося; слишком давит масса камня, сплошного, серого или желто-красного... Со строгих дворцов глядит богатая, сильная старина. Построенные из огромных, необделанных глыб, они гордо выставляют вперед каменную щетину своих стен, крепкие ворота, решетчатые окна и почерневшие углы. Рядом с суровыми остатками феодальных бурь отовсюду, впрочем, вырываются веселый вкус и счастливое изящество более поздних веков. Наконец, и новые дома так типично однородны, так гармонируют, несмотря на известную

мягкость их форм, с монументальными palazzi давних времен: они характерно воплощают совсем особый то-сканский домашний стиль, солидный и приветливый. Богатые строения иногда облицованы или, по крайней мере, украшены мрамором; на разноцветных поверхностях его оживленно играют солнечные блики и пятна тени. Милые светлые “лоджи” на коринфских колоннах, открытые воздуху и солнцу, разнообразят гладкие фасады. Чувствуется, что гражданское зодчество легко высвобождается здесь из-под давления феодального предания, сохраняя от воинственного (готического) средневековья лишь черточку своеобразия или фантастичности; что естественное направление развития возвратило его быстро к стройным и простым формам классической древности... Нет ни одного города, где бы произведения искусства были рассеяны в таком разнообразном множестве, так поэтично-просто, на свободе... Громадная сила разлитой повсюду красоты, смягченная удивительной ее тонкостью, манящей к себе внутренней теплотой и бесхитростной прелестью, победоносно оттеснит кажущуюся суровость и некоторую сухость, которые могут представиться сначала и обмануть первый взгляд.

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 12–13, 24–26.

И. ГРЕВС

1900-е

500

Флоренция пережила грозную цепь трагических эпох; вся история ее воплощает непрерывную борьбу контрастов добра и зла; но она ее преодолела, победила дуализм, выковала гармонию, и глубокий, светлый мир духовный глядит на нас из ее неумирающих, чудных, вдумчиво мягких очей, полных неисчерпаемого содержания человечности, или она приглашает погрузиться в ее широкое лоно удивленного, взволнованного путника-паломника. И она не обманет. Он выйдет из нее одухотворенным и еще не один раз вернется под ее нестареющий, материнский кров — просвещаться и очищаться преданиями вечного, которые она незыблемо-радостно хранит. Единством заслуженной собственным подвигом гармонии веет на меня от милого, неотразимого лица Флоренции, миром и успокоением звучат ее уста через голос большого колокола, много раз в день раздающегося с высоты джоттовской кампаниллы у Santa Maria del fiore таким глубоким и вместе тихо-умиротворяющим звуком. Будто он гласит “*paх omnibus*” <мир всем — *лат.*>, или как будто еще — “*in terra et in cælis*” <на земле и на небесах — *лат.*> и солнце флорентийское, не сжигающее и летом, но нежно греющее и все крася-

щее мягкими цветами даже зимою, также окутывает вас доброю Humanitas <Человечностью — лат.>: нет, не должно быть зла и раздоров.

И. М. ГРЕВС. *Моя первая встреча с Италией* //
Россия и Италия. М., 1993, вып. 1, с. 296.

В. БРЮСОВ

1902

502

“Город летучих мышей” — вот лучшее определение для Флоренции летом. Теперь, когда в центральной Италии зной, когда даже лошади падают на мостовых от солнечного удара, вся жизнь Флоренции направлена на то, чтобы сыскать прохлады. Во Флоренции просторные темные церкви, где всегда светло и где свет ослаблен темными стеклами. Крыши домов спускаются над стенами такими навесами, что почти совсем закрывают небо, защищая на узких улицах даже от отвесных лучей. Во всех домах вместо подъезда обширные, высокие, тоже прохладные сени. Окна все со ставнями, с жалюзи, и очень сложного устройства. Веера продаются везде: в магазинах, на улицах, в кафе; ими пользуются и дамы, и мужчины, и богатые, катающиеся в колясках, и нищие, просящие милостыню; у пятилетних девочек уже есть свой веер на цепочке из венецианского бисера. Прохладительные напитки, лимонад, тамаринд, кокосовое молоко, разные сиропы с сельтерской водой истребляются в неимоверном количестве. Лучшие сорта питьевой воды продаются в запечатанных бутылках. Настоящая жизнь во Флоренции начинается вечером, после восьми часов. Утром можно видеть только туристов, посещающих му-

зеи и картинные галереи. Перед обедом бывает небольшое катание в Кашине (Булонский лес или Петровский парк Флоренции), но только в восемь часов улицы действительно наполняются. Именно в этот час дети начинают играть в песок и салки, а их няньки, сидя на скамейках, любезничать с солдатами в пестрых мундирах. Именно в этот час на улицах шум, говор, шелканье бичей, музыка и пение. Городские оркестры играют каждый вечер в двух-трех местах, но, кроме того, везде устраиваются серенады: группы молодых людей, взяв в руки гитары и мандолины, бродят по улицам, распевая арии. По тосканскому обычаю даже похороны совершаются по вечерам. Неопытный путешественник, встретив в одиннадцатом часу ночи гроб и факельщиков с закрытыми лицами (тоже местный обычай), может испугаться и подумать, что вернулись времена флорентийской чумы, описанной в “Декамероне”. Ничуть не бывало, это повседневное явление. А между тем сверху, под нависшими крышами, шныряют без конца летучие мыши, тоже, как флорентийцы, избегающие дневного света, и вдоль стен мелькают вечерние жучки, сверкающие фосфорическим блеском, которых здесь столько же, как у нас мух.

Л. КАРСАВИН

1906

504

При незначительности размеров улиц и площадей в городе, вид с окрестных гор дает даже больше чем панораму — он позволяет охватить глазом те здания, целое которых вблизи исчезает... Несмотря на каменные стены, как-то особенно приятно и интимно гулять по этим узким улицам и кое-где в просветах смотреть на Флоренцию. И в этих прогулках-дорогах в самом городе есть какая-то интимность и близость, какая-то неопределимая, не ослепляющая, но полная красота.

Письмо И. М. Гревсу, 16 июля 1906 г.

Б. ЗАЙЦЕВ

1907

505

Только что вышел из альберго, окунулся в светлый воздушный огонь; надо надвигать шляпу глубже, это уже солнце Флоренции; но оно не душит; дышится так же легко и вкусно, как и не в такой жар; напротив, так и глотаешь этот воздух живоносный и радостно-жгучий... Уже ждут пылкие улочки Флоренции и разные ее святы места, и тут же смешной и милый Mercato Centrale, рынок, где рядом с великой капеллой Медичи те же самые итальянцы, потомки, может быть, медичисов, микель-анжельцы, торгуются, ярятся, произносят речи в пользу головных шпилек или фунта вишен — о, за свои чентезими они постоят! Но на этом рынке, среди улиц и стройности внутренней все так не гнусно — напротив, веселое, детское, даже бессмертное есть в этих чинкванта чинкве чентезими, экко, ундичи, отто сольди, синьоре, отто сольди. И когда из ловкой суетни уходишь прочь, в тишайший монастырь Сан-Марко, как непохоже и как родственно, духовно совместимо! Там, в полуверсте, глотку надрывали из-за полусольди; здесь вечный, благосклонный мир, но это ничего, все это детища единого духа Италии... И далее — выйдете на улицу, охватит она вас ритмом, стройностью — вас уже убедили, что да,

так и надо, в этом божественном горне — Флоренции — сплавляются Кастаньо и Беато Анджелико. Ибо есть в ней нечто от древней, бессмертной гармонии, где всё на месте, всё нужно и в мудром сочетании принимает побудительный, неуязвимый оттенок. Таково впечатление: тлен не может коснуться этого города, ибо какая-то нетленная, объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь. Называли Флоренцию Афинами; это понятно и верно, это сродно самим богам ионическим, эллинской кругообразности, светлости мрамора; только плюс христианство, которым многое еще осветлено, еще оласковано.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Молодость* (1907) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 28–30.

П. МУРАТОВ

1911-1912

507

Церковь Сан-Миниато и ведущую сюда лестницу Данте называет в двенадцатой песне “Чистилища”. Он приводит ее затем, чтобы показать, как высоки и трудны для смертного были лестницы, иссеченные в склонах священной горы. Вспоминая ее, он опять вспоминает свою Флоренцию. В то время, когда складывались эти строки, он мысленно был здесь, у Сан-Миниато. Его душевный взор летел отсюда над мостом “Рубаконте” и над всем городом, имя которого его горькая ирония скрывает в словах “la ben guidata” <“юдоль порядка”>. Так это место поэмы доводит до нас горечь разлуки, испытанную Данте, и силу его мечты увидеть снова Флоренцию с высот Сан-Миниато. Ему не суждено было дожить до такого счастья — счастья, которое стало слишком легким достоянием каждого из нас. Мысль об этом должна всегда сопутствовать, как тень великой печали, даже нашим обычным вечерним прогулкам на площадке вокруг бронзового Давида. Нынешняя Флоренция, видимая от Сан-Миниато, мало чем похожа на ту, к которой летело когда-то воображение Данте. За шестьсот лет не переменялись в ней лишь Сан-Джованни, лишь этот мост “Рубаконте” или “алле Грацие”, да еще высокие темные

стены францисканской церкви Санта-Кроче. За мостом и вокруг церкви все стало другим, все говорит о новых столетиях и новых людях. Видя краснеющие купола собора и Сан-Лоренцо, мы задумываемся над сложной и превратной судьбой города, над его великолепной жизнью и над славой его бесчисленных гробниц. И все-таки сердце подсказывает, что это Флоренция, та самая Флоренция Данте, святыня, за которую он мог положить свою душу, суровую и нежную. В ней что-то навсегда осталось от тех времен, в чистоте и строгости ее очертаний, в синеве ее блаженной долины, в изгибе Арно, текущего с гор Казентина. Она запечатлевается отсюда в одном взгляде, памятном и хранимом потом на всю жизнь. И нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный "общий вид" Флоренции не пробуждал бы чувства близости к высшей, чем земная, красоте... Флоренция внушила ему <Данте> эту любовь к миру и иным мгновениям короткой жизни, ради которых можно забыть даже о пути к блаженству. Не делает ли она более ценным существование каждого из нас, ее мимолетных гостей? Этот город, такой обыкновенный в своих лавках, новых домах, новых улицах, где-то хранит для каждого

целый клад еще незнакомых чувств, еще не изведанных по тонкости впечатлений. Но даже обыкновенное скоро перестает здесь быть таким, по мере того как жизнь путешественника обращается в поклонение и сам он из простого любопытного становится пилигримом, — любимое Данте слово! Есть общее в том, как воспринимается Флоренция, с впечатлением от чтения “Божественной комедии”. В обеих та же стройность — стройность великолепного дерева, та же отчетливость и завершенность, та же гениальная легкость в великом. Камни Флоренции, так кажется, легче, чем камни, из которых сложены другие города. Происхождение и природа слов Данте кажутся иными, чем происхождение и природа обыкновенных человеческих слов. В самом коричневатом цвете здешних дворцов есть высшее благородство, — плащ такого цвета был бы уместен на плечах короля, скрывшего свою судьбу под судьбой странника.

П. П. МУРАТОВ. *Флоренция. От Сан-Миниато*
(1911-1912) // *Образы Италии*. М., 1994, с. 101-104.

В. ВЕЙДЛЕ

1950-е

510

Надо видеть Флоренцию в ранней юности, да и не понять ее, пожалуй, никогда, если не взглянуть на нее юношескими глазами. Так много в ней навсегда исчезло, кончилось, прошло, но и самую смерть нельзя помыслить тут старухой. Если и встретишь ее, бродя среди жизнерадостно-многоречивых могильных плит, то не в образе скелета с разящею косою, а в виде отрока, опрокинувшего факел, — такой, как после греков, в первые века христианства видели ее: знамением, преддверием бессмертия.

В. Вейдле. *Месяц мертвых* // Вечерний день.
Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952, с. 58.

“ГОРОД ЦВЕТОВ”

В. ЯКОВЛЕВ

511

1847

Гуляю здесь не иначе как с розой или букетиком помаранцевых цветов, которыми наделяют здесь всех посетителей кофейных домов две-три флорентийские гражданки, избравшие на свою долю ремесло — раздавать всем желающим цветы и улыбки gratis <бесплатно>, не отказываясь, однако ж, при случае и от легкого вознаграждения.

В. ЯКОВЛЕВ. *Италия в 1847 году*. СПб., 2012. С. 438.

П. ЧАЙКОВСКИЙ

1878

512

Весна хотя еще не пришла совсем, но приближается быстрыми шагами. Цветов на улицах множество, есть даже мои любимые ландыши, и очень недорогие. Один вид этих милых цветов, красующихся в эту минуту на столе моем, уже достаточен, чтобы внушить любовь к жизни.

Письмо Н. Ф. фон Мекк 24 февраля 1878 г.

С. ФЛЕРОВ

1882

513

Не думайте, что эпитет “город цветов” есть что-нибудь иносказательное. Флоренция действительно залита цветами; их продают здесь везде; на каждом шагу, на каждом углу, под каждым воротами. Едва я успеваю открыть утром свое окно, как я уже вижу цветы. На огромных мраморных скамьях, тянувшихся вдоль стен палаццо Строцци (он как раз напротив моих окон), разложены тысячи цветов и букетов; около них постоянно толпится народ, и к полудню все цветы уже проданы; они перешли отсюда и из сотни подобных же уголков в дома, в петлицы мужского платья, на корсажи женщин, на столы, на окна, на жардиньерки. Вы пишете и читаете, завтракаете и обедаете среди цветов; вы ходите с цветами по улицам и непременно увидите цветы у каждого встречающегося вам мужчины, у каждой встречающейся вам дамы. Вечером, во время катанья в парке, вы увидите букеты во всех экипажах; еще позднее, когда вы отправитесь кончать ваш день в кофейной, вам опять дадут цветы; цветы лежат здесь перед каждым, на каждом столе, и никому не приходит в голову отказать продавщице в нескольких centesimi за ее букет; она удивилась бы, если бы вы сделали это, не взяла бы с вас денег и все-таки положила бы перед вами букетик: это обычай, это почти закон; вы начинаете и кончаете ваш день среди цветов.

С. ВАСИЛЬЕВ (С.В. ФЛЕРОВ). *Картинки Италии.*
Письма из Рима и Флоренции. С. 324-326.

И. ГРЕВС

1902

514

Первая прогулка по улицам Флоренции может вызвать разочарование в том, кто не отрешится от представления о привычных особенностях шаблонной красоты благоустроенных современных столиц... Садов и зелени видно с первого взгляда немного, чересчур мало для “города цветов”. Но всякий чуткий, наблюдательный человек без труда отделается от поверхностного впечатления, почувствует тут же на улицах даже притягивающую красоту... Поверх нависших крыш везде тянется полоса высокого темно-синего неба; в глубине длинной улицы на горизонте нередко раскрывается перспектива зеленоющего холма или серо-лиловая, окутанная прозрачным облаком горная вершина. Идешь и видишь порой через открытые ворота то улыбающиеся и уютные, то таинственные (“мистические”) садики. Из-за высокой ограды поднимаются роскошные кусты олеандр, все в цвету; наверху бежит галерея с хорошенькими арками, оживляя и освежая серьезную монотонность глухой стены; по колоннам и по крыше ползут и свободно свешиваются гроздья глициний...

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 24-25.

У Т Р О В О Ф Л О Р Е Н Ц И И

И. ГРЕВС

515

1902

Если вы поселились на Piazza del Duomo, проснувшись рано утром, раскройте раму, полюбуйтесь картиной! В окно будет нестись мелодичный звук большого колокола с высоты джоттовской башни (звонят почти каждый час), которая и сама, позади восьмиугольного пестрого мраморного Баптистерия с остроконечной, несколько тяжелой крышей, прямо и серьезно, но вместе ласково смотрит на вас. Потом глаз естественно обратится к богато украшенному скульптурами, свежему и светлому фасаду собора Santa Maria del Fiore. Когда перенесете взгляд в другую сторону, увидите поверх сплошного ряда окаймляющих площадь высоких, гладких домов с свешивающимися вперед крышами и большими ставнями, иногда с террасами наверху, убранными цветами, — другие колокольни и башни. Еще выше и дальше над зданиями перспектива закрывается довольно круто поднимающимся противоположным берегом реки, так-

же покрытым домами и усаженным деревьями. Солнце еще не печет, но хорошо греет и блестит очень ярко, отражаясь даже ослепительно от поверхностей мостовых и строений, на которых преобладают светлые цвета. Среди площади уже чувствуется оживление. Омнибусы перерезают ее в различных направлениях и порой раздаются рожки или свистки кондукторов; группа извозчичьих колясок столпилась в тени позади Баптистерия. Кучера в разноцветных куртках и клеенчатых цилиндрах болтают между собой или щелканьем длинных бичей привлекают внимание прохожих, предлагая услуги. Газетчики бегут, как угорелые, с кипами листов под мышкой, еще сырых, только что из-под станка: они разносят по киоскам любимые флорентийцами органы ежедневной прессы — “Nazione”, “Fieramosca”, неистово выкрикивая их названия. Мимо проходят с тележками торговцы фруктами и зеленью, также своеобразными возгласами призывая покупателей. На углах приютились любопытные, по большей части приземистые, горбатые или хромые фигуры комиссионеров в фуражках с бляхами и надписями (*faccino publico!*). Они занимаются всевозможными профессиями, кроме хождения

по посылкам: чистят на улицах сапоги; вычесывают и моют собак; они часто продают газеты, даже древности; являются справочными бюро для отыскания меблированных комнат и квартир, почти адресными столами; — вообще это интересная разновидность флорентийского быта. В различных углах образуются кучки беседующих людей: это ремесленники, идущие на работу, или мелкие служащие, остановившиеся поговорить с приятелями перед утренней чашкой и сигарой в кафе. Все громко разговаривают и усиленно жестикулируют: итальянец экспансивен в словах и движениях; он склонен и позевать, стоя в свободные минуты на любимых площадях родного города. С улицы несется пестрый шум движущихся экипажей, металлический лязг из растворенных дверей уже работающих мастерских, оживленный гам людских голосов, с которыми иногда сливается пронзительный крик тут же бредущего нагруженного ослика... Звук незнакомого, но привлекающего вас города — как много в них одних уже заключается заманчивой тайны!

И. М. ГРЕВ С. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 13–14.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

518

Утро. Золотой свет, тонкой струйкой, сквозь зеленые жалюзи. В комнате полутемно, прохладно; мягкий и зеленоватый отсвет на стенах, трюмо, на каменном полу. На столике букет фиалок. Миловидная Мадонна над постелью. Мы в Albergo Nuovo Corona d'Italia во Флоренции, на углу Via Nazionale и Via del Ariento. Если откинуть жалюзи скромного Albergo, то увидишь Via del Ariento. Она в голубовато-золотистом утреннем дыму; уже проворные торговцы привезли свои тележки с овощами; булочные торгуют, продают цветы, толпа снует, все движется, живет, свистит, смеется. Пахнет светом, теплом, пригретыми овощами, острым запахом рынка Mercato Centrale, сигарой, случайным благовонием далеких гор... — и в глубь тонкой, изящной в простоте своей улицы, с легкими домами, над которыми выступают карнизы, — там, в глубине, в голубовато-туманном свете восстает красный купол San Lorenzo, с небольшой колоколенкой. Вставать, вставать! Нельзя терять светлого утра, дня радости и юности. Наскоро мы одеваемся и в небольшом салоне синьора Ладзаро, нашего хозяина, пьем кофе из огромных чашек. Молоко белеет в нем, пар идет; пахнет сладковатым, и слегка мещански все в са-

мом салоне, где встречаются, пьют кофе и беседуют провинциальные торговцы, адвокаты из Аретцо, нотариусы из Эмполи. Сам синьор Ладзаро приветствует нас в нижнем этаже, за своей конторкой, в неизменной каскетке, ласково улыбаясь косым глазом. Солнце сбоку ударило и по нем и зажгло золотые пуговицы его куртки... Легкий зной охватывает на улице. Насупротив, в окне, прачки стирают, напевая песенку. Башмачник, с очками на носу, склоняется над подметкой рядом с нашим подъездом... Мы берем фунтик спелого винограда, и среди медников, чинящих кастрюли, парикмахеров, выбегающих наружу поболтать с бритвою в руке, пока намыленный клиент скучает за стеклом; среди булочников и фруктовщиков, мимо огромного, железного Mercato Centrale, где торгуют мясом, мимо цветочниц и Sale e tabacchi мы спешим к Сан-Лоренцо, к огромному красночерепичному куполу, вздымающемуся в глубине улицы.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Видения* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 36–38.

СОБОР
САНТА-МАРИЯ
ДЕЛЬ ФЬОРЕ
(ДУОМО),
БАШНЯ ДЖОТТО

П. ТОЛСТОЙ

1698

Потом пришел к соборной церкви, которая называется итальянским языком Санта-Мария Фиоре, то есть Святая Марии Цветковой. Та церковь зело велика, а снаружи сделана вся из белого мрамору, а в белой мрамор врезываны черные каменя изрядными фигурами, и пропорцією та церковь сделана дивною. А внутри тое церкви убору никакого нет, только алтарь сделан изряд-

ною резною работою из алебастру, и помост в той во всей церкви сделан из розных мраморов изрядною же работою... У той соборной церкви сделана колокольня зело высокая, четвероугольная, предивною работою; резбы изрядные из белого и черного камней, и работа во всем зело субтелная и изрядная.

*Путешествие стольника П. А. Толстого
по Европе 1697-1699. М., 1992. С. 228.*





В. ЯКОВЛЕВ

1847

524

Собор Santa Maria del Fiore — одно из самых громадных и оригинальных зданий в Европе. Строители не шли за греками или римлянами, не подчинялись ни готическому, ни византийскому стилю; они дали простор своему, флорентийскому воображению. Эта мраморная гора воздвигалась с лишком полтора века. Огромные, совершенно гладкие стены сверху донизу выложены дорогами разноцветными мраморами, порфиром, офиолитом. Этот собор — свидетель эпохи богатства и деятельности Флорентийской республики. Приступая к постройке, Флоренция наслаждалась миром. Впрочем, и в смутные времена республики, когда общий интерес требовал единодушного содействия граждан для защиты от внешних врагов, для нового обширного коммерческого предприятия, или для каких-нибудь общественных построек, — ярость партий на время смиралась.

В. ЯКОВЛЕВ. *Италия в 1847 году.*

СПб., 2012. С. 461–462.

На предыдущем развороте:
Собор Санта-Мария дель Фьоре

Б. ЧИЧЕРИН

1859

Более всего привлекла меня внутренность флорентийского собора, в котором таинственный полумрак готических церквей соединяется с закругляющимся простором, свойственным храмам нового времени. Меня пленяла изящная простота линий, представляющая переход от остроконечной вычурности средневекового стиля к пышности и блеску св. Петра. Это истинный храм периода Возрождения, где выступают уже все основные элементы нового времени, но еще обвитые пленками, в каком-то смутном предчувствии, как бы предугаданные художественным чутьем. Только купол, расписанный Вазари, всегда приводил меня в негодование и портил гармонию впечатления.

525

*Воспоминания Б.Н. Чичерина.
Путешествие за границу. М., 1932, с.83.*

П. ЧАЙКОВСКИЙ

1878

526

Любите ли Вы здешний Duomo? Я его люблю до страсти; мне нравится его суровая простота, и потом, я в архитектуре не знаю ничего пленительнее Campanile.

Письмо Н. Ф. фон Мекк 26 ноября 1878 г.

В. РОЗАНОВ

1901

527

Такое благополучие: едва приехал во Флоренцию, в пять часов утра, и, задыхаясь от усталости, счета денег и желания спать, все-таки выглянул на минуту в окно — как увидал чудеснейшую церковь, какую никогда не видал, и, недоумевая, спрашивал себя: “Да что такое, не в Милан же я попал вместо Флоренции”. У меня был адрес: “Piazza del Duomo”. Я не спросил себя, что такое “Duomo”, ехал от вокзала недолго, был уверен, что останавливаясь в окраинной части огромного города, и, увидав белое кружево мраморной церкви, положенное как бы на черное сукно, пришел в отличнейшее настроение духа. “Ну, так и есть! Цветущая, *fiorens* — Флоренция”. И заснул в самых радужных снах. Какая масса труда, заботливости, любви, терпения, чтобы камешек за камешком вытесать, вырезать, выгравировать такую картину, объемистую, огромную, узорную. В тысячный раз здесь в Италии я подумал, что нет искусства без ремесла и нет гения без прилежания. Чтобы построить “Дуомо”, нужно было начать трудиться не с мыслью: “Нас посетит гений”, а с мыслью, может быть, более гениальной и во всяком случае более нужною: “Мы никогда не устанем трудиться, ни мы, ни наши дети, ни внуки”. Нужна вера

не в мой труд, но в наш национальный труд, вследствие чего я положил бы свой камень со спокойствием, что он не будет сброшен, забыт, презрен в следующем году. Это-то и образует “культуру”, неуловимое и цельное явление связности и преемственности, без которой не началась история и продолжается только варварство. Как “Дуомо” ярок, цветист, радостен снаружи, так внутри он меня поразил бедностью, сухостью, темнотою. Небольшие окна, то круглые, розеткою, то длинные, почти лентою, унизаны синими, пунцовыми, реже желтыми, вообще темно-цветными стеклышками, почти не пропускающими света. Вы движетесь в совершенном мраке. Вдали горят немногие, редкие лампы. Это — царство духов, это — как на кладбище, где движутся фантастические огоньки. И храм почти пуст во время богослужения. В первый же раз, когда я вошел в него, за стеклянной, вполтину с деревом, перегородкой главного алтаря сидело на скамьях едва ли менее 80 патеров и вообще служителей и прямо кричало, орало, смелым, мужественным голосом молитвы, не замечая и не обращая внимания, что в церкви никого решительно, кроме меня, не было. Я всмотрелся за стеклянную перегородку. И патеры си-

дели почти в темноте. Но посередине на пюпитре лежала чудовищной величины развернутая книга, со словами и нотными знаками, длиной и толщиной, как цифры на стенных часах, и эта книга одна в целом соборе была ярко освещена сосредоточенным от абажура светом: по ней-то и пели патеры. И это их равнодушие к тому, что в церкви никого нет, и громкий голос, как бы счастливый одиночеством, как бы говорящий: “И никого не надо, одни проживем”, почти испугал меня и смутил: “Фу — как жрецы Ваала! и так же орут”. Я достоял до конца службы. Она тянулась долго, без красоты, монотонно в смысле однообразия. Наконец все кончилось. Что это за служба в порядке римского богослужения (было часа 4, а может быть, 6 пополудни) — я не знаю. Но они встали, немало не спеша, поводя плечами, как солдат, надевающий ранец, и пошли своей неусталой, крепкой походкой, грубо и твердо. Я перекрестился по-православному. Кое-кто посмотрел на меня в темноте. “Ты зачем тут? И тебя не надо, никого не надо. Мы одни тут и совершенно счастливы. Бог и мы”. Впечатление, как и повсюду, постоянно в Италии: “Ну, с ними довольно трудно заговаривать о соединении церквей”. Они сшибут вас с ног,





просто самым движением, бытием своим, раньше, чем вы успеете договорить первую фразу “предложения”; сшибут — и перейдут через вас, и пойдут к своим целям, и заорут, как здесь, что-нибудь грубое из Missalum <католический молитвенник>, без воспоминания о вас, без сожаления вас, потому что им нужно и хочется петь по этой огромной средневековой книге, как соловью слепому, который поет и упивается, и до мира ему нет дела, ни — до слушателей. Это — вера. Да, это тоже вера, не как наша теплящаяся, колеблющаяся, как огонь лампы, тихая, прекрасная, слабая — это другая, но тоже вера, законов которой мы не можем рассудить по совершенно особнным законам своей веры.

В. РОЗАНОВ. *Флоренция (1901)* // Итальянские впечатления. М., 1909, с. 211–213.

На предыдущем развороте:
Санта-Мария дель Фьоре. Интерьер.

И. ГРЕВС

1902

533

Кругом закипает дневная жизнь Флоренции; но прежде чем следовать по улицам за снующей мимо пестрой толпой, деловитой, но не суетливой, хорошо еще, поднявшись по лестнице, зайти ненадолго внутрь собора (il duomo). Входя, невольно еще один раз взглянешь на его пышный фасад: он слишком пестр, может быть, чересчур разукрашен; от него не веет почтенной стариной... но мрамор сам по себе манит и привлекает взор. Внутри прежде всего поражает громадность храма... Величественным кажется вошедшему страшно широкий главный корабль храма, накрытый четырьмя колоссальными крестовыми сводами, которые опираются на гигантские пиластры. В центре пересечения двух кораблей, продольного и поперечного, воздымается к небу огромный восьмиугольный купол, под которым расположен главный алтарь. Нельзя сказать, что сразу делается хорошо на сердце, когда впервые станешь под монументальными сводами. Неприятно действует прежде всего недостаток света, слабо проникающего сквозь узкие стрельчатые окна, которыми редко прорезаны широчайшие простенки. Затем еще того, кто бывал в готических соборах Франции и Германии и кто читал, что Santa Maria del fiore причисляется к произ-

ведениям того же архитектурного типа, расстраивают заметные противоречия архитектуры флорентийского собора с многими самыми характерными признаками “оживильного” стиля: стены, пиластры, колонны, купол — все это не подходит в нем к последнему. Чувствуется какое-то смешение приемов зодчества, выросших из разных корней, какое-то усилие приспособить к новой почве, к чуждому им содержанию формы, выработанные в иной среде, направленные к иным целям. Чувствуются несообразности, нарушения логики плана. Рядом с этим ощущается в храме неуютная нагота, и от него дышит некоторым холодом. Но пока это именно только “чувствуется”, в голове рождается вопрос: что такое итальянская готика?.. Думается, однако, что в эту первую прогулку во всяком случае общее впечатление грандиозности пересилит и здесь частные наблюдения недостатков. Оно и правильно, этого надо держаться: стараться сосредоточивать внимание на том, что несомненно и положительно хорошо; сначала надо увлечься, потом изучать и критиковать. Преодолев первую неловкость, приятно обойти обширный храм и внутри в кажущейся пустоте его увидеть несколько выдающихся художественных предметов.

И. М. Гревс. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 20–21.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

535

От Сан-Лоренцо площадь Дуото, флорентийского Собора, недалеко. Эта площадь, как и Площадь Синьории, есть средоточие Флоренции, место фатальное в том смысле, как для Рима фатален Капитолий. Вся Флоренция возросла из краев этих... Санта-Мария дель Фьоре, Собор Флоренции, строился в четырнадцатом веке; кончен в пятнадцатом. Как все великие соборы, он детище страстей и столкновений, состязаний, интриг, побед для одних и поражений для других; но его облик — могучий, по-тоскански пестро-мраморный корабль с куполом красной черепицы, с кампаниллой легкой и летящей — этот облик есть таинственный Лик самой Флоренции; художники и зодчие и магистраты, создавая свой Собор, дали ему свое лицо, живое и собирательное, воплощенное и идеальное, сами того не ведая. Этот Собор вполне жив. Он даже говорит, всей внешностью своей — и очень внятно. Город, над которым он вознесся, уже не может быть ни Римом, ни Венецией и ни Миланом. Я меньше чувствую это внутри Собора; и его внутренность люблю меньше. Там тоже много флорентийского. Там есть Кастаньо, есть и Донателло, есть бюсты знаменитых флорентийцев, есть Микелино Данте пред кругами Ада. Все

же огромные, холодновато-оголенные аркады, своды, гулкость, тишина — скорей общеготическое, даже францисканское, чем флорентийское... Как бы там ни было, из Albergo нашего никуда не выйдешь, не пересекши площади Duomo. Редко пройдешь, не задержавшись около Собора; заглянешь и внутрь, в прохладу, гулкость; поглядишь на Бонифация VIII в митре, на огромного, на коне, Гонвуда; на изящный бюст Фичино. А потом пойдешь к Кампанилле — неизменно облегчение какое-то, и разрежение духовное от нее; можно взойти наверх, по крутой, витой лесенке. Это очень высоко; площадь как на плане оттуда виднеется, с белеющей крышей Баптистерия; совсем рядом красная, черепично-чешуйчатая громада купола соборного; а вокруг, далее, над шершаво-остро-коричневой Флоренцией с тонкими кампаниллами — голубоватые вуали воздуха, голубовато-фиолетовые горы, Арно серебряное, светлый туман, да с гор благоухание фиалок. Вольный ветер, музыка и благовоение. Светлый свет Тосканы.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Видения* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 40–41.

БАПТИСТЕРИЙ

П. ТОЛСТОЙ

537

1698

По обеде пошел гулять и пришел перво к церкви Иоанна Предтечи (Баптистерию Сан-Джованни). Та церковь великая, сделана осмерогранная изрядною архитектурою и мастерством предивным; также и убор в ней хороший. На той церкви четверы двери великие; у тех дверей затворы поделаны медные, предивным мастерством высеканные; на тех дверях фигуры из меди, как бы из дерева вырезаны зело предивно.

*Путешествие стольника П. А. Толстого
по Европе. 1697-1699. М., 1992. С. 228.*





И. ГРЕВС

1902

540

Прямо перед собором на площади стоит старинный “баптистерий” во имя Иоанна Предтечи, одного из древнейших патронов города; в нем до сих пор крестят по обычаю предков рождающихся новых флорентийских граждан. Он кажется маленьким только сравнительно с массой соборного храма Св. Марии “с цветком”. Надо теперь подойти к нему, вежливо, но настойчиво отклоняя предложения проводников (*guida autorizzata*), которые здесь непременно окружают иностранца (*il forrestiere*), рассчитывая на поживу... Хорошо в первое же посещение взглядеться поближе в знаменитые бронзовые двери этого старого храма. Их трое: надобно изучать их в порядке древности — сначала северные, потом южные, наконец, восточные... Особенно сильно притянут к себе и заставят остановиться подольше третьи двери, чудо таланта Гиберти, которые Микельанджело недаром назвал достойными стать вратами рая. В десяти квадратных полях, на которые поделена их поверхность, представлены различные ветхозаветные события, начиная с сотворения мира и кончая временами Соломона. Сам художник в своих “Записках” хорошо поясняет, какую он преследовал задачу в этой работе: “Я старался, — говорит

На предыдущем развороте:
Баптистерий Сан-Джованни.

он, — всеми возможными для меня способами подражать природе, как в пропорциях отдельных частей, так и в перспективном построении общего плана каждой картины”... Надо было действительно много жить среди полей, часто вдыхать полной грудью живительные струи предрассветного воздуха, напоенного ароматами весны, приветствовать взорами появление зари, слушать и слушать песнь соловья, чтобы приобрести способность так творить и так толковать внешний мир. Нельзя представить себе, чтобы соприкосновение с описанным оригинальным памятником могло оставить человека равнодушным. Особенно русский, не привыкший среди своей бедной родной обстановки встречать такие чудеса, почувствует себя увлеченным. Это будет впечатление, от которого не сразу оторвешься; рассмотрев все картины, приятно будет присесть тут же в некотором отдалении перед “вратами рая” на ступеньки собора, подумать, собрать ощущения.

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 16–20.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

542

Какой тип осьмиугольного Сан-Джиованни, древнего Баптистерия Флоренции, на той же площади, насупротив Собора? Что это: храм Марса, древнехристианское создание IV века или церковь XI-го? Ученые об этом спорят, но одно бесспорно: как Собор, может быть, даже более, это священный палладиум города, уж во всяком случае, первобытный соборный храм, позднее уступивший место Санта-Мария дель Фьоре. И если загадочно его происхождение, то и детали туманны; знаменитые его купели, каменные углубления, о которых Данте поминает в XIX песне “Ада”, много задали труда и муки для дантологов... Немало минут проведено, с книжкой в руке, у дверей Баптистерия. Собственно, почему у дверей? Всесветно прославлены бронзовые рельефы их, но если сказать правду, этих рельефов так много, и так трудно все их оглядеть. Кажется, не очень много радости от сравнения стиля Пизано с Гиберти в молодости и с Гиберти зрелым, на Porta del Paradiso. Да и самая эта райская дверь при всей тонкости и виртуозности имеет нечто холодноватое, как бы зачаток академичности. Все же за что-то любишь их — и простого, грубоватого еще Пизано, и сухо-худощавого, изящного Гиберти! Подолгу

стоишь над медальонами, и тебя обдувает ветер, иной раз легенький вихрь налетит, и повеет пылью. Рядом, в пролетках, на худых, тощих лошадях дремлют красноносые извозчики в цилиндрах, с зонтиками, прикрепленными над козлами. Увидев, что достаточно уж ты насытился Гиберти и отходишь, красная, заспанная физиономия зашевелится и молча приподымет указательный свой палец — как подымает его Иоанн Креститель у Леонардо. Это значит, поедем, цена — лира.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Видения* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 40–42.

ПЛОЩАДЬ
СИНЬОРИИ,
ПАЛАЦЦО
ВЕККЬО

544

Н. СТАНКЕВИЧ

1840

Лучшее место в городе площадь Del Gran Duca со статуей Козьмы I верхом, статуями Микель-Анджело, Бенвенуто Челлини и Gian Bologna, старым дворцом, зданием, которое называется Loggia dei Lanzi, с чудесными аркадами...

Письмо Т. Н. Грановскому 1 февраля 1840 г. из Флоренции.

А. ГРИГОРЬЕВ

1858

545

Милостивые государи! Помянул я площадь del gran Duca <старое название Площади Синьории>, — во мне возродилось желание страшное сказать о ней несколько слов, с полной, впрочем, уверенностью, что если вы ее не видали, то мой восторг от нее не будет вам понятен, а если видели, то приходили в восторг и без меня... А все-таки я даю себе волю. Потому что изящнее, величавей этой площади не найдете нигде — изойдите, как говорится, всю вселенную... потому что другого Palazzo vecchio — этого удивительного сочетания необычайной легкости с самою жесткой суровостью — вы тщетно будете искать в других городах Италии, а стало быть, и в целом мире. А один ли Palazzo vecchio... Вон направо от него — громадная колоннада Уффици, с ее великолепным залом без потолка, между двумя частями здания, с мраморно-неподвижными ликами великих мужей столь обильной великими мужами Тосканы. Вон направо же изящное и опять сурово-изящное творение Оркани — Лоджиа, где в дурную погоду собирались некогда старшины флорентийского веча и где ныне — mutantur tempora — разыгрывается на Святой флорентийская томбола!.. Вон налево палаццо архитектуры Рафаэля —

еще левей широкая Кальцайола, флорентийское Корсо, ведущее к Дуото, которого гигантский купол и прелестнейшая, вся в инкрустациях, колокольня виднеется издали. А статуи?.. Ведь эти статуи, выставленные на волю дождей и всяких стихий — вы посмотрите на них... Вся Лоджиа Орканьи полна статуями, — и между ними зелено-медный Персей Бенвенуто Челлини и похищение Сабинок... А вот между палаццо Веккио и Уффици могучее, хотя не довольно изящное создание Микель Анджело, его Давид, мечущий пращу, с тупым взглядом, с какою-то бессмысленною, неразумною силою во всем положении, а вон Нептун, а вон совсем налево Косма Медичис на коне, работа Джованни да Болонья. И во всем этом такое поразительное единство тона — такой одинаково почтенный, многовековый, серьезный колорит разлит по всей пьяцце, что она представляет собою особый мир, захватывающий вас под свое влияние, разумеется, если вы не путешествуете только для собирания на местах фотографических видов и не мечтаете только о том, что вы будете их показывать по вечерам в семейном или даже не семейном кружке... Если вы способны переходить душою в различные миры, вы часто будете ходить

на piazzу del gran Duca... Днем ли, при ярком сиянии солнца, ночью ли, когда месячный свет сообщает яркую белизну несколько потемневшим статуям Лоджии и освещает как-то фантастически перспективу колоннад Уффици... вы всегда будете поражены целостью, единством, даже замкнутостью этого особенного мира, — и когда вы увидите эту дивную piazzу — чего я вам искренно, душевно желаю, в интересах расширения симпатий вашей души, — вы поймете, почему я перервал все рассуждения страницей об одном из изящнейших созданий великой многовековой жизни и человеческого гения.

А. ГРИГОРЬЕВ. *Великий трагик* (1858) //
А. Григорьев. Воспоминания. Л., 1980, с. 278–279.





А. ГЕРЦЕН

1867

550

Архитектуральный, монументальный характер итальянских городов, рядом с их запущенностью, под конец надоедает. Современный человек в них не дома, а в неудобной ложе театра, на сцене которого поставлены величественные декорации. Жизнь в них не уравнилась, не проста и не удобна. Тон поднят, во всем декламация, и декламация итальянская (кто слышал чтение Данта, тот знает ее)... Хроническая восторженность утомляет, сердит. Человеку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, быть тронутым и носиться мыслью далеко в былом, а Италия не спускает с известного диапазона и беспрестанно напоминает, что ее улица не просто улица, а что она памятник, что по ее площадям не только надобно ходить, но должно их изучать. Вместе с тем все особенно изящное и великое в Италии граничит с безумием и нелепостью — по крайней мере, напоминает малолетство... Piazza Signoria — это детская флорентийского народа: дедушка Буонаротти и дядюшка Челлини надарили ему мраморных и бронзовых игрушек, а он их расставил зря на площади, где столько раз лилась кровь и решалась его судьба — без малейшего отношения к Давиду или Персею...

А. ГЕРЦЕН. *За Альпами // Былое и думы.*

На предыдущем развороте: Площадь Синьории (фото конца XIX в.)

И. ГРЕВС

1902

551

Ниже Or San Michele улица Кальцайоли скоро выходит на гладко вымощенную площадь неправильной формы, не очень большую по величине, но весьма знаменитую по своему историческому значению. Это всем известная — по крайней мере, номинально — piazza della signoria, древний “forum” свободной Флоренции, центр ее политической жизни в средние века и в эпоху Возрождения и главная сцена сопровождавших ее общественных бурь. Она не производит сразу того цельного, гармонично-прекрасного впечатления, каким немедленно побеждает приезжего площадь св. Марка в Венеции; она не может выдержать сравнения с колоссально-величественной площадью св. Петра в Риме. Она нескладна по конфигурации, лишена симметрии в своем плане, в расположении и архитектуре окружающих ее зданий. Но кто знает немного прошлое Флоренции и сумеет быстро освоиться с топографией города, тот скоро проникнется ощущением, что тут действительно должен был биться пульс ее старой жизни... С piazza della signoria постоянно приходится иметь дело историку Флоренции. Она была местом избирательных кампаний и ареной революций. На ней происходили религиозные церемонии и обще-

ственные празднества — скачки, процессии; здесь же совершались публичные казни: костер Савонаролы воздвигнут был именно там, где теперь стоит фонтан Нептуна. Это настоящее “centro della città”. И теперь еще по утрам каждую пятницу вся площадь наводняется сельскими жителями окрестностей города, являющимися на своеобразный базар устраивать свои материальные дела. Нынешняя толпа гораздо менее живописна, чем старая, интересы ее более мелки. Но все же эти собрания полны оживления, и усилиями воображения можно представить себе по ним взволнованные картины драматической старины: как бы то ни было, но в жилах этих “contadini”, грязно и бедно одетых, торгующихся из-за вина и масла, течет итальянская кровь... Замок, который прежде всего поражает взгляд каждого, входящего на piazza della signoria, и к которому невольно тянет подойти, — это старая флорентийская городская ратуша, palazzo vecchio, служившая одновременно, как всегда в средневековой Италии, и думой, и тюрьмой, и кремлем (цитаделью)... История palazzo vecchio поучительна: на его назначениях отразилась вся изменчивость судеб Флоренции. Сперва он служил местопребыванием

приоров (signori) флорентийской коммунальной республики в средние века; с XVI века являлся официальной резиденцией герцогов Медичи, а потом государей из лотарингского дома; в 60-х годах XIX века там недолго заседал, в ожидании занятия Рима, парламент объединившегося итальянского королевства; наконец, теперь величественные своды седого почтенного старца дают приют различным канцеляриям нынешнего муниципального самоуправления. Какая смена ролей, и как должны были пестро чередоваться внутри palazzo vecchio сцены героического и бурного республиканского величия, монархической чопорности и повседневной деловитости местной жизни современного города!

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 30–31.





Б. ЗАЙЦЕВ

1907

556

По улице Calzaioni в плавном зное попадем на площадь Синьории; каждый раз, подходя, спрашиваешь себя: где ее очарование? В чем? И всегда сердце светлеет — что-то прекрасно-ясное есть в этой лоджии Орканья, колоссальном крытом балконе на уровне земли, с целым народом статуй; тут, на вольном воздухе, собрались детища великих скульпторов, отсюда приоры обращались к народу, это какая-то агора Флоренции, нечто глубоко художественное в единении с простонародным; будто семейный очаг города. И сейчас у подножия статуй мальчишки играют в палочку-постучалочку, сидят разные итальянцы, говорят вечные свои разговоры о чинкванта чинкве чентезими. Наискось дворец Синьории; и опять дух утренних холмов, прохлады, благородства в этом простом здании, дышащем средневековьем, сложенном из грубо-серых камней; в тонкой башенке наверху, в статуях у входа, геральдическом льве Магзоссо, мраморном детище Донателло: лапой он придерживает щит с лилиями Флоренции. И даже огромные фонтаны, дело позднейшего барокко, изливают себя с той же царственно-флорентийской простотой... А в двадцати шагах жгли Савонаролу. Не раз бывало во Флоренции: был

На предыдущем развороте:
Палаццо Веккьо. Зал Пятисот.

властелин, завтра растерзан. Но ныне огромная медаль выбита там, и в день годовщины, в середине мая, груды венков и цветов утишают боль этого сердца; дивные розы Флоренции и Фьезоле окаймляют его носатый профиль; профиль того, кто при жизни топтал их, но велико погиб и вызвал удивление и восторг веков.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Молодость* (1907) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург; Берлин, 1923, т. 7, с. 30-31.

М. ОСОРГИН

1923

558

Во Флоренции я был не менее двадцати раз. И всегда с вокзала, отправив вещи в отель, шел пешком на Piazza Signoria. За то ли, что и сейчас я верен себе, — но только случается чудо: Флоренция чарует прежним очарованием. Профиль башни Palazzo Vecchio четок и выразителен, как музыка. Арно унизан береговыми огнями. Лоджия — как опустевшая сцена мистерии. Нелепый Бьянконе, окруженный блестящей бронзой черных фигур, художественно-ужасный, зверски-добродушный Геркулес, колоссальная кисть правой руки Давида, и Персей, и статуэтка Донателло — все это слилось в изумительную гармонию, нарушить которой не в силах ни стойки кафе, ни проезжий извозчик, ни подъехавшая группа велосипедистов, явных агентов наружной охраны.

М. Осоргин. *Ave Maria* (1923) //

Там, где был счастлив. Париж, 1928, с. 106.

ГАЛЕРЕЯ У Ф Ф И Ц И

П. ТОЛСТОЙ

559

1698

Потом пришел в одно место, где сделана одна широкая улица, а по сторонам той улицы поделаны дома великие изрядною архитектурю. Тут построены предивные палаты: внизу юстици, то есть приказы; а на нижних палатах поделаны еще вверх два жилья, палаты ж изрядные, которые называются по-флоренску галлярия. В тех палатах лежат Флоренскаго княжества древние всякие вещи предивные. В конце тех палат чрез улицу сделаны из палат в палаты переходы широкие, изрядным мастерством построены и резбами алебастровыми изрядными убраны.

*Путешествие стольника П. А. Толстого
по Европе 1697—1699. М., 1992. С. 231.*

Н. ДЕМИДОВ

1773

560

Наслышавшись много хорошего о флорентийской галерее, начали с нее осматривать. Сия галерея принадлежала прежде дому де Медичис и есть наиславное, богатое и многочисленное собрание в свете древних статуй, бронзов, золотых и серебряных медалей, драгоценных картин, из серебра, золота и из слоновой кости сделанных вещей; не говоря о других натуральных редкостях. В ней все достойно примечания, ибо в два цветущие века дом Медичис старался наполнить ее всеми сокровищами. При самом входе в галерею находится великое собрание гробниц, барельефов и древних надписей, в стены вделанных. Против дверей гладиатор, держащий в одной руке меч, а в другой щит. Он представлен отбивающим удар соперника. Сей остаток древности, стоящий смотрения. В простенках флигелей и главного строения поставлены в симметрию 58 статуй, 3 группы и 8 древних бюстов; они все почти сделаны из мрамора. Потом вошли в осьмую залу, которая освещена осьмью окошками, сделанными под сводами, чтоб лучше видимы были поставленные здесь вещи. Плафон сделан куполом и убран перламуттером, стены обиты малиновым бархатом. При самом входе представились шесть греческих из белого

мрамора статуй, с которых у многих охотников имеются слепки... Позади сих преславных статуй находится несколько маленьких антиков из агатов, яшмы, карниолей, или сердоликов, и протчих крепких камней, весьма искусно сделанных... На балюстраде поставлены маленькие фигуры, сделанные из порфира, ясписа <яшмы>, восточного хрусталя, и довольно число медных, из которых лев, терзающий лошадь, сделан отменнее прочих. В сей же зале находится шкаф, составленный из разных камней, как-то: топазов, яхонтов, сапфиров и изумрудов. Наверху оного поставлена жемчужина чрезвычайной величины; сей шкаф убран четырнадцатью колоннами из дорогого ж камня ладзули <лазурита>, которых базы и капители сделаны из чистого золота; сверх того он украшен золотыми барельефами, тщательно и искусно сделанными. В нем сохраняется собрание древних вырезанных камней и других вещей, между ими есть бюрза величиною с яйцо, какой больше и лучше мы нигде не видали. Здесь находятся еще два шкафа, наполненные вазами, сделанными из кристалль дероша <горного хрусталя>. Здесь имеются также разные математические инструменты, тщательно сделанные, два глобуса редкой

величины и металлическое большое зеркало, посредством коего можно делать разные опыты. Кабинет художеств составляет четвертую горницу, содержащую в себе многие шкафы, наполненные слоновой кости точеною и резною искусною работою... Также множество древностей римских, как-то: сосуды для жертвоприношения и домашнего употребления, найденные в Сиене. Сие любопытное собрание содержит отчасти такие же вещи, какие найдены в Геркуланум, только не столь много. Девятая зала вся наполнена древним и редким японским и китайским фарфором, между которым есть вазы зеленого фарфору, весьма здесь почтенные, и довольно количество этрусских, достойных примечания по их формам; также множество вазов египетских, нарочито хороших. А десятая горница перегороджена начетверо и вся наполнена шишаками и латами для людей и лошадей всех народов, с разными военными орудиями. Внизу под галерею имеется библиотека и Академия живописи, скульптуры и архитектуры.

*Журнал путешествия его высокородия
господина статского советника Никиты Акинфиевича
Демидова по иностранным государствам. Москва, 1786.*

Портики галереи Uffizi.

Вперед — Palazzo Vecchio (фото конца XIX в.).



Ф. БУСЛАЕВ

1864

564

Не без опасения шел я в галерею Уффици. В мое старое время галереи Питти, Уффици и Академии художеств были настоящие университеты для искусства: колоссальная мастерская, где десятки художников толпились около знаменитых оригиналов и списывали копии; сотни англичан и других северных варваров, с книжками в руках, прилежно учились у флорентийцев чувствовать изящное и понимать, что хорошо и что не хорошо. Что-то найду теперь? — с боязнью спрашивал я себя. Напитавшись всякою современностью с берегов Невы, я едва не начал убеждаться, что итальянская революция, Гарибальди и гарибальдийцы составят новую эпоху для всего умственного и художественного горизонта Италии и что здравый смысл и практический дух нашего времени избавят, наконец, человечество от заблуждений фантазии, называемых изящным искусством и столько веков лелеявших его разными фресками с барельефами в церквах и религиозными восторгами Умбрийской, Ломбардской и Тосканской школы. Мои уши начинали было уже терпеливо выслушивать, когда мне говорили, что религиозная живопись оных отдаленных времен никуда уже для нас не годится; и теперь, нахо-

дьясь во Флоренции, где эти старые грехи у всех на виду, воочию, по галереям и церквам, я, естественно, стремился дознаться, точно ли наконец и здесь, перед судом лучших современных живописцев, знатоков и любителей, какой-нибудь Джотто или Беато Анджелико решительно преданы забвению, когда давным-давно даже на берегах Невы они уже по достоинству осмеяны и освистаны, а любитель религиозной живописи и отсталый пошляк — стало одно и то же; а вы хорошо знаете, мы, русские, отсталости больше всего боимся. Вхожу. Та же толпа и та же давка. Опять около Мадонн Рафаэля и Корреджио не пройдешь от толпы копирующих живописцев. В длинном коридоре будто тот же самый старичок, что был тогда, в истертой шинели, сидит и пишет миниатюры на слоновой кости, а у него на столе для продажи маленькие копии и с Рафаэля, и с Фра Бартоломея, и все Мадонны, Распятая, Благовещения и всякие другие святости. Глазам не верится! Двадцати лет будто не бывало!

Ф. И. БУСЛАЕВ. *Флоренция в 1864 году* // Мои досуги. М., 1886, ч. 1, с. 195–199.

И. ГРЕВС

1902

566

На самой piazza della signoria начинается знаменитое palazzo degli Uffizi. Это обширное сооружение в три этажа, которые поднимаются над высоким rez-de-chaussée (первым этажом) с крытым портиком, поддерживаемым попеременно дорическими колоннами и пилястрами. Оно тянется перед нами длинным коридором-улицей; с двух сторон солидно и спокойно поднимаются его простые, гладкие стены, заканчивающиеся в верхнем ярусе эффектной, сплошной, теперь застекленной лоджией, залитой светом. Впереди, в глубине перспективы, оба крыла соединяются смелой аркой-галереей, перекинутой, как висящий высоко в воздухе мост, с одной стороны улицы на другую. По бокам в нишах у пилястров двумя рядами выстроились мраморные статуи знаменитых тосканцев — ученых, писателей, поэтов, художников, политиков разных времен. Тут можно видеть Никколо Пизано и Донателло, Джотто, Леонардо да Винчи и Микельанджело, Данте, Петрарку и Боккаччо, Акурсио и Макиавелли, Америго Веспуччи и Галилея; рядом с ними Козимо и Лоренцо Медичи и др. Немногие даже великие державы в состоянии развернуть перед зрителем длинную и блестящую галерею предков такого полета. Описываемое

здание выстроено в конце XVI в. Вазари, который очень почитался в свое время как живописец и архитектор, но нам более ценен своими биографиями флорентийских художников времен Возрождения, чрезвычайно важными для истории искусства. Он выполнил свою задачу без вдохновения, но со знанием дела и большой практичностью: здание нравится именно своей целесообразностью. Козимо I Медичи, герцог флорентийский, пожелал, чтобы здесь под одной крышей были помещены все главные правительственные учреждения, и произведение Вазари образует действительно нечто вроде гигантского делового улья, в многочисленных ячейках которого кипела административная работа, поддерживавшая сложную политическую жизнь государства, небольшого, но запутанного в целую сеть отношений. Хотя и нет в описываемом строении истинной красоты, но, в конце концов, к нему нельзя не привыкнуть и не привязаться: слишком много важного связано с palazzo degli Uffizi для изучающего Флоренцию. Здесь помещается национальная библиотека и, что особенно существенно, самый богатый музей, где хранятся коллекции древностей и художественных предметов всевозможных видов.

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 34–35.

П. МУРАТОВ

1911-1912

568

Когда, вдали от Флоренции, вспоминаешь ее, то не всегда перед душевным взором возникают чистые дали Фьезоле, или светлые фрески Марии Новеллы, или созерцательные монастырские дворы Сан-Марко и Санта-Кроче. Иногда также воображение охотно останавливается на несколько холодной, мутно-желтой или даже зеленоватой перспективе Уффици. Ведь это тоже Флоренция, один из важнейших ее образов. Но это не век Данте и не кватроченто, это — XVI век, время, когда умирала Флоренция. Не только свобода ее умирала тогда, но угасала ее великая, щедрая творчеством душа. В этом здании, построенном герцогом Козимо для размещения государственных канцелярий, архивов и присутственных мест, собрано теперь духовное наследство Флоренции — ее книги, ее картины. В силу странной случайности оно было основано как раз тогда, когда настала эпоха собирания и изучения. По плану Вазари Уффици сообщались коридорами с обоими дворцами, с Палаццо Веккио и Палаццо Питти. Эти коридоры были необходимы герцогу Козимо, доверявшему во всех делах только собственному глазу. Они существуют и теперь. В воскресенье мирная толпа переливается по узким ко-

ридoram и лесенкам из галереи Уффици в галерею Питти, заглядывая в маленькие оконца, чтобы посмотреть сверху вниз на Понте Веккио, равнодушно удивляясь бесчисленным потемневшим портретам фамилии Медичи. Этот переход придает галерее Уффици какую-то особенную прелесть. В других галереях можно ценить стройность научно-исторического расположения. Здесь об этом не хочется думать. У этого места есть свой дух, свое особенное значение. Длиннейшие светлые галереи, такие бесстрастные и строгие, настраивают серьезно. Из одних окон видно превосходно рассчитанную перспективу карнизов с башней Палаццо Веккио в конце, из других — течение Арно. В этом есть своя красота, не совсем чужая к тому же красоте старых флорентийских церквей и лоджий Брунеллески.

П. П. Муратов. *Флоренция. Бронзино и его время*
(1911-1912) // *Образы Италии*. М., 1994, с. 137.

ЦЕРКОВЬ САНТА-КРОЧЕ

570

В. ЯКОВЛЕВ

1847

Незадолго до сумерек я пришел на обширную площадь, где шумела разноцветная воскресная толпа. Передо мной — мрачный, недовершенный фасад собора Св. Креста, Santa Croce: громадная стена из почерневшего кирпича, лишенная всяких орнаментов; только на часть основания накинута край одежды из черного и белого мрамора. Это общая участь церквей в Италии, достигнутых, во время построения, реформацией. Храм Santa Croce — пантеон великих людей Тосканы. Не без глубокого волнения в душе шагал я по каменному помосту, под которым почил столько гениев. Последний отблеск солнца золотил яркие краски готических окон; библейские сцены, написанные на стеклах, на миг становились действительностью. Но высокие стрелки аркад и стропила уже терялись в сумраке. Редкий храм

так располагал меня к благоговейной думе. Здесь Божество — посреди избранных своих созданий... Какие имена! Не одни тосканцы, но каждый поклонник науки и искусства имеет право гордиться этими достойнейшими представителями человечества. Здесь, посреди этих гробниц, в уме вашем восстанавливается доброе мнение о человечестве, так часто помрачаемое жалкими явлениями современности... Боже мой, каких могучих и светлых людей производила Флоренция! И здесь, в соборе Santa Croce, далеко не все ее граждане: они рассеяны по другим церквам. Всем вместе им было бы тесно в тосканском пантеоне... Я был один в этом огромном, потемневшем храме. Нога моя попирала могильную плиту с рельефным изображением какого-то усопшего; тяжелые мысли стесняли мое сердце, и вдруг, посреди этой глубокой тишины, раздался звук как будто цепей... Я вздрогнул, оглянулся. Старый ключарь, улыбаясь, бряцал связкою ключей... Время было записать собор...





ЦЕРКОВЬ
САН-ЛОРЕНЦО,
КАПЕЛЛА
МЕДИЧИ

П. ТОЛСТОЙ

1698

Потом пришел к церкви святого архидиакона Лаврентия, которая зачата делать тому 94 года; и непрестанно от того времени, как начата, и по се время делают, а еще не докончена. Та церковь немалая, осмероугольная, во все стены ровная, с лица сделана из серого камня предивным мастерством; по многим местам кругом окон вставлен алебастр изрядною глаткою работою. А изнутри та церковь вся сделана из розных мраморов такую преславную работою, какой работы на всем свете нигде лутче не обретається. И в те мраморы врезываны каменья цветные,

На предыдущем развороте: Площадь Санта-Кроче.

индейские и персицкие, и раковины, и янтари, и хрустали такую преудивительною работою, которого мастерства подлинно описать невозможно. Около тех розных мраморов кладены дарожники медные, литые, золоченые запарным золотом. Те цветные мраморы так в лице поставлены, власно как изрядные зеркала; и в тех камнях та церковь и бывающие в ней люди видимы, власно как в зеркалах. В тое церковь изготовлен алтарь римской, сделан весь из чистого золота преудивительным мастерством, которому цена один миллион червонных золотых. В той же церкви у стен поделаны из розных же мраморов гробы, в которых лежать будут тела древних Флоренских великих князей. Между теми сделан гроб, где лежать по смерти телу нынешнего грандуки, то есть великаго князя флоренскаго. Те гробы поделаны такою преузорочною работою, что уму человеческому непостижно. И над теми гробами поставлены персоны вышеименованных древних Флоренских великих князей, также и нынешнего великаго князя флоренскаго персону над его гробом стоит. А высечены те их все персоны из алебаstra изрядным мастерством и с такими фигурами, которых подобну описать невозможно.

*Путешествие стольника П.А. Толстого
по Европе 1697-1699. М., 1992. С. 228.*

Н. ДЕМИДОВ

1773

576

Потом ездили смотреть церковь святого Лаврентия. Главной ее придел убран сколько можно вообразить себе богаче и драгоценнее, причем и весьма хорошей архитектуры в осьмиугольную форму, и украшен шестью гробницами, из коих четыре из египетского граниту, а две, из восточного граниту же, сделаны Мишель Анжелом, учителем славного Рафаела. Над ними поделаны ниши, в коих поставлены медные статуи, изображающие де Медицев.

*Журнал путешествия его высокородия
господина статского советника Никиты Акинфиевича
Демидова по иностранным государствам. Москва, 1786.*

Н. СТАНКЕВИЧ

1840

Во Флоренции много хороших церквей; в одной из них, Лоренцо, статуи Микель-Анджело на гробах Медичи-сов... Меня поражает всегда его мрачная грандиозность, соединенная с необыкновенною энергиею: фигуры его искривлены, им даны ужасно трудные для выполнения позы, — и, между тем, видно, что этим фигурам ловко...

577

Письмо Т.Н. Грановскому
1 февраля 1840 г. из Флоренции.





П. ЧАЙКОВСКИЙ

1878

580

Из всего, что я видел, едва ли не наибольшее впечатление произвела на меня капелла Медичисов в San Lorenzo. Это колоссально красиво и грандиозно. Только тут я впервые стал понимать всю колоссальность гения Микельанджело. Я стал находить в нем какое-то неопределенное родство с Бетховеном. Та же широта и сила, та же смелость, подчас граничащая с некрасивостью, та же мрачность настроения. Впрочем, может быть, это мысль вовсе не новая. У <Ипполита> Тэна я читал очень остроумное сравнение Рафаэля с Моцартом. Не знаю, сравнивали ли Микельанджело с Бетховеном?

Письмо Н. Ф. фон Мекк от 16 февраля 1878 г. из Флоренции.

На предыдущем развороте: Площадь
и церковь Сан-Лоренцо (фото конца XIX в.).

П. МУРАТОВ

1911-1912

В новой сакристии Сан-Лоренцо, перед гробницами Микельанджело, можно испытать самое чистое, самое огненное прикосновение к искусству, какое только дано испытать человеку. Все силы, которыми искусство воздействует на человеческую душу, соединились здесь: важность и глубина замысла, гениальность воображения, величие образов, совершенство исполнения. Перед этим творением Микельанджело невольно думаешь, что заключенный в нем смысл должен быть истинным смыслом всякого вообще искусства. Серьезность и тишина являются здесь первыми впечатлениями, и даже без известного четверостишия Микельанджело едва ли кто-нибудь решился бы говорить здесь громко. Есть что-то в этих гробницах, что твердо повелевает быть безмолвным, и так же погруженным в раздумье, и так же таящим волнение чувств, как сам “Pensieroso” (“Мыслитель”) на могиле Лоренцо. Чистое созерцание предписано здесь гениальным мастерством. Но в атмосфере, окружающей гробницы Микельанджело, нет полной прозрачности, она окрашена в темные цвета печали. Вместе с этим здесь не должно быть места для отвлеченного и бесстрастного созерцания. В сакристии Сан-Лоренцо нельзя провести

часа, не испытывая все возрастающей острой душевной тревоги. Печаль разлита здесь во всем и ходит волнами от стены к стене. Что может быть решительнее этого опыта о мире, совершённого величайшим из художников? Имея перед глазами это откровение искусства, можно ли сомневаться в том, что печаль лежит в основе всех вещей, в основе каждой судьбы, в самой основе жизни... Печаль Микельанджело — это печаль пробуждения. Каждая из его аллегорических фигур обращается к зрителю со вздохом: *non mi destar* <“не смей меня будить” — *ит.*>. Традиция окрестила одну из них “Утром”, другую — “Вечером”, третью и четвертую — “Днем” и “Ночью”. Но “Утро” осталось именем лучшей из них, лучше всего выражающей главную мысль Микельанджело. Ее следовало бы назвать “Рассветом”, вспоминая всегда, что на рассвете каждого дня есть минута, пронизывающая болью, тоской и рождающая тихий плач в сердце. Темнота ночи растворяется тогда в бледном свете зари, серые пелены становятся все тоньше и тоньше и сходят одна за другой с мучительной таинственностью, пока рассвет не станет наконец утром. Этими серыми пеленами еще окутано неясное в своих незаконченных формах “Утро” Мике-

льанджело. Пробуждение было для Микельанджело одним из явлений рождающейся жизни, а рождение жизни было содержанием всех его произведений. Художник никогда не уставал наблюдать это чудо в мире. Соприсутствие духа и материи стало вечной темой его искусства, и создание одухотворенной формы — его вечной художественной задачей... Освобождение духа, образующего форму из инертного и бесформенного вещества, всегда было главной задачей скульптуры. Преобладающим искусством античного мира скульптура сделалась потому, что античное мирозерцание держалось на признании одухотворенности всех вещей. Чувство это воскресло вместе с Возрождением — сперва в эпоху французской готики и проповеди Франциска Ассизского, только как ощущение слабого аромата, легкого дыхания, проходящего сквозь все, сотворенное в мире, и позднее это оно открыло художникам кватроченто неисчерпаемые богатства мира и всю глубину доставляемого им душевного опыта. Но родным домом духа, каким он был для греческих ваятелей, новой прекрасной страной его, какой он был для живописцев раннего Возрождения, мир перестал быть для Микельанджело. В своих сонетах он гово-

рит о бессмертных формах, обреченных на заключение в земной тюрьме. Его резец освобождает дух не для гармонического и по-античному примиренного существования вместе с материей, но для разлуки с ней... Веры в освобождение духа Микельанджело не нашел в течение всей своей долгой жизни. В сакристию Сан-Лоренцо мы возвращаемся снова, чтобы собрать последние плоды его мудрости и его опыта. Мы входим туда, повторяя слова его сонета, где произнесена хвала ночи и где прославлен сон, освобождающий душу для небесных странствий. “Сон и смерть — близнецы, ночь — это тень смерти” — такова “таинственная мифология” гробниц Сан-Лоренцо. Пронзительная и упорная мысль о смерти витает здесь над тяжелым пробуждением “Утра” и над глубоко склоненным челом *pensieroso*. Каждый, кто входит сюда, еще храня в памяти веселый шум и солнечный свет флорентийской народной улицы, испытывает острый укол этой мысли, ее горечь и сдавливающую сердце печаль. Сам Микельанджело не должен был знать печали, даже когда глядел прямо в лицо смерти. Ей одной вверено освобождение духа из плена жизни.

П. П. МУРАТОВ. *Флоренция. Пленный дух*
(1911–1912) // *Образы Италии*. М., 1994, с. 133–136.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

585

Мы спешим к Сан-Лоренцо, к огромному красночерепичному куполу, вздымающемуся в глубине улицы. Вход в церковь с небольшой площади, залитой зноем. Мы откидываем тяжелый занавес на необделанном фасаде, входим. Светло, прохладно, два ряда колонн, скамьи, орган играет и чуть голубеет ладан; стараясь не мешать молящимся, проходим мы направо, в закоулок, и каким-то проходом — сразу мы в капелле Медичи, знаменитом детище Микельанджело. Все здесь сурово, очень просто, почти бедно. Белое и коричневатое — два основных тона. Два героя в нишах, Созерцательный и Творящий, двое юношей, Лоренцо и Джулиано Медичи, а вернее — их Идеи; два Образа, возникших как видения перед Микельанджело. Всесветно знаменитые фигуры возлежат у ног их, на изогнутых волютах, украшая саркофаги: Ночь и День, Сумерки и Рассвет. В капелле очень тихо. Прохладно, беловатый свет. Беспредельно задумчив Лоренцо, под своим тяжким шлемом; молод, богоподобен Джулиано, легко несет он голову кудрявую, тонкая шея, длинная, как у Давида. Тепла, загадочна, всех обаятельней немая Ночь у его ног; самое туманное творение, самое колдовское и жуткое; недаром маленькая сова под

ногой ее... Но отчего все так бесконечно серьезно в холодноватой капелле? Кто-то безмерно меланхоличный и безмерно горестный заключил дух свой в мраморы и вокруг разлил вечное очарование и волнение. Прямо, все прямо к Вечности, скорбной стезей! Там тишина и музыка нездешняя... Здесь — восхождение от юдоли бедной. О чем задумался *Pensieroso*? Что видела во сне Ночь? Они, правда, думают и видят сны, это третья жизнь великого художества. И снова жуткое, благоговейное, холодком пробегает по спине. А из церкви слышен орган. Он покоен и равен себе, как эта Вечность, он переливает бесконечные свои мелодии, волны одной реки, без конца и начала. Как хорошо, что он играет! Церковь, музыка, тишина, Микельанджело... Теперь похолодели корешки волос на голове... Но когда мы выходим, через ту же тяжелую, кожаную портьеру у паперти, слегка замусоленную, и старушка руку протягивает за даянием — снова перед нами простая Флоренция, опять на малой площади торгуют бусами и гребешками, в отдалении висят шубы с собачьими воротниками, за тринадцать лир — зимне-осеннее одеяние флорентийских извозчиков; да над ларями с книгами букинистов восседает

мраморный Джиованни делле Банде Нере... Как проста, камениста, почти бедна и ободрана эта маленькая площадь, как суров необделанный фасад Сан-Лоренцо, в горизонтальных ложбинах; и сколь много в сухости этой, в отсутствии пышного и ложного — сколько в этом Флоренции, легкой, сухой и ритмической. Микельанджело, и грубо-шероховатая стена Сан-Лоренцо, и каменистая пыль на площади, свившаяся легким вихрем, и Джиованни делле Банде Нере, и гомон торговцев, и аристократически-простонародная Флоренция — все это едино. Здесь нет плебса. Есть народ.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Видения* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург; Берлин, 1923, т. 7, с. 38–39.

ФЛОРЕНТИЙСКОЕ КВАТРОЧЕНТО

588

П. МУРАТОВ

1911-1912

Именем кватроченто называют ту эпоху итальянского Возрождения, которая заключена в пределы XV столетия. На необъятном кладбище истории, бесследно поглотившем целые народы, среди запутанного лабиринта могил, приютивших не вечные страсти, недоволенные порывы, не сделанные дела, памятник кватроченто возвышается одиноко и отдельно, прекрасный и законченный, как создание художника. У этой эпохи было изумляющее полнотой жизни существование. Другие эпохи проходят перед нашим умственным взором как идейные волны нескончаемого исторического прилива. Кватроченто обращается к нашим чувствам. Мы постигаем его так же, как постигаем состояние окружающего нас мира, — взглядом, дыханием, прикосновением. Для познания этого прошлого мало одного умозрения, подобно тому как мало его одного для близкого общения с человеком. И в том и в другом случае не столько

важно суждение разума, сколько мгновенное впечатление глаза или бессознательное ощущение тела. При каждом приближении к кватроченто до сих пор бывает слышно биение великого сердца, переполненного благороднейшей и чистейшей кровью. Иногда кажется, что история напрасно заключила эту эпоху в свои владения. Ее смерть больше похожа на сонный плен — тот плен, который держит в своих легких оковах людей Флоренции, изваянных флорентийскими скульпторами на флорентийских гробницах. Чуть заметная гордая улыбка на их тонких губах знаменует счастливейшую победу человечества, победу над смертью. Флоренция была колыбелью кватроченто и его саркофагом. В других итальянских городах путешественник встречается с накоплениями различных исторических эпох, то резко отрицающих друг друга, как в Риме, то странно примиренных, как в Венеции. На улицах Флоренции призрачно все, что было до начала XV столетия; ее “исход” лишь грезится нам над страницами священной книги Данте... Еще столетие самоуничтожающей борьбы, еще несколько ярких событий, трагических бедствий, монументальных фигур, едва успевающих прикрыть не-

отвратимое угасание, — и Флоренция перестала существовать. Три века новой европейской истории растаяли в лучах единственного века, который поглотил всю ее энергию. Они едва коснулись ее старых камней, покрывая их золотом и чернью, драгоценным убором времени. Кватроченто до сих пор остается настоящей жизненной стихией Флоренции. Познание этого прошлого мало нуждается в архивных розысках, в отвлеченной работе восстановления по законам исторической логики. Для того чтобы проникнуть в дух кватроченто, достаточно жить во Флоренции, бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами, заходить в ее церкви, которые хранят на стенах фрески, напоминающие цветом вино и мед, следить взорами за убегающими аркадами ее монастырских дворов. Историю ее гения можно прочесть в изгибе нарисованной линии, в тонкости барельефа, в начертании колонны. Предмет наших розысков здесь — всегда дело рук человеческих, и мы, как некогда Фома, прикосновением руки можем увериться в этом посмертном бытии, в этом торжестве над смертью. Как в евангельском событии, здесь является бессмертным не только бесплотный дух, но и телесное его воплощение,

сохранившее голос, улыбку на устах, теплоту тела и свежесть незакрывшихся ран... Только при этих условиях, только в этом спокойном, чистом и немного холодном воздухе могло высоко подняться вверх голубое пламя флорентийского интеллектуализма. Вера в безграничные владения человеческой мысли и в ее верховные права составляет существеннейшую черту в духовном образе кватроченото. Проявляя ее, Возрождение провело тем самым резкую пограничную линию, отделяющую его от средневековья. Оно так дорожило ею, что охотно пожертвовало ради нее глубиной былого мистического опыта, красотой прежних чувств, не знавших над собой воли разума. Тем не менее слишком явной ошибкой кажется обычное теперь сопоставление интеллектуализма кватроченото с рационализмом XVIII века или с современным позитивизмом. При этом теряется из виду самое ценное, что было во флорентийском интеллектуализме, — его высокая напряженность, которая уже никогда больше не повторялась. Кватроченото успело создать мало идей, оно было временем, когда пробудилась лишь самая способность идейного творчества, интересная, как новая ставка в игре человеческих сил и характеров.

Кватроченто не оставило после себя такого наследства “истин”, какое оставил XVIII век и какое во что бы то ни стало желаем оставить мы, но оно оставило зато богатое наследство индивидуальностей. Мысль была для того времени поистине крепким напитком, кружившим голову и умножавшим жизненные силы вооруженной ею бесстрашной личности. Все живое и человеческое, что было в последующих эпохах, исчезло, оставив за собой только ряд выводов, только отвлеченные формулы своего существования. Выводы флорентийского кватроченто живут неумирающе в сохранивших власть над всеми нашими чувствами образах и делах его людей. Особенность флорентийского интеллектуализма становится ясной, если мы взглянем на его носителей. Чтобы видеть его арену, не в гостиную мы должны идти, как в XVIII столетии, и не в кабинет ученого, как теперь, но в одну из тех пыльных мастерских, наполненных шумом работы и шутками многочисленных учеников... В одной из них вырос человек, который явился высшим и полным воплощением этой душевной способности кватроченто, — художник Леонардо да Винчи. Художник достиг вершин тогдашней мысли, конечно, не случайно, его судьба была

уже предсказана другими художниками. Флорентийская мысль рождалась в художественной оболочке, и к познанию мира она знала только один путь — через искусство. Для тех людей, проводивших свои дни за изучением форм человеческого тела, за отыскиванием нового способа живописи, за открытием новых тонкостей в обработке мрамора или бронзы, желание познавать было такой же необходимостью, как желание утолить голод и жажду. Оно являлось к ним вместе с первым дыханием жизни, и отнять его не могли ни бедная юность, ни скудость образования, ни суровая простота трудовых дней.

П. П. Мура тов. *Флоренция. Кватроченто*
(1911–1912) // *Образы Италии*. М., 1994, с. 107–108, 116–117.

Ф Л О Р Е Н Т И Й Ц Ы И Ф Л О Р Е Н Т И Н К И

594

В. Я К О В Л Е В

1911-1912

Соломенные шляпы, au naturel, громадными полями — или бьют по носу, или рвут долой голову. Но, увы! Женщины здесь составляют сплошной контраст со всеми красавицами, которых встречаешь на полотне и в мраморе. По всей вероятности, однако ж, флорентинки умеют любить или, по крайности, привлекают к себе кокетством, потому что они окружены поклонниками и в экипаже, и в ложе, и даже в церкви. Густая толпа чичисбеев окружает преимущественно женщин замужних — и все они нимало не мешают друг другу. Обитательницам этих благословенных холмов не затруднительно найти свой идеал в действительности. Красивых мужчин здесь

несравненно более, чем образованных. Почти все они носят черную шелковистую бороду и усы и обладают приветливостью и учтивостью испанского гранда. Один ромanyol [житель Романьи], из моих знакомых, склонный, впрочем, к сарказму, утверждает, что флорентинцы очаровывают вас своим наружным лоском и общительностью, но набиты несноснейшими предрассудками; услужливы, уступчивы в мелочах, но в делах важных ненадежны и кривят душою, что вообще они лишены всякой энергии и чужды высоких стремлений века, что поскоблите этого католика, вы найдете — язычника, и так далее. В заключение, мой ромanyol прибавлял, что если от кого ждать энергичного содействия возрождению Италии, так наверное не от тосканцев. — От кого же? — спросил я, — от ромanyolов? — Именно! — отвечал мой собеседник с самоуверенностью.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ФЛОРЕНЦИЮ

596

Ф. БУСЛАЕВ

1864

Много воды утекло из Арно в Средиземное море с тех пор, как лет двадцать тому назад был я во Флоренции; и если б я захватил с собою свой прежний план этого города, то мне пришлось бы много блуждать, отыскивая знакомые прежде места между новыми улицами, новыми урочищами и под новыми названиями. Бесподобная площадь с так называемым Старым Дворцом и с ложею Ланци, в которой Персей Бенвенуто Челлини целые триста лет показывает проходящим отрубленную голову Медузы, та самая, где когда-то благочестивые последователи монаха Савонаролы, новое поколение юношей XV века, на великолепно, артистически убранном костре, для спасения души, жгли картины и книги мифологического и соблазнительного содержания и другие подоб-

ные предметы и где, для пробы его святости, сожгли и самого Савонаролу, — эта площадь в мое старое время называлась Площадью Великого Герцога, а теперь она стала Площадь Господ (Piazza della Signoria), площадь правителей республики; название старинных времен, к которому Флоренция воротилась под скипетром своего “вежливого короля”, вероятно, согласуясь с заголовками его манифестов, где значится, что он королевствует не только по Божией милости, но и по воле народа. Площадь Марии Новеллы, той самой церкви, где веселые собеседники Боккаччиева Декамерона собрались однажды, во время чумы, помолиться и поболтать и где порешили забавлять себя шутливыми рассказами, эта площадь в мое старое время была еще покрыта зеленой травой и цветами, как в XIV веке, во времена самого Боккаччио. Теперь она покрылась мостовой, на ней стоят извозчики в каретах и колясках, а кругом — модные магазины и самые роскошные, то есть английские, гостиницы и меблированные квартиры: никому и в ум не придет, что эта церковь еще недавно стояла на конце города и что около нее привольно росли трава и цветы... В мое время на тенистых лужайках Кашин, между темных лавров

и развесистых лип, сплетенных гирляндами плюща, преспокойно себе разгуливали, по милости герцога, и клевали корм необозримые стаи фазанов, не обращая внимания ни на стук экипажей, ни на толкотню гуляющих. Увы! Мало того, что я не застал в живых ни одного из этих своих старых знакомцев, но даже и все их многочисленное поколение пропало без вести. Долго я допрашивался, куда оно делось, и только случайно объяснил мне это один из моих уличных приятелей, в порыве своей патетической филиппики против Тедесков, так итальянцы зовут немцев. “Когда кругом Флоренции стояли лагерем тедески, — говорил он, — то жгли и топтали что ни попало; они-то и передушили всех фазанов”... Опустел и дворец Питти; как-то монументальнее, будто надгробные плиты, торчат громадные камни, из которых он построен, и печально смотрят его опустелые окна в лавровые и кипарисовые аллеи Боболи. Только престарелый лебедь пережил своих хозяев; плавает он по пруду в мраморном водоеме, между Нереидами, и ревниво оберегает свое гнездо с самкою и детенышами, воинственно подплывает ко всякому, кто приблизится к его водяному владению, и немилосердно щиплется, буд-

то напуганный недавними событиями, пронесшимися над дворцом Питти, как бы страшась, чтоб и его с его теплым гнездом не спровадили куда-нибудь в Австрию, куда скрылись его старые патроны... Так несколько дней, пока я блуждал по площадям и улицам Флоренции, старые воспоминания спутывались в голове моей с новизною и выглядывали из-под новых впечатлений, будто обломки античных колонн и пьедесталов, вставленные в недавнюю постройку...

Ф. И. Буслаев. *Флоренция в 1864 году* //
Мои досуги. М., 1886, ч. 1, с. 191-195.

М. ДОБУЖИНСКИЙ

1911

600

Мы во Флоренции. Ранний час, на улицах еще пусто, но солнце уже теплое. Здравуюсь с знакомыми любимыми местами. Вот мраморы Баптистерия, черные полосы собора, площадь, Лоджия, наконец, узенькая улица, аркады маленького театра с фонтаном, и мы “дома”. Останавливаемся в этой самой комнате, где жили когда-то, и седая старушка встречает нас как старых друзей. Ничто не изменилось: те же старинные портреты, та же прохлада и полутьма от жалюзи. Из окна доносится уютный утренний шум улицы, кричит ослик, выкликают продавцы, насвистывают мальчишки, и слава богу, ни одного звука современного города. Только немного отдохнуть — и скорей окунуться в улицы, наглядеться, находиться до изнеможения!

М. Добужинский. *Воспоминания
об Италии*. Пг., 1923, с. 20–21.

ТЕАТР ВО ФЛОРЕНЦИИ

601

В. ЛИХАЧЕВ

1659

А комедий было при нас во Флоренске три игры разных... Князь приказал играть; объявились палаты, и быв палата, и вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же палатах объявилось море колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а в верху палаты небо, а на облаках сидят люди: и почали облака и с людьми на низ опускаться, подхватя с земли человека под руки, опять в верх же пошли, а те люди, которые сидели на рыбах, туда же поднялись в верх, за теми на небо. Да спускался с неба же на облаке сед человек в корете, да против его в другой корете прекрасная девица, а аргамачки под коретами как быть живы, ногами подрягивают: а князь сказал, что одно солнце, а другое месяц... А в иной перемене, в палате объявилось поле, полно костей человеческих, и враны

прилетели и почали клевать кости; да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие и люди в них плавают... А в иной перемене, объявилось человек с 50 в латах, и почали саблями и шпагами рубиться, и из пищалей стреляти, и человека с три как будто и убили: и многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют; и многие диковинки делали: да вышед малый и почал прошать есть, и много ему хлебов пшеничных опресночных давали, а накормить его не могли... Такова комедия послана в дар к Испанскому королю, как сын у него родился.

Описание Посольства, отправленного в 1659 г., от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II, Великому герцогу Тосканскому. М., 1840. С. 11-12.

Д. ФОНВИЗИН

1784

Театры во Флоренции великолепны как для серьезной, так и для комической оперы. Жаль только того, что не освещены. Ни в одной ложе нет ни свечки. Дамы не любят, чтоб их проказы видны были. Всякая сидит с своим чичисбеем [любовником] и не хочет, чтоб свет мешал их амур...

603

Письмо сестре 9 октября 1784 г. из Флоренции.

В. ЯКОВЛЕВ

1847

604

Переход от церквей к театрам вам покажется контрастом. В Италии это не так. Итальянская натура жадно ищет впечатлений; у нее есть потребность в перемежающемся исступлении; она увлекается всем: и мистицизмом, и музыкой, и мелодрамой, и поэзией, и даже политикой, если обстоятельства позволяют. Итальянец любит все, что дает душевные потрясения. Из хроник видно, что театры в Италии посещались даже монахами и вообще духовными. Это продолжалось с эпохи Возрождения до половины восемнадцатого столетия. Во Флоренции пять театров; четыре из них принадлежат академиям, как называют в Тоскане общества акционеров, составляющихся для лирических и драматических предприятий. Все эти театры снаружи ничем не отличаются от обыкновенных домов и даже вовсе от них не отделены; да и напрасно была бы забота об украшении фасадов в переулках, похожих на ущелья... Во Флоренции до сих пор не могла organizоваться корпорация хлопальщиков, которая так процветает в Париже, под покровительством всех драматических и лирических талантов, жадных до рукоплесканий... Театральный разъезд здесь не шумен. Экипажей весьма мало. Ваше ухо, разнеженное сладост-

ными кантиленами, не оскорбляется криками кучеров и жандармов. Напротив, вы слышите отголоски оперы: все, даже простолюдины, напевают любимые мотивы, и в этом уличном концерте вы не уловите ни нотки фальшивой. Луна светит, даже, кажется, немножко греет. Кто не рад ночной прогулке, вырвавшись из душной залы? Слегка увлажненный воздух сильно пахнет лавром и кипарисом, как у нас на севере, после дождя, воздух пропитывается запахом сосны и березы. Эта тихая тосканская ночь нашептывает вам не столько канцоны Петрарки, сколько новеллы Декамерона. Суровые палаццы выдают вам свои соблазнительные тайны. Из мрачных готических окон несутся любовные ноктурны; за железной решеткой раздается женский смех; огни везде погашены, но жизнь не отказывается от своих прав и при лунном свете... Воображение ваше дорисовывает недоступное глазам...

П. ЧАЙКОВСКИЙ

1878

606

После обеда я отправился в один из многочисленных здешних театров, где должна была даваться новая опера какого-то неизвестного маэстро: “*I falsi monetari*”. Театр этот называется “*Arena Nazionale*”. Он переделан, по-видимому, из громадного цирка. Дешевизна мест необычайная. Я заплатил семьдесят сантимов за вход и пятьдесят за одно из лучших мест. Помещение громадное, народу видимо-невидимо, мужчины курят, певцов едва слышно, музыка пошлая и бездарная до поразительной степени, жарко, душно. Я едва высидел акт и нашел, что гулять на чистом воздухе гораздо приятнее. Хороша Италия!

Письмо Н. Ф. фон Мекк 4 марта 1878 г.

Вечер в театре Pergola произвел на меня грустное впечатление. В каком глубоком упадке музыка в Италии! Какая банально пошлая и вместе полная претензий музыка! Какое непозволительно дурное исполнение со стороны оркестра и хоров. Последние по составу, как всегда в Италии, отличны, голоса сильные и свежие, но поют так же, как и играет оркестр, — без оттенков, площадно, глупо... Наконец, и внешняя обстановка в высшей степени мизерная. Такие декорации в городе, где жили Рафаэль и Микельанджело, — это даже непонятно. Поведение публики возмутительно. Как ни плоха опера, но говорить во время музыки — на это только итальянцы способны.

Письмо Н. Ф. фон Мекк 28 ноября 1878 г.

А. ГРИГОРЬЕВ

1858

608

Огромный *хвост* был уже у театра Кокомеро, когда мы подошли к нему... Пришлось брать *posto distinto*. Надобно вам сказать — если вы этого не знаете, а впрочем, если и знаете, то не беда, — что во Флоренции платится в театры за вход, платится интрата. Если вы хотите иметь нумерованное место в первых рядах, так называемое *posto distinto*, — вы платите за него особенно. Никто почти, кроме особенных высокаторжественных случаев, не берет этих отдельных мест. Берут, разумеется, англичане да некоторые из наших соотечественников — да и то из последних немногие, ибо наш уж ежели раскутится, то берет ложу, “один в четырех каретах поедет”. На этот раз мы едва, однако, нашли и *posti distinti*. По всему видно было, что представление высокаторжественное. Когда я с трудом достал афишу — афиш там, собственно, и нет в смысле наших и немецких, а есть огромными буквами напечатанные театральные объявления, у меня невольный зноб пробежал по составу. На афише стояло: “*Otello, il moro di Venezia, tragedia di Guglielmo SK (sic!) akspearo — tradotta e ridotta per la scena da Carcano...*” <Отелло, венецианский мавр, трагедия Вильяма Шекспира, переведенная и

переделанная для сцены Каркано — *ит.* > Отелло! Шекспировский Отелло! Театр был битком набит, и притом набит не той массой, которая обыкновенно наполняет Перголу или другие оперные театры, которой совершенно все равно, что бы ни представляли, — ибо в то время, как примадонна поет свою лучшую арию, большая часть публики делает по ложам визиты своим знакомым. В театре Кокомеро — чисто драматическом — пьесы не даются по несколько недель сряду и на него не смотрят как на залу какого-нибудь казино — притом же в нем и меньше откупных лож, стало быть, и меньше обычных посетителей. Публика, наполнявшая его в этот вечер, представляла смесь публики перголовской с тою живою, подвижною, волнующеюся массою, которую найдете вы во время карнавального сезона во всех маленьких театрах, которая жарко и не чинясь сочувствует успехам или плутням своего Стентерелло, негодует на артистов, представляющих его врагов, и преследует их часто криками “o, scelerato” <о, злодей — *ит.* >. Я обрадовался этой публике, волновавшейся и жужжавшей, как рой пчел... Об этом жужжании не можно составить себе и понятия, не бывши в Италии. В выраже-

нии чувствований, даже самых домашних, никто тут не церемонится. Говор в театрах, особенно до начала представления, гораздо живее, чем в кофейнях. Оно и понятно почему. Публика, платящая только интрату, собирается пораньше, большею частью целыми компаниями, запасаящимися возами апельсинов, сушеных фиг, миндаля и грецких орехов. О милая простодушная и энергическая масса! Мы полюбили ее в карнавальный сезон, полюбили все в ней — от резких, несколько декорационных очертаний ее физиономий и картинной закидки итальянского плащика до ее простодушной грубости в отношениях, грубости, в которой, право, затаено больше взаимного уважения людей друг к другу, чем в гладкости французов и чинной приторности немцев: я говорю это насчет театральной массы, и притом партерной. Она нам своим простодушием напоминала нам нашу массу райка — как и вообще многие черты типического, не стертого итальянского характера напоминали нам иногда черты славянские... Мы только выдержаннее или задержаннее, потому на вид суровее, но внутренне мы страстны, как южное племя: страстность наша не выделалась в типы, в картинность движений и

определенность порывов — и нам же, конечно, от этого лучше: перед нами много впереди!.. Занавес поднимался, и, к сожалению, с препятствиями: вверху зацепился за что-то, и партерная толпа дружно и наивно хохотала над его бесплодными усилиями... Декорации были просты, но делал их художник, а не мастеровой, ибо они дышали Венецией и ни одна черта не нарушала венецианского впечатления... Актер, игравший Яго, был далеко не трагик, но с первого раза видно было, что он человек умный. Ни злодейской выступки, ни насупленных бровей... ничего подобного. Это был просто человек лет тридцати, продувная итальянская бестия, с постоянно юмористическим оттенком в обращении с Родриго — этим загулявшим совсем синьором, — готовый сам загуливать с ним, только, конечно, не на собственный счет, шатавшийся с ним по всем возможным albergo, тратториям и темным кьяссо... Но вот перемена декорации — и показался сам Отелло (Сальвини). Гром рукоплесканий приветствовал трагика... Флоренция уже знала его — но если б и не знала, то есть такие наружности и такие входы, при которых рукоплескания совершенно понятны... Так уже надоели мне разные От-

елло, появляющиеся с громом и треском, что на меня довольно сильно подействовала простота Сальвини... В разговоре его с Яго, с Кассио — было такое отсутствие желания напрашиваться на рукоплескания, а в разговоре с Бранцио такая почтительная и достойная зрелого человека вежливость к оскорбленному им старику, — что цивилизованный уже Мавр и много испытавший вождь являлся в нем очевидно и ярко... Одного только не мог я никак понять: какой добрый дух внушил итальянцам играть Шекспира так просто, им, ломающим трагедии в пьесах Альфьери, не могущим напечатать афишки без штуки вроде *tragedia del immortale Alfieri* <трагедия бессмертного Альфьери>, или *commedia del immortale Goldoni* <комедия бессмертного Гольдони>, не могущим продать зубного эликсира без пластических размахиваний руками и необузданного потока напыщенных речей?.. Да — какой-то добрый дух вмешивался, видимо, в представление “Отелло”... Акт кончился. Мы молча вышли из *posti distinti* и молча же пошли в театральную кофейню, сальнее и грязнее которой едва ли найдется где-либо другая в целом мире, включая опять-таки Флоренцию, — ибо кофейня театра



Сальвини в роли Отелло (рисунок современника).

Боргоньиссанти еще краше этой... Пятый акт был начат сценою песни об иве... Дездемона отпустила Эмилию и легла. Сказать, что мы ждали появления Отелло, было бы в высшей степени неверно. Шекспировская трагедия и Сальвини захватывали под свою власть душу, как настоящая правда жизни... Ждать того или другого лица можно только тогда, когда представлению не подчиняешься, а мы, да и вся масса, подчинились тут ходу драмы. Я и забыл сказать, что пестрая толпа, наполнявшая партер, преследовала уходящего в четвертом акте Яго энергическими, хотя шепотом произносимыми восклицаниями: *Scelerato!! Bestia!!* <Злодей!! Животное!! — *ит.*> Теперь только, когда я описываю впечатления, приходит мне в голову вопрос: прерывалось ли у трагика во время антракта его нервное настроение, и, припоминая покойного Мочалова, который во время антрактов мрачно и молча сидел или ходил один, вдали от всех, с судорожными движениями, — думаю, что нет... Перервавши, хотя и на минуту, душевный процесс — пусть это процесс и воображаемый и представляемый, — нельзя было войти таким, каким вошел Сальвини. В театре опять настала мертвая тишина... Видно



Сальвини в роли Отелло (рисунок современника).

было ясно, что яд уже окончательно совершил свою работу над душою Отелло... Искраженный, измученный, разбитый и вместе неумолимый, подошел он к постели тихой походкою тигра и остановился. Опять страсть обманутая, но безумная страсть прорвалась какими-то жалобными, дребезжащими тонами. Все тут было — и язвительные воспоминания многих блаженных ночей, и сладострастие африканца, и жажда мщения, жажда крови... Странная, непостижимая вещь природа гениального артиста — странное, непостижимое слияние постоянного огненного вдохновения с расчетливым умением не пропустить ни одного полутона, полуштриха... Как это дается и давалось натурам, подобным Сальвини и Мочалову, — проникнуть мудро. Думаю только, что это дается только постоянством вдохновения, целостным, полным душевным слиянием с жизнью представляемого лица, — вырабатывается долгою думою, но не придумывается, ибо дума поэта или артиста есть нечто вроде физиологического процесса, — и наконец захватывает всего человека!.. И потому ничего не анализировали мы в эту ночь, сидя в кафе “Piccolo Helvetico” на площади собора... Я смотрел в окно кофейной

на чудную весеннюю, свежо дышавшую ночь да на мою любимицу, колокольню Дуото — эту разубранную инкрустациями, но не отягощенную ими, стройную, легкую и высокую ростом красавицу! И одно только я знал и чувствовал, что хорошо, по словам нашего божественного поэта, “упиться гармонией и облиться слезами над вымыслом”.

А.А. ГРИГОРЬЕВ. *Великий трагик* (1858) //
Воспоминания. Л., 1980, с. 280–294.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

618

На другой стороне улицы... бледно-матовый шар сияет — вход в театр, Агера Nazionale. Здесь идет оперетка, здесь играет знаменитый Бенини... Как прост, бесхитростен театр в Италии, и какую прелесть он имеет! Сколько веселья, таланта, солнца, простодушия в Гольдони, и в актере, в зрителе... То сложное, глубокое, чему столь много служит северный театр, здесь не у места. Здесь не к месту и искания театра. Италия страна латинская. Дух древности, традиции, любовь к основам так же здесь сильны, как, может быть, во Франции. Вряд ли французский или итальянский театр близки нам по духу; но мимо итальянской легенькой комедии нам не пройти; это прелестно, в жанре пусть не нашем, но очаровательном. Мы попадаем за несколько минут до представления. Все очень простенькое в этом театре, переделанном, кажется, из цирка. Крошечные ложи, нехитрый занавес, никаких украшений. Вольтова дуга под белым потолком, шипя, потрескивая, освещает живую толпу белым своим, сиенющим светом. В толпе снуют продавцы мороженого. Предлагают кофе, шоколад. Служители, с огромной стойкой подушечек, сложенных как блины, на разные голоса, с распевом и коротко, возглашают: "Cuscini! Cusc-i-ni!

Cuscini!” Это значит — не угодно ли за двадцать чентезимов купить себе подушку, чтобы мягче было сидеть в партере. Нельзя без улыбки смотреть на эту торговлю, хоть и сам купишь просиженную, потертую cuscino, и с ней комфортабельней будешь слушать жиденский оркестр, жидкую музыку “Мамзель Нитуш”, созерцать декорации, колеблемые током воздуха и так написанные, что подумаешь — да правда ль ты в стране Джотто, Леонардо и Рафаэля? Но все титаническое, зрительно-декоративное в театре Италии отсутствует. Как ателлана, как комедия масок, ведь он основан на актере, некогда надевавшем маску и теперь просто гримирующемся, но и, как тогда, — играющем наполовину собственный текст. Вряд ли актер здешний может думать, что должен выразить автора. Автор, комедия — это предлог, чтобы выразить себя. Древний дух импровизации его не оставил. И достаточно Бенини появиться на подмостках (именно подмостках, а не сцене) — весь театр заливается. Он веселится не напрасно. Ибо, правда, есть глубокий комизм и тонкое, пенящееся обаяние в самом последнем пустяке, сказанном им, в любом жесте, любой интонации. В сущности, он один все вывозит, и ему на три четверти обя-

заны мы тем добрым, светлым смехом, что сопутствовал нам часа три... Смеясь, в легкой толпе, возвращаемся мы в свой Albergo. Вся улица полна народу. Опять щелкают бичи, катят веттурины, опять шумят, свистят, кричат, напевают. Это продолжается довольно долго. Уже мы у себя в номере, уже хочется отдохнуть после дня полного, дня прожитого, а еще все громче гремит музыка в кинема через улицу, все с улицы доносятся крики, прокатывает запоздалый веттурин, и сквозь узенькие щели жалюзи втекает воздух — милый воздух Флоренции. В полночь становится тихо. Пустынно сейчас на улицах. Где-нибудь в отеле укладывается утомленный мим, вечный облик маски древней — Бенини, а с ним о бок дремлют творения Микельанджело, каменеют во тьме соборы, и дворцы, и статуи. Великое Флоренции и то великое, что представляем из себя мы, люди, одинаково безмолвны в одиночестве ночном. Долго ль впивать нам свет, благоухание мира? Это неведомо; но ведь не длительней мы, на земле, той отшумевшей комедии, что шла нынче в театре, и тем жарче, страстней надлежит нам прильнуть к каждой медоносящей минуте бытия.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Видения* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 50–51.

ВЕЧЕР ВО ФЛОРЕНЦИИ

621

И. ГРЕВС

1902

Подходит вечер, требуется новый отдых... Уже два шага до дома, то есть до соборной площади. Но если вечер хорош, и есть еще силы, и не тянет в душную комнату гостиницы — здесь же у собора стоит электрический трамвай (Piazza del Duomo — Gelsomino), который минут в 15–20 привезет вас на вершину холма, господствующего над Флоренцией, на большую эспланаду, названную именем Микельанджело, с возвышающейся в ее центре гигантской бронзовой копией с его Давида. Здесь начинается великолепный бульвар-парк — *viale dei colli* — краса и гордость Флоренции... Бесподобная картина, которая расстилается перед вашим счастливым взором, — не плоский, стертый в своем рельефе план *à vol d'oiseau* <с птичьего полета — *фр.*>; это огром-

ная перспектива изумительно нежной прелести. Город, единственный на земле, как бы группируется, толпится около огромного купола собора, похожий на “исполинский нераспустившийся цветок геральдической алой линии Флоренции”. Он расстилается внизу как бы среди просторной корзины зелени, заключившей в себе его каменные громады, так художественно обделанные человеческой рукой. Равнина медленно и волнисто поднимается на другой стороне реки, заканчиваясь у горизонта живописной грядой гор, на которых в седлистом углублении приютились дома и церкви Фьезоле. Живые, смягченные переливы света и теней играют на нежно-разноцветной пелене долины; местами то вспыхивают, то потухают блестящие искры звезд на стеклах зданий под последними лучами солнца. Долго стоишь, как замороженный, опершись на каменный парапет террасы, пока не погаснет, закатившись, дневное светило. По извилистой лестнице, которой причудливо и смело прикрыт крутой северный склон холма, утопающий в цветах и растениях, через пять минут можно добраться до города, уже начинающего исчезать в сумраке у ваших ног. Навстречу льются сталкивающиеся и чередующие-

ся голоса многих колоколов, зовущих к Ave Maria. Ноги уже еле несут утомленное тело. Но это — чудная усталость. Восторженные слова — “bella Firenze!” — невольно просятся на уста, и сердце уже хочет сказать: “Firenze mia!” Чувствуется, что образ города, уже дорогого, станет скоро знаком и близок, как лицо друга. Понятной делается та “ненависть, полная любви”, которая мучила непреклонную душу великого Данте, изгнанного неблагодарной родиной, но оказавшегося не в силах вырвать ее из могучего, бурного сердца.

И. М. ГРЕВС. *Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки флорентийской культуры* (1902). М., 1903, с. 61–62.

Б. ЗАЙЦЕВ

1907

624

Память о вечерах во Флоренции связана с лучшими часами жизни. В них есть та острая сладость, которая на грани смерти; и когда дух потрясен и расплавлен настолько, он, как двугранный меч, равно чуток к восторгу и гибели. “Хорошо умереть во Флоренции”, ибо больше всех любил ее при жизни. И она несет тебе экстаз и тень могилы. Солнце передвечерия играет на Санта-Мария; это Санта-Мария Новелла, хотя выстроена она в веке тринадцатом. Все еще жарко, но внутри уж, верно, холод... Тоненькая кампанилла сторожит эту церковь и звонит однотонным, тихим звуком. Вы спокойны и мирны; да, все это так и было в прозрачном христианстве... И когда вы сойдете в монастырек при церкви, это бывшее с молитвами, восторгами и смертью тысячами малых лап возьмет вас и прильнет. Вы попираете могилы бедных монахов, отшельников и визионеров тех времен; видите наивные фрески *Secolcreto* — учеников Джотто; а внутри дворика разрослась трава, запущенно и буйно, розы расцвели, живопись по стенам портиков синеет, золотеет. Да, здесь, у колодца, в вечерние часы, слушая звон на кампанилле, перебирая четки, можно было мечтать о Деве Марии, рыдать и возноситься в “чертоги ангель-

ские"... Вот и день прощания. Снова вечер. И она лежит в своей долине — тонкая и дымная. А здесь, на высоте San Miniato, воздвигнуты беломраморные усыпальницы ее детей. Черные кипарисы, мрамор, решетки, гробницы, золотые надписи, часто ангелы крылатые изображены — и все это навсегда спит, но над ее бессмертным телом. И цветут каждую весну розы на могилах, умирая сами; и дамы в трауре приезжают сюда и плачут под этими кипарисами. В светлом вечере звонит колокол San Miniato, а она все лежит там у себя, туманеет вечерней дымкой, и вечно юны и древни эти острые колоколенки. Да, там жили, думали, творили, пламенели и стгорали тысячи душ; длинными рядами шествуют они со времен Данте. Все навсегда ушли отсюда. Но всегда живы и, как в дивную корону, вставили сюда свои алмазы... Солнце заходит. Уезжают дамы, за Арно зеленеют золотистые огоньки. Скоро будет Флоренция засыпать; но наутро пробудится — как раньше, вечная и мудрая, легкая, бессмертная и стройная.

Б.К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Молодость* (1907) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 33-36.

М. ДОБУЖИНСКИЙ

1911

626

Когда наступает вечер этого первого дня, едем из города на холм, где на Piazzale Michelangelo стоит новый Давид. Сидя в открытом трамвае, поднимающемся в гору, наслаждаюсь прохладой, рву сухие ветки кипарисов, задевающие меня по рукам, а через деревья внизу мелькают городские огни. Долго сидим наверху, на каменных перилах около статуи; здесь ни души. Сейчас весь город устремляется в горящий огнями Centro. Там сияют переполненные кафе, гремит Леонкавалло, снуют среди толпы мальчишки, выкрикивая названия вечерних газет, а здесь — небо, кипарисы и тишина. Внизу, вдоль Лунгарно, золотой дугой переливается цепь фонарей, белеют дома на набережной; дальше, посреди города, где огни Centro, стоит точно серебряная туманность, а еще дальше, за городом, на покрытых ночной тенью окрестных холмах кой-где лежат созвездиями маленькие огоньки, и не знаю, где начинается небо. Мы долго стояли у балюстрады, глядя на далекий, отсюда беззвучный город. Молодой месяц садился сбоку, и Большая Медведица висела над самым городом, а ближний фонарь бросал вниз по скату холма от нас две длинные тени. Когда мы вернулись в город, вся Флоренция была полна белых

ночных бабочек — они кружились у фонарей, умирали на мостовой, и местами казалось, что выпал снег, а на площади, где сожгли Савонаролу, мальчишки развели маленький костер и делали им аутодафе... Однажды в сумерках зашли в один заросший травой монастырский двор. Благоухало неведомо откуда розами и полынью, а из-за высокой стены доносился голос, певший арию из Доницетти. В последний день, накануне отъезда, походил по Арно. За рекой садилось солнце, и мосты: ближний — Ponte alle Grazie и дальний — Ponte Vecchio с его галереей, и перспектива зубчатых домов по Lungarno — все рисовалось таким несравненным, таким законченным силуэтом на фоне закатных лучей! Здесь я стоял, пока не скрылось солнце, и думал: сколько людей скольких поколений, именно тут, в этом месте, где стою, глядели, быть может, на такие же закаты, на те же самые мосты, дома и Арно, очаровывались тем же, как и я теперь, тем же очарованием...

М. Добужинский. *Воспоминания об Италии*. Петроград, 1923, с. 29-31.

П. МУРАТОВ

1911-1912

628

И подобно тому как бесконечную нежность внушают эпизоды, включенные в суровую повесть Данте, так трепетную прелесть приобретают иные минуты, скользнувшие в строгом и простом течении флорентийской жизни. Одну из таких минут мне принес октябрьский вечер, подкравшийся незаметно, когда мы были в церкви Сан-Никколо и рассматривали “Успение” Алессо Бальдовинетти. Оставив погружаться в тень цветочный саркофаг простодушного Алессо, мы вышли из церкви и скоро очутились за городскими воротами. Вместо того, чтобы подниматься к Сан-Миниато, мы пошли в гору направо, вдоль взбирающихся по ее хребту зубчатых стен Флоренции. С другой стороны этой узкой дороги тянулись оливковые сады. В тот влажный вечер чище светилося серебро их листьев, омытое теплым дождем. Мы поднимались тихо, глубоко дыша, вдыхая запах оливок, земли, влаги — крепкий запах флорентийской осени. И тихо навстречу нам опускались сумерки. День ушел и растворился в сиянии без блеска, которое было во всем — в светлом эфире неба, в серебре садов, в мокрых камнях старинных стен. Впечатление серафической прозрачности охватило душу с не испытанной

до тех пор силой. Глубокое молчание было нарушено лишь шорохом капель и падением маленьких созревших плодов. Было слышно, как бьется сердце, как входит в него, чтобы никогда более его не покинуть, любовь к Флоренции. Никогда не был так светел для глаз мир, как в тот осенний теплый и влажный вечер на ее смиренной окраине. Такая минута — одна из тех минут, которых не заглушит потом повседневная суета горожан и приезжих на Кальцайоли или Торнабуони. Влажное дыхание такого деревенского вечера способно надолго освежить сухость, возникшую от слишком прилежного общения с “пылью веков” в музеях и галереях. Флоренция жива, и ее душа еще не вся в ее картинах и дворцах. Она говорит с каждым из нас на языке простом и понятном, как язык родины. И для русского путешественника, может быть, особенно дорого, что здесь всегда чувствуется близость деревни. Смены года, оборот сельского труда и сельского житья здесь всегда заметны, заметны праздники в базарные дни: тогда люднее на улицах, и в маленьких трактирах тогда готовят к обеду лишнее блюдо. Тогда на площади перед Сан-Лоренцо любители искусства, которые спешат на

поклон к гробницам Микельанджело, смешиваются с толпой загорелых крестьян, только что сваливших на соседнем рынке возы овощей и теперь покупающих всякую всячину на торге вокруг мраморного Джованни делле Банде Нере... Кто полную свою душу несет сюда, — не один только интерес ума или глаза, но все свои чувства и силы, все, что было в жизни, ее правду, ее обманы, ее радости и ее боль и даже ее сны, — тот не уйдет отсюда без внутренних наитий. Ближе всего к Флоренции тот, кто любит. Для пилигримов любви она священна; в ее светлом воздухе легче и чище сгорает сердце. Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее. На этом древнем кладбище любви слишком много сожжено великих душ и слишком много пролито драгоценных слез, чтобы не верить здесь в искупление. Ведь все, что здесь создано, создано любовью. Храм и картина, фреска и барельеф — это все кенотафии ее долгого сна, не смерти, а только сна. Старое каждый миг оживает здесь, сливается с новым и в нем снова живет. Так вечное благоухание роз в здешних монастырях приносит новому пришельцу вместе с раздумьем о прошлом весть о его любви. Так в глубокий

синий вечер на площадке у Сан-Миниато, когда порывы ветра налетают из горных ущелий и когда огни Флоренции внизу кажутся тревожными, величавые исторические тени вдруг расступаются, чтобы дать место иным образам и тоске сердца, внушенной ими. Тогда хочется долго и одиноко ходить здесь, слушая, как шуршит ветер песком, встречая опускающуюся дождливую ночь, и затем подойти к решетке и, наклонившись над темным пространством, над Флоренцией, тихо позвать: “О Биче!”...Поэма Данте есть создание его любви, и оттого она составляет гордость всех любящих. И оттого Флоренция до сих пор принимает явление каждой любви, готовая увенчать ее ветвями оливок и лавров, фиалками и розами, готовая разостлать на ее пути ковры серебряного света... Свет любви Данте, божественный, как все, что связано с этим человеком, навсегда остался над Флоренцией, подобно прекрасной немеркнущей заре. Благодаря этому, быть может, Флоренция стала местом веры и радости. Она заставляет верить каждого, что ее Дантова заря обещает и для него новый день. Каждый, кто смотрит на нее с высот Сан-Миниато, принимает крещение во имя любви. И в его душе воскресает тогда Vita Nuova.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

632

Вечерние часы Флоренции! Тишина парка Кашине, серебро-золотеющие струи Арно, дали и кипарисы Сан-Миниато в хрустальном воздухе. Глухие закоулки Monte Oliveto, среди садов, лужаек, где играют дети, маленьких церквей, нежно звонящих; голубые дали к Пизе; вид на бессмертную Флоренцию в бледно-лиловой дымке; юноша с девушкой, целовавшиеся за углом садовой ограды, едва не застигнутые нами. И позже: розовато-пепельные облака, тень предвечерняя, фиолетовый сумрак узких флорентийских улиц; мальчишки, тяжелый омнибус. Щелканье бича и окрик: и-о-бб! Первый, бледно-жемчужный фонарь на Понте Веккио, облепленном лавчонками; его аркады, лилово-холодеющая даль реки, рыболовы у Понте алле Грации, средневековые закоулки у Сан-Стефано, где некогда Боккаччо читал комментарии на Божественную комедию. В теплом, нежном воздухе пахнут острыми запахами Флоренции. Люди идут насвистывая, иногда напевая; шарманка играет; мягко шуршит бициклет; наверху окна открываются, темная головка выглядывает; а на углу, рядом, древняя гвельфская башня, четырехугольная, с крошечными окошечками. Вкось карнизы домов, далеко выступая над улицей; в

щель между ними полоска неба, пепельно-посинелого, с одинокой звездой. Это вечер тихий, бесхитростный. Он дает покой сердцу, скромность и легкость. В этом вечере есть благоволение и любовь. И скромно сядет путник за столик скромнейшего кафе площади Синьории, выпьет чашечку кофе, слушая разговоры всякого люда вокруг, пред лицом Великого Палаццо Веккио с тонкой, причудливой башенкой — вечным обликом Флоренции. Веттурины проезжают; поет уличный певец, собирая толпу; шумит фонтан, и герцог Козимо сурово восседает на коне. Звезды смотрят с небес.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Видения* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 46–47.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

634

Как светлая раковина, прорезанная изгибом Арно, лежит Флоренция в долине, окаймленной мягкими горами. Что-то жемчужное есть в вечернем солнце, теплющем ее облике, в нежной пестроте, взятой в смягченном, дымно-золотистом тумане. Нечто девичье — в изящной стройности кампанилл, что-то живое, юное, вечно меняющееся и вечно нестареющее, то, что называем мы нетленным. Это волшебное Флоренции всегда пьянит, дух омывает, просветляет. В вечере, мирно золотящем, уходит солнце. Вдали, на светлоозаряемых холмах сияет золотом стекло какой-нибудь из вилл, бело-горящих среди зелени. А уж внизу, над Арно, нежно-сиреневое одевает город — чешую крыш, острые кампаниллы, мягкую глубину улиц. Дымка легка, туманна! Понемногу розовым наполняется воздух, горы порозовели, золото угасло, и тихо, однозвучно звонят Angelus церкви Флоренции. В светло-туманно-очерченную даль, на запад, уходит Арно, мимо сада Кашине, заволокнутого нежно-лиловым. Позже, когда плотней укутается город в сизо-сиреневое и лишь Палаццо Веккио, Санта-Мариа дель Фиоре да Санта-Кроче еще теплятся алым, влево, вдоль бледнеющего Арно золотые огоньки означатся тонкою

цепью. Справа же, с гор Пратоманьо, поползет лиловый, клочковатый сумрак, и верхи гор заклубятся. Значит, вечер настал. Город уходит в мглу сиреневую, тает в ней, и все больше, больше золотых, дрожащих огоньков является над ним. Купим последнюю розу у старушки на площадке, спустимся лесенкой, рубленной в почве каменной, — вниз, где течет Арно... А о Флоренции можно теперь мечтать, любить ее. И вечно вспоминать...

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Флоренция. Полет* (1920) // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург — Берлин, 1923, т. 7, с. 52–53.

М. ОСОРГИН

1923

636

Счет дней окончен. Остающуюся неделю отдаю Флоренции. Она также входит в список святых мест, дорогих воспоминанию, которые нужно посетить. Лучший вид на глубочайший и одухотвореннейший город Италии — с высоты Фьезоле. Там я провел последний день. Был юношей монах-органист, когда я впервые ждал заката в монастыре св. Франциска. Сейчас это — муж почтенный, умеренно дородный, красивый... Опустилось солнце, и нагнулись на колокольне перекладки. Этого момента я ждал больше всего: красавец монах — удивительный органист. Они поют в унисон; сладости нашего церковного пения они не ведают. Но орган покрывает голоса, наполняет маленький храмик, рвется наружу — благословением погружающейся в сумрак Флоренции. И, закрыв лицо, как делают добрые католики, я молюсь звукам, их бессловесному разуму, их могучей силе уносить с собою ввысь и вширь, очищать помыслы и покоить философским покоем. Так ново и так странно молиться: земля сливается с небом и прошлое с будущим. Как счастливы те, кто умеют молиться! Как им просто жить! Я благодарен глубоко Флоренции за это последнее Ave Maria! Не растопив льда — оно согрело душу. Дорога вниз, к городу.

Он уже в вечерней дымке. Холмы дышат, знаменитые
цветущие холмы. Прохлада, тончайшие краски земли и
неба и веянье крыльев духа Тосканы. Божественный го-
род! Я не прибавлю больше строк. Прощай, Флоренция!
И прощай, Италия!

М. О с о р г и н. *Там, где был счастлив*
(1923). Париж, 1928, с. 107–108.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАРА-МУРЗА родился в 1956 г. в Москве. Доктор философских наук, профессор, заведующий сектором философии российской истории Института философии Российской академии наук, заведующий кафедрой политологии Российского государственного университета гуманитарных наук. Специалист в области истории русской философской и политической мысли XVIII–XX вв. Главная тема исследований — “Россия и Европа”, история российского европеизма и либерально-демократического реформаторства в России. Автор около тридцати монографий (“Реформатор. Русские о Петре I”, “Новое варварство как проблема российской цивилизации”, “Между Евразией и Азией”, “Как возможна Россия?” “Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях” и др.) и более двухсот научных и публицистических статей. Неоднократно бывал в научных командировках в Италии.

А. А. КАРА-МУРЗА

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ О ФЛОРЕНЦИИ



Директор издательства ОЛЬГА МОРОЗОВА
Редактор АЛЕКСАНДРА ФИНОГЕНОВА
Художественное оформление и макет
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

Подписано в печать 16.05.16
Бумага офсетная
Печать офсетная
Формат 84 × 108/32

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ
103001, Москва, Б. Козихинский пер., д. 22, стр. 1
e-mail: morozovabooks@yandex.ru

По вопросам закупки книг обращаться:
o.morozova.iom@mail.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в Публичное акционерное общество
“Т8 Издательские Технологии”,
109316, г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, корпус 5, тел.: 8 (495) 221 8980